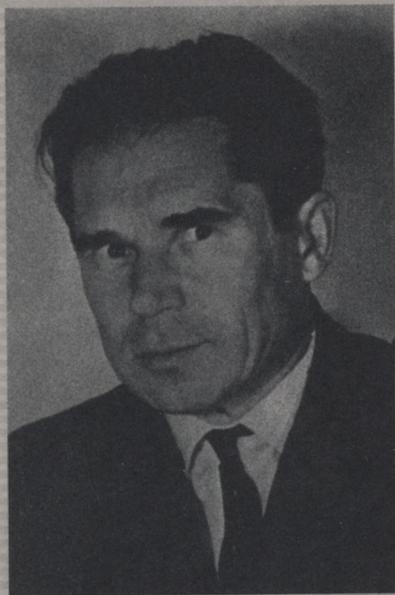


Оранжевый
абажур

Георгий Демидов

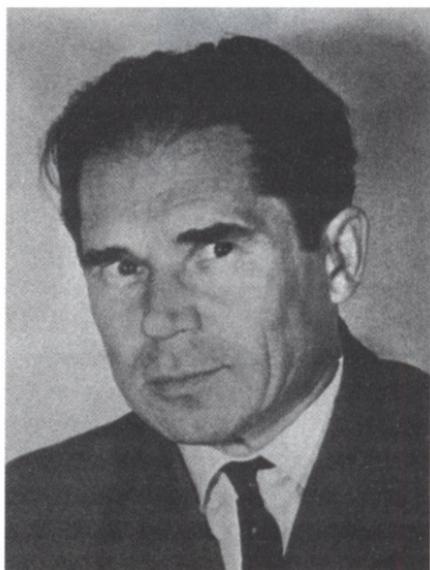


Георгий Демидов
Оранжевый
абажур

memoria
memori



MEMORIA



Георгий Демидов

Оранжевый абажур

Три повести о тридцать седьмом

Москва

Возвращения

2009

УДК 821.161.1-09
ББК 84(2Рос=Рус)6-4
Д30

Издано при финансовой поддержке Федерального агентства
по печати и массовым коммуникациям
в рамках Федеральной целевой программы
«Культура России»

Д30 **Демидов, Георгий**

Оранжевый абажур: повести / публикация В. Демидовой.
Предисловие М. Чудаковой. Москва: Возвращение, 2009. – 376 с.
ISBN 978-5-7157-0231-9

Георгий Георгиевич Демидов (1908–1987) родился в Петербурге. Физик теоретик, ученик Ландау, в феврале 1938 года он был арестован. На Колыме, где он провел 14 лет, Демидов познакомился с Варламом Шаламовым и впоследствии стал прообразом героя его рассказа «Житие инженера Кипреева».

Произведения Демидова – не просто воспоминания о тюрьмах и лагерях, это глубокое философское осмысление жизненного пути, воплотившееся в великолепную прозу.

Первая книга писателя – сборник рассказов «Чудная планета», выпущен издательством «Возвращение» в 2008 году. «Оранжевый абажур» (три повести о тридцать седьмом) продолжает публикацию литературного наследия Георгия Демидова в серии «Методія».

УДК 821.161.1-09
ББК 84(2Рос=Рус)6-4

ISBN 978-5-7157-0231-9

© В.Г. Демидова, 2009
© М.О. Чудакова, предисловие, 2009
© Р.М. Сайфулин, оформ. серии, 2009
© Возвращение, 2009

«Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи...»

1

Оказавшись на свободе после долгих лет каторги, Георгий Демидов стал жадно читать то, что появилось в литературе, пока он и его товарищи мучились и умирали на Колыме. Там ни одной книги они в руках не держали.

Прочитанное его ужаснуло. Авторы писали о какой-то фантастической стране, не той, в которой жил он. В послевоенные годы разрыв печатной литературы с реальностью достиг, кажется, высшей точки. «Кавалер Золотой Звезды», «Ясный берег», «Белая береза», «Счастье» – книги сталинских лет казались близнецами, имена авторов можно было менять местами. Но и «оттепельная» литература задевала своей осторожностью, умолчанием о том, о чем невозможно было молчать.

Уже давно, начиная с середины 20-х годов, русская литература разделилась на три ветви, между собой почти не связанных. Одна литература складывалась из того, что печаталось в СССР, в журналах и отдельных изданиях. Именно ее стали называть *советской литературой*. Ее и знал широкий – с тогдашними немалыми тиражами – отечественный читатель, из нее многие и черпали свои представления о текущей жизни. Второй ветвью стала зарубежная литература. Условия работы писателей-эмигрантов и молодого поколения были совсем иными, чем у литераторов, оставшихся в отечестве: за границей не было массового русского читателя, не было больших гонораров, – но не было и советской цензуры, с каждым годом сужавшей возможности творчества в России.

Третьей ветвью русской литературой стала та, что росла на отечественной почве, но оставалась в рукописях. В 20-е годы – это те произведения, что предназначались авторами для издания, но не были пропущены в печать, а с начала 30-х – те, что авторы не только не предназначали для печати, но боялись

записывать: стихотворение Мандельштама о «мужикоборце» со сверкающими голенищами, «Реквием» Анны Ахматовой. Эта литература не достигала широкого читателя — почти как зарубежная. Она была невидимой частью литературного процесса, проникая в него только *каплями*.

Георгий Демидов наткнулся в печатной литературе на сильнейшую деформацию не понаслышке знакомой ему живой и страшной реальности. Увидел огромные зияния. В этих книгах не существовали миллионы судеб соотечественников, похожих одна на другую: арестован безо всякой вины, подвергнут мучениям, убит или умер. Туда, в эти зияния, и устремился новый автор — со своим кровотокающим в его памяти материалом — одновременно со многими другими «лагерниками», не знавшими до поры до времени о работе друг друга. Теми, кто, выйдя на свет Божий, поставил перед собой одну задачу. Они и превратили тонкую струйку Самиздата, текшую с конца 50-х, в мощный поток.

В предисловии «От автора» читатель прочтет об этой задаче, какую видел ее Георгий Демидов, — противостоять ограждению своего народа от исторической Правды (Демидов пишет ее с большой буквы) путем оставления письменных свидетельств о своем времени — в том числе (то есть — не только) и «облеченных в форму литературных произведений».

Напомним сказанное в послесловии к первой книге Демидова «Чудная планета»: эту задачу поставили перед собой в одно и то же время несколько людей, вышедших с многолетней каторги живыми, — Домбровский, Солженицын, Шаламов, Демидов... Было и много других. Просто эти четверо хорошо видны при взгляде на те годы сегодня, полвека спустя, — как мачтовый лес.

Мемуары о ГУлаге стали создаваться после смерти Сталина — десятками, а затем и сотнями авторов. Но задача Демидова и близких ему писателей была не только в том, чтоб оставить свидетельства, — он хотел изменить литературу, разорвавшую связи с реальностью и не постеснявшуюся встать на службу человеконенавистническому режиму.

Общим для этих новых литераторов было то, что они уже не боялись ничего. Ради выполнения своей задачи они готовы были рисковать всем, в том числе жизнью.

В ноябре 1962 года, после печатания «Одного дня Ивана Денисовича», показалось, что брешь пробита и самиздатский поток

можно будет направить в печать. В ближайшее же время стало ясно, что эта надежда не оправдалась. Но попав на журнальные страницы, повесть Солженицына разом обесценила большую часть напечатанного – и усилила стимул к созданию новой прозы.

2

Демидов взялся с толстовской дотошностью описывать трех героев «повестей о тридцать седьмом»: высококвалифицированно-го и талантливое, с незаурядным светлым умом и рефлекторным чувством собственного достоинства инженера Трубникова, эмигранта из старинного дворянского рода, вернувшегося из Германии на родину – в Ленинград; выдающегося инженера-энергетика (сына нэпмана почти самоучкой освоившего физику, математику и электротехнику) в южном городе Рафаила Львовича, не склонного, в отличие от Трубникова, размышлять над общими вопросами; выпускника Юридического института, молодого прокурора Корнева, назначенного в 1937 году прямо со студенческой скамьи осуществлять прокурорский надзор...

Автор повестей выбрал особую задачу: забыть на время то, что давно известно ему, колымчанину, и поместить сознание читателя в атмосферу 1937 года – вне последующих наших знаний о происходящем. Все три его героя силятся разобраться в происходящем: молодой прокурор никак не может постигнуть, что означает часто встречающаяся «короткая маловразумительная фраза» – «Сослан без права переписки».

Демидов ищет и находит свою литературную форму для воспроизведения охватывающей всю страну катастрофы, оставшейся не изображенной. В повести «Два прокурора» в течение суток, который отвел себе герой для главных в его жизни действий (решение действовать сразу наполняет его жизнь смыслом: «Русские всегда были глубоко идеологическим народом: жизнь для них не жизнь, если у нее нет специального предназначения»¹), распisan каждый час. Время растянуто.

После фразы случайных, казалось ему, попутчиков «Спокойно, Корнев! Вы арестованы!» песочные часы переворачиваются – вместе с человеком.

¹ Орлов Ю. Опасные мысли: мемуары из русской жизни. М., 2008. С. 326.

Время начинает течь совершенно по-другому. Две фразы, следующие после того, как перед главным героем «широко раскрылись» ворота, ведущие во двор Внутренней тюрьмы, обнимают сразу *четыре месяца* «упорной возни с упрямо запирающимся преступником и усилий нескольких опытных следователей, прежде чем он признал предъявленные ему обвинения».

Повествование уходит от героя и принимает точку зрения следствия (именно с *этой* точки зрения он признал обвинения в несуществующих преступлениях). Внутренняя точка зрения самого Корнева исчезает без следа. С этого времени мы видим недавно активно мыслящего и действующего персонажа только извне, в отдельные, выхваченные из стусившейся тьмы моменты его бытия. Например, когда поздней ночью «в гулкой, почти пустой комнате» (кто же, кроме тех, кто знал эти комнаты изнутри, предъявил бы нам эти потрясающие своим лаконизмом эпитеты?) «с зарешеченными оконцами под потолком, подсудимому Корневу, изможденному, совсем еще молодому человеку, но уже с сильной проседью в непомерно отросших волосах, был вынесен смертный приговор».

В сущности, и сама фамилия героя теперь очевидным образом становится ненужной. Он перестал быть частью рода человеческого, со своей неповторимой личностью и биографией, а стал *песчинкой* – одной из великого их множества, несомых ветрами, не имеющих власти над своей судьбой и никаких отличий друг от друга, кроме дня смерти. И само время рассказа относится уже не к личности человека, а к движению песчинки по предуказанному маршруту.

Такой слом в повествовании можно, пожалуй, назвать литературным открытием писателя, искавшего способ изображения невообразимого. Найденный им способ стал ответом на давний литературный диагноз Мандельштама. Тот еще в 1922 году, размышляя над эпохальными последствиями Мировой и особенно Гражданской войн, написал о главном, с его точки зрения, последствии катаклизмов начала века для литературы – о *конце романа*. Конец этот обусловлен «распылением, катастрофической гибелью биографии» – того, что являлось «композиционной мерой романа». Основной тон «самочувствия европейского романа» составляло, по мысли поэта, «чувство времени, принадлежащего человеку для того, чтобы действовать, побеждать, гибнуть, любить...».

В описываемую Демидовым эпоху значительной части людей оставлено одно действие – *гибнуть*. Но и оно не обусловлено намерениями самого человека. «Самое понятие *действия* для личности, – писал Мандельштам, – подменяется другим, более содержательным понятием *приспособления*» (курсив наш). Но наделенный даром прозрения поэт вряд ли мог себе представить, до каких масштабов может сузиться *приспособление*: выжить в лагере, на шестидесятиградусном морозе этот день, потом – этот час, потом, возможно, и минуты. Дальше в статье Мандельштама – слова, будто наметившие абрис последней части будущей повести Демидова: «Современный роман сразу лишился и фабулы, то есть действующей в принадлежащем ей времени личности, и психологии, так как она не обосновывает уже никаких действий»¹.

...Вспоминал ли сам Мандельштам, шестнадцать лет спустя, погибая как и герои Демидова, в концлагере, свои давние слова о том, как время уходит из-под власти личности?.. Демидов сумел найти предвосхищенную поэтом литературную форму для письма *вне фабулы и психологии* – неизменных, казалось бы, атрибутов прозы. Он ухватывает и укрупняет этот страшный слом течения жизни – когда жизнь человека длится, но *биография* окончена. В тексте повести о молодом прокуроре больше нет ни его *размышлений* над своими поступками (они лишаются смысла), ни самой возможности каких бы то ни было *поступков*. Эта жесткость художественного решения стала открытием Демидова.

...Последний маршрут героя Демидова, вопреки уже сформированному скупыми средствами читательскому ожиданию, удлинняется – при том, что *время* рассказа об этом по-прежнему сжато до предела. Поскольку «Президиум Верховного Совета СССР, куда осужденный обратился с просьбой о помиловании – это была стандартная телеграмма, в которой приговоренные к смерти преступники неизменно каялись и просили дать им возможность честным трудом искупить свою вину, – просьбы Корнева не отклонил. Высшая мера была заменена для него двадцатипятилетним заключением в дальних исправительно-трудовых лагерях». В этом акте была выгода: «прежде всего – экономическая. Вместо того чтобы быть сразу и без всякой пользы застреленными, враги народа некоторое

¹ Мандельштам О. Конец романа. «Паруса», 1922, № 1. С. 31-32

время работали на пользу этого народа, добывая лес, металлы, строя дороги через болотистую тундру и горные хребты».

А дальше время повествования еще более ускоряется. Фабулы же никакой больше нет, как нет и психологии. Теперь в две фразы уместились уже *пять лет* жизни – точнее, мучительного существования – того персонажа, чьи размышления с такой доскональностью описывал автор в предшествующих его аресту главах. Причем первая фраза звучит почти оптимистично: «Заклученный Корнев оказался более живучим, чем казался на вид...» (возникает, правда, тревожное чувство неуютя от слова *живучий* – будто разговор перешел неожиданно с людей на инфузорий) «...и более работоспособным физически, чем большинство интеллигентов, осужденных на каторгу». Вторая фраза, сохраняя холодную тональность, одним (выделенным нами) словом усиливает трагическую иронию: «Он погиб *только* на пятом году своего заключения, угодив под очередное обрушение на колымском руднике “Оловянный”».

После этого песочные часы переворачиваются еще раз. Время вновь меняет свое течение. Повествование практически покидает людей. Начинается неторопливое описание рудника на сопке, где месторождение оловянного камня было, «в сущности, очень бедным, всего один-два килограмма на тонну извлеченной породы. Затраты же взрывчатки, сжатого воздуха и сверхтвердых сплавов, необходимых для сверления скальных пород, рабочей силы и людских жизней – непомерно большими».

Итак, речь уже не о людях. О рабсиле, средстве для добывания металла – олова, без которого, «как без стали или алюминия, нет машин. В том числе и военных. В таких случаях соображения экономической рентабельности отходят на второй план, особенно когда основой производства является рабская сила. И уж подавно никакого значения не имели доводы слюнявого гуманизма. Впрочем, вряд ли они даже возникали».

Нам сообщают, что рабсила начала исправно поступать в середине тридцатых – и «с тех пор и до поздних послевоенных лет этот поток не прекращался. Получаемую ею рабочую силу сопка непрерывно перемалывала и калечила, возвращая лишь немногих, и то уже окончательными инвалидами. Разницу поглощала Труба – огромное кладбище заключенных. <...> Отдельных могил здесь не копали. Это было слишком расточительно с точки зрения экономии места и взрывчатки. Летом во всю длину распадка в его скальном

дне взрывным способом выбивались почти километровые траншеи. Глубиной эти траншеи были, как и надлежит могиле, около двух метров, а по ширине равнялись высоте человеческого роста».

И так далее.

Когда-то Аверченко в одном из — юмористических, натурально (темы для юмора не иссякали), — рассказов написал о полной перемене своего взгляда на страницы дореволюционной прозы после нескольких лет Гражданской войны:

«Простите вы меня, но не могу я читать на пятидесяти страницах о смерти Ивана Ильича.

Я теперь привык так: Ковальчук нажал курок; раздался сухой звук выстрела. Иван Ильич взмахнул руками и брякнулся оземь. «Следующий!» — привычным тоном воскликнул Ковальчук.

Вот и все, что можно сказать об Иване Ильиче»¹.

3

У нас нет угрызений совести перед читателем, которому мы в предисловии открываем суть некоторых концовок. Потому нет, что как бы ни были нами обнажены отдельные звенья фабулы повести — напряжения чтения это не снизит. Повествование строится так, что мы окунаемся в жизнь тех, кто *не знает* своего личного будущего — и уж тем более не осознает хорошо известного нам, сегодняшним читателям, не оставляющего никаких надежд контекста происходящего. Погружаясь в детали напряженной борьбы центрального героя каждой повести, мы, как подростки тридцатых годов, бегавшие по несколько раз смотреть фильм «Чапаев» в тайной надежде, что на этот раз Чапай выплывет, — читая повесть «Два прокурора», на что-то еще надеемся...

Можно сказать, что внутреннее строение повестей в той или иной степени делится на три пласта. Первый — время *незнания*: когда герои живут в мире, где реальность закрыта набором слов, призванных создать виртуальную реальность, — тех, что сегодня мы называем *советизмами*. Ведь только люди, вернувшиеся из лагерей, не были заражены магией этого языка, знали ему цену — и брали эти слова в кавычки. «А предсказанная гениальным Сталиным

¹ Аверченко А. Сочинения в двух томах. Т.1. Кипящий котел. М., 2001. С.160.

классовая борьба в СССР все более разгоралась. В Москве прошли процессы главных партийных фракционеров, “скатившихся в болото”, как выражались газетные передовые, прямой контрреволюции. <...> Это был тот самый “прапорщик Крыленко”, который в первые дни только что возникшей советской власти был самим Лениным назначен главкомом её вооруженных сил. Теперь он тоже *скатился в болото контрреволюционной оппозиции* и возглавил тайную организацию реакционных юристов.<...> Нынешняя контрреволюционность людей, в прошлом не щадивших своих жизней ради Революции, казалась действительно неправдоподобной. Но она вполне согласовывалась с учением вождя о неизбежности *скаtywания в болото контрреволюции* всякого, кто хоть на йоту способен отклониться, хотя бы в мыслях, от генеральной линии партии» («Два прокурора»).

Второй пласт – время, текущее в следственной камере, когда в сознание арестованного проникает *новое знание*, но мощный демагогический пласт еще сохраняет свою деформирующую силу.

«– Кабинок-то всего двенадцать! – вполголоса заметил кто-то.

– В НКВД нет *предельщиков*, – возразил ему другой. <...>

Предельщики! Трубников вспомнил, что года два назад газеты были заполнены статьями о борьбе с ними на железнодорожном транспорте. Так обзывали специалистов, противившихся превышению установленных норм скорости движения и нагрузки транспорта. С ними победоносно боролся, конечно, при помощи тюрем и расстрелов, нарком железнодорожного транспорта Каганович. Он, как и Ежов, получил неофициальный титул “сталинского железного наркома”. Потом *предельщиками* оказались энергетики, не желавшие ломать перегрузкой агрегаты, и технологи в металлургическом и машиностроительном производствах. Слово “предел” приобрело почти контрреволюционное звучание» («Оранжевый абажур»).

Столкновение стереотипов с реальностью, мучительная перестройка сознания – главное содержание этих страниц.

И третий, последний пласт. Его читатель увидит и прочувствует сам – в финалах всех трех повестей. Новое литературное качество, принесенное Демидовым в отечественную словесность, придает особую силу сообщаемому в его повестях знанию об истории России XX века.

Автор монографии об общественном сознании и искусстве 30-х годов («Культура-2») В. Паперный, рассказывая о том, как

строительство Дома общества политкаторжан (Дом каторги и ссылки – по проекту архитекторов Весниных) было закончено как раз к ликвидации самого общества политкаторжан, цитирует статью в архитектурном журнале 1935 года: «Такой дом *может* быть построен только в стране победившего пролетариата. Подрастающее поколение, не видевшее живого городского, не испытывавшее гнета царизма и капитализма, будет знакомиться в Музее каторги и ссылки <...> с ужасами ссылки Туруханки, Колымы и прочих весьма отдаленных мест». Автор монографии пронизательно пишет, что человек этого времени («житель Культуры-2») «мог участвовать в коллективных жертвоприношениях, мог требовать уничтожения “вредителей”, но он не мог не задумываться над вопросом: а что происходит с вредителями после их разоблачения. Мир Добра и мир Зла существовал в культуре в разных измерениях. Мир Зла – это был крошечный мир, не имеющий места в реальном географическом пространстве. Разоблаченный вредитель автоматически переходил в мир Зла, и искать его здесь, на земле, было бессмысленно». Человек «мог знать, что тот или иной вредитель (допустим, его родственник) находится на Колыме, но Колыма при этом была для него лишь музейным экспонатом, местом, где когда-то происходили ужасы каторги и ссылки. В данном случае между той и этой Колымой не было не только “тождества по существу”, но и каких бы то ни было точек соприкосновения»¹.

Демидов сводит полюса – и возникают не точки соприкосновения, а вольтова дуга. Он жестко и неумолимо показывает – это происходило не когда-то и где-то, а совсем недавно, у нас, на нашей земле, в нашем с вами географическом и историческом пространстве, при молчаливом соучастии многих и многих.

Подозреваю, что и сегодня внуки и правнуки вертухаев, следователей и расстрельщиков, до сих пор поклоняющиеся Людоеду, этого Георгию Демидову не простят.

Мариэтта Чудакова

¹ Паперный В. Культура Два. 2-е изд., испр. и доп. М., 1996. С.304.

Семья Демидова и Московское историко-
литературное общество «Возвращение»
посвящают эту книгу светлой памяти
Александра Николаевича Яковлева,
благодаря которому изъятый
писательский архив Георгия Демидова
был возвращен его дочери.

От автора

Немало тяжелых сомнений должен преодолеть писатель прежде чем решиться на освещение в своих произведениях тех страниц нашего прошлого, которые сочтено за благо предать умолчанию и забвению. Прежде всего другого это касается явления, получившего впоследствии невнятное и полуусловное наименование «культга». Оно постыдно и исторически зловредно. Но именно поэтому не менее постыдным является и его замалчивание.

Почвой, на которой возникают режимы наподобие сталинского в СССР или маоцзедуновского в Китае с их единоличной диктатурой, опричниной и полнейшим пренебрежением к правовым и этическим нормам, является гражданская незрелость народа. На определенных стадиях его развития она неизбежна и закономерна. Но продлеваемая и выпестовываемая искусственно, такая незрелость переходит уже в гражданский инфантилизм, а пораженный ею народ превращается в коллективного политического недоросля, не способного отличить Право от Бесправия. Среди способов консервации этого состояния ограждение народа от исторической Правды занимает одно из первых мест. Так, наверное, будет не всегда. Всего вероятнее, что ко времени, когда запрет с этой темы будет снят или просто изживет себя, уже не останется ни одного из ее свидетелей. Их поколение быстро исчезает. Но оно может и должно оставить о своем времени письменные свидетельства, в том числе и облеченные в форму литературных произведений. Это гражданский долг тех из писателей уходящего поколения, которые видят назначение литературы в роли Совести и Разума народа, а не прислужни-

цы текущей политики. Соображения этого долга руководили и автором «Двух повестей о тридцать седьмом»¹.

Этот год вошел в народную память как символ произвола и беззакония, эпицентром которых он был. Вся же «эпоха террора», как назвал время безраздельного деспотизма Сталина в открытом письме к нему старый большевик и герой гражданской войны Раскольников, продолжалась более двух десятилетий. За это время карательными органами в СССР были совершены бесчисленные преступления против собственного народа, прежде всего против наиболее талантливой и мыслящей его части. Почти всё, что не подходило под стандарт духовной серости или лакейской угодливости, было беспощадно истреблено. Несмотря на преддверие войны, той же участи подверглись и руководящие кадры армии и оборонной промышленности. И когда война наступила – это обошлось народу в дополнительные миллионы жертв. По своей бессмысленности, вздорности возводимых на невинных людей клеветнических обвинений, жестокости расправы с ними, эпопеи НКВД-МВД ежовского и бериевского периодов не имеют себе подобных во всей Новой истории.

Тем не менее, ее вершители и вдохновители, за исключением считанных единиц из непосредственного окружения Берии, ушли от суда своих современников. Они и по сей день беспрепятственно носят ордена, чины и звания, полученные ими за усердие в борьбе с ими же выдуманной крамолой. Заботливая тень, наброшенная на деяния энкавэдэшеских палачей, неправедных судей и прокуроров, полупрофессиональных доносчиков, сделавших на политической клевете блестящую карьеру, ограждает их и от общественного осуждения. Запрет темы «культы» вселяет в этих людей надежду уйти и от презрения потомков. Никакие запреты, однако, для Истории недействительны.

1960–1964

¹ Предисловие относится ко времени, когда третья повесть «Два прокурора» еще не была написана. *Прим. В. Демидовой.*

Три повести о тридцать седьмом

Те, кто не хочет помнить о своем прошлом, обрекает
себя на повторение его ошибок и заблуждений.

Дж. Сантаяна

Главный урок Истории состоит в том, что никто еще
не извлек из нее урока.

Бернард Шоу

Будущее, чуждое наших распрей, отнесется к ним
с равнодушием, которое заменит справедливость.

Анатоль Франс

ФОНЭ КВАС

Они родились в девяностых,
а сгнули в одном — тридцать седьмом.

Павел Антокольский

Мартовская ночь в большом южном городе была такой, как ей и надлежало быть в начале весны. Вразнобой звенели, стучали капли с карнизов и крыш. Упруго и напористо тянул теплый и влажный ветер, несший из недалекого отсюда парка запах набухших почек и мокрых ветвей.

Но человек с узелком в руке, направлявшийся в сопровождении еще двух хмурых людей к ожидавшему в стороне автомобилю, ничего этого не замечал. Он шагал неровно и нервно, попадая ботинками в глубокие лужи под ногами и спотыкаясь о бугорки тающего снега. Залезая в обшарпанную эмку, арестованный не заметил даже, что задел головой о верхний край кабины и его кепка свалилась в грязный ручей на обочине мостовой. Кепку поднял тот из конвоиров, который открыл перед своим подопечным дверцу автомобиля, пропуская его вперед. Другой уселся рядом с шофером, и машина тронулась, разбрызгивая талую воду.

Изо всех окон большого, оставшегося позади жилого дома, светились только два в ряду третьего этажа. Прильнув к мутному оконцу за сидением, человек всматривался в убегающие светлые прямоугольники так пристально, будто силился в них что-то разглядеть.

— Сядьте прямо! — тоном приказания сказал ему сосед.

Поднятый с постели телефонным звонком в передней, Рафаил Львович только еще начал разговор с дежурным диспетчером главного энергораспределительного пункта. Диспетчер просил срочных указаний в связи с происшедшей аварией. Рафаил Львович не успел закончить объяснения, когда раздался новый звонок, но теперь уже над входной дверью. В отличие от телефонных, такие звонки в квартире Белокриницких были большой редкостью.

— Кто там? — почти автоматически отозвался хозяин, позабыв даже отвести в сторону телефонную трубку.

— Диспетчер Чижов, — удивленно ответила трубка, а из за двери голос дворничихи произнес:

— Откройте, Рафаил Львович, дело тут к вам!

Белокриницкий встревоженно открыл дверь. За ней, кроме дворничихи, стояли двое незнакомых в штатском.

— Вы Белокриницкий? Предъявите ваш паспорт! — незваные гости были уже в передней и закрыли за собой дверь, оставив на площадке тетю Дашу с испуганным и жалостливым выражением на добродушном лице.

Один из вошедших расстегивал большой потертый портфель, а Рафаил Львович растерянно переводил взгляд с этого портфеля на петлицы военной формы, выглядывавшие из-под штатского пальто неожиданного визитера. Он уже понял, что перед ним те, чья ночная работа выявляется наутро пустыми рабочими местами, запертыми кабинетами и испуганным шепотом сослуживцев «Взяли...», произносимым с оглядкой и только на ухо.

Однако признаться в этом понимании он боялся даже самому себе. Забытая трубка шипела от дутья на другом конце провода и недоуменно выкрикивала: «Алло, алло! Товарищ главный инженер!»

— Заканчивайте ваш разговор, — сказал человек с портфелем. — Только побыстрее, и не говорите лишнего!

Он приставил трубку к уху Рафаила Львовича, не выпуская ее из своей руки. В своем праве поступать как ему заблагорассудится непрошенный гость, видимо, не сомневался. Впрочем, не сомневался в этом и хозяин квартиры. Он с трудом выдавил из себя в трубку:

– Оставим этот разговор... до завтра...

– Что случилось, товарищ... – мембрана сухо шелкнула и умолкла

Человек в мундире НКВД под штатским пальто выдернул из гнезда штепсель телефонного шнура и положил трубку на рычаг.

– Прочтите! – он протянул Белокриницкому небольшой бланк. «Ордер на арест»...

Рафаил Львович с тупой старательностью вчитывался в серые печатные строчки на листке серой бумаги. Среди них выделялись вписанные фиолетовыми чернилами его фамилия, имя и отчество. Внизу после более жирно отпечатанного «прокурор» стояла невыразительная закорючка. Читать, однако, было трудно. Какие-то статьи и кодекс, обозначенные непонятными буквами и цифрами, прыгали перед глазами, куда-то плыли, менялись местами и спутывались в неразборчивую вязь. А он все силился составить из них осмысленную фразу. Ночной гость протянул Белокриницкому еще один бланк – ордер на обыск. На этой бумажке так же прыгали слова, цифры и буквы, и так же приплясывал жирный прокурор с его закорючкой.

– Вы арестованы, – услышал Рафаил Львович голос энкавэдэшника. Голос, однако, звучал глухо, как будто доносился через толстый слой войлока или ваты. – Есть у вас оружие?

Вата мешала не только слышать. Набитая под черепную коробку, она мешала понимать даже самые простые вопросы, как если бы они задавались на незнакомом языке.

– Я спрашиваю: оружие у вас есть? – энкавэдэшник уже почти кричал.

– Какое оружие? О чем вы спрашиваете? – Лена в капоте, с подобранными под гребенку волосами показалась в дверях спальни с документами мужа в руках. – Вот возьмите... – она смотрела на грубияна с презрительным недоумением, как на человека, спросившего в аптеке балалайку.

– Мы произведем в квартире обыск... – бросил тот, беря документы, – а вы, – обратился он уже к Белокриницкому, – одевайтесь, поедете с нами!

Рафаил Львович почувствовал, что ватными стали уже и ноги, и бессильно опустил на стул.

— Успокойся, Рафаил, — Лена подошла к мужу вплотную и одной рукой прижала к себе его голову, другой, как маленького, гладила по волосам. — Ты ведь ни в чем не виноват, правда? Значит, нам нечего и беспокоиться...

Это была простейшая и такая естественная мысль. Но самому арестованному она почему-то в голову не пришла. Понадобилась не одна секунда, чтобы эта мысль пробилась сквозь вату, опутавшую мозг. В самом деле, арест должен быть страшен только для тех, кто знает за собой какую-то провинность. Но инженер Белокриницкий не совершил ничего, что могло бы дать повод для обоснованного ареста. Значит, Лена права, и все происходящее сейчас — плод какой-то ошибки, явного недоразумения...

— Конечно, это недоразумение, Рафа, — слышал он успокоительный, обнадеживающий голос жены. — Все очень скоро разъяснится, и тебя отпустят. Энкавэдэ никогда не ошибается, ты же знаешь...

Как всегда, от Лены исходило спокойствие и сдержанность. Они были в тепле и запахе ее сильного тела, звуках низкого голоса, твердом взгляде серых глаз. И только руки, небольшие, но сильные, казались необычно холодными.

Да, да... Ему часто приходилось слышать об удивительной безошибочности действий аппарата НКВД. Многие говорили об этом с неподдельным восторгом, и не только на митингах.

Бессилие и тупость набитого ватой мешка проходили. Постепенно возвращалась способность владеть собой и логически мыслить. Лена всегда умела вселить в мужа бодрость и надежду, даже в трудные минуты, когда он совсем терялся и был близок к отчаянию. Рафаил Львович восхищался способностью жены сохранять ясность мысли в самых трудных обстоятельствах и немножко завидовал ей той доброй завистью, когда радуешься достоинствам другого человека, но жалеешь, что этих достоинств нет у тебя самого. Белокриницкий не только любил свою жену, он ею еще и гордился.

А в ее отношении к нему было много материнского, хотя по возрасту они были однолетками. И не только потому, что женщина всегда старше мужчины одинакового с ней возраста.

У Белокриницких не было детей, и неизрасходованный запас материнских чувств достался Рафаилу. Этому способствовало еще и то, что по своим волевым качествам Лена была намного сильнее мужа.

Чисто по-женски возведя его ум и действительно незаурядный талант инженера чуть ли не в ранг гениальности, она опекала своего Рафу как большого ребенка, принимая на себя все, что, по ее мнению, не было достойно его способностей.

Они редким и счастливым образом дополняли друг друга и чуть-чуть друг друга идеализировали. Поэтому даже через три года супружества отношения мужа и жены оставались такими же свежими, как вначале. Время сделало эти отношения только более спокойными, зато еще более прочными.

Сейчас к ним пришла беда. В их доме хозяйничали чужие, недоброжелательные люди. И как часто бывает в таких случаях, в прикосновения, взгляды и короткие слова любящих людей вкладывалось то, для выражения чего в обычных условиях не хватило бы и часов. Но так же часто при подобных обстоятельствах случается, что двое проявляют подсознательный эгоизм по отношению к третьему, забывая даже о его существовании. Впали в такой эгоизм сейчас и супруги Белокриницкие.

Мать Рафаила Львовича выбралась из своей комнаты и, дрожа от дряхлости и волнения, давно уже переводила испуганный взгляд то на энкавэдэшников, хозяйничающих в кабинете ее сына, то на него самого, прильнувшего к жене. За свой долгий век старуха пережила и погромы, и обыски, и уводы из дому близких людей. Понимала она и теперь, зачем явились сюда эти чужие люди.

И когда Рафаил Львович и Лена, спохватившись, виновато усадили ее на стул, мать смотрела на сына с выражением мольбы, как будто от него самого зависело решение, оставаться ему или уйти. И все гладила иссохшей рукой по рукаву выше локтя. «Сыночек мой! Куда же это тебя, за что? Сыночек...»

— Я вам приказал одеваться!

Это крикнул старший в чине энкавэдэшник из-за письменного стола Рафаила Львовича. Он выдергивал ящик за ящиком и торопливо рылся в них, как в комод, в котором спешно ищут свежую рубашку. Его помощник, стоя

у книжного шкафа, снимал с полок одну за другой книги, встряхивал их и бросал на пол. Все это больше походило на погром, чем на обыск, который производился явно без надежды найти что-нибудь действительно нужное. Впрочем, кое-что обыскиватели откладывали в сторону. Книг и бумаг было много, и перетряхивание все еще продолжалось, когда Рафаил Львович, сменив халат на обычную одежду, снова встал у стула матери. И снова она смотрела на него умоляющим взглядом, поглаживая по рукаву короткими движениями дрожащей руки.

Кучка откладываемых бумаг продолжала расти. В ней были старые письма, в том числе и бережно хранимые письма Лены, когда она еще не была женой Рафаила Львовича, его записные книжки, блокноты. В ту же кучку полетел и инженерский диплом Белокриницкого.

Обилие бумаг явно раздражало старшего энкавэдэшника. Но однажды его злое лицо как будто оживилось. Из-под крышки стола он извлек небольшой кусок плотного картона, явно запрятанный туда его владельцем. Рафаил Львович вспомнил, что это такое, и похолодел. Первоначальная ошеломленность уже прошла, и Белокриницкий теперь замечал даже детали поведения людей, привычно копающихся в чужих вещах. Вот, например, когда его начальник этого не видит, второй энкавэдэшник бросает книги на пол, даже их не встряхивая. А тот, несмотря на явную спешку, с ухмылкой разглядывает найденную фотографию — единственный предмет в доме, который Рафаил Львович хранил в секрете от жены и матери. Это была рекламная картинка какого-то берлинского кафе-шантана двадцатых годов, вывезенная из тогдашней Германии и подаренная Белокриницкому его приятелем. Фотография изображала дамский духовой оркестр веселого ночного заведения. На невысокой эстраде восседала группа дородных, совершенно голых немок со сверкающими инструментами. Что если обыскиватель задаст какой-нибудь вопрос, относящийся к пикантной фотографии, или повернет ее лицевой стороной от себя? Лены, правда, в комнате не было, она возилась на кухне, приготавливая мужу бутерброды, но оставалась мать. Будет не легче, если офицер бросит картинку на пол или оставит ее на столе...

Однако тот, еще раз ухмыльнувшись, сунул находку в самый низ отбираемых бумаг. Фото, вероятно, решено просто присвоить. Рафаил Львович подавил вздох облегчения.

Наконец со столом и шкафами было покончено. Энкавэдэшник откинул простыни с постели в спальне, заглянул в комнату старухи, но рыться нигде больше не стал. Затем скользнул цепким взглядом по костюму Белокриницкого и приказал:

— Все, что в карманах, выложите на стол!

Рафаил Львович достал портмоне с карманными деньгами, авторучку и записную книжку. Книжку энкавэдэшник бросил в ту же кучку, деньги — их было всего несколько рублей — вернул: «Там сдадите!» Приказал снять с руки часы и вместе с авторучкой отложил в сторону. «Там не нужны!» Еще раз строго уставился на арестованного:

— Больше ничего нет? Смотрите, там все равно обыщут!

Лена принесла маленький узелок — чемодана почему-то взять не разрешили — и старое осеннее пальто мужа. Второй энкавэдэшник, уже перешвырявший на пол все книги в доме, помял в руках узелок и ощупал карманы пальто:

— Лишнего ничего не взяли? а то там отберут! — предупредил и он.

В пальто и в кепке, с узелком в руках Рафаил Львович стоял уже в передней. Младший энкавэдэшник прошел вперед и взялся за ручку входной двери. Старший закончил запихивать бумаги в свой потрепанный портфель и приказал: «Выводите!» Лена обняла мужа, по-прежнему оставаясь внешне спокойной, как будто провожала его в обычную командировку.

— Иди, Рафаил, до скорого свиданья! — но руки и губы стали у нее еще холоднее и как будто тверже.

А мать подошла мелкими, неверными шажками, пристально, почти не мигая, глядя в лицо сына, потом неожиданно быстрым и цепким движением обняла его за шею. Дрожала ее голова с реденькими седыми космами и все сухонькое, казавшееся почти невесомым тело.

— Я вернусь, мама, я скоро вернусь! — Но мать все дрожала, и было мучительно трудно сдерживать подступающий к горлу комок и начинавшие подергиваться губы.

– Выходите! – уже грубо, повелительно повторил старший энкавэдэшник.

Лена оттащила свекровь, и та почти повисла на сильных руках невестки. Младший энкавэдэшник открыл входную дверь и захлопнул ее с лестничной площадки, когда его начальник и арестованный вышли. Звук закрываемой двери был, вероятно, обычным. Но Рафаилу Львовичу в нем почудился звук топора, рассекшего жизнь маленькой семьи Белокриницких на то, что было до этой ночи, и на смутное, внушающее безотчетный страх будущее. Рядом больше не было спокойной, мужественной жены, и его снова охватили смятение и растерянность.

Эмка свернула на улицу, которую городские старожилы еще и теперь по старинке называли иногда Дворянской. Ни шириной, ни прямизной эта улица не отличалась, зато была очень уютной, Деревья, густо посаженные по обеим сторонам, сходились наверху кронами, образуя подобие зеленого туннеля. Большая часть старинных домов-особнячков стояла здесь в глубине небольших садов, отделенных от улицы железными решетками.

До начала тридцатых годов на бывшей Дворянской стояло здание жандармского губернского управления. До революции оно верой и правдой служило российскому самодержавию своими двумя этажами затейливой, купеческой архитектуры с такой же затейливой башенкой на углу. В Гражданскую здесь попеременно бушевали Чрезвычайка и Контрразведка, а на флагштоке башенки соответственно полоскались то красный, то полосатый флаги.

Затем красный флаг закрепился уже окончательно, и в домике наступило относительное успокоение. ОГПУ, сменившему ВЧК, хватало площади, унаследованной от жандармов. Но к началу первой пятилетки этой площади стало уже явно недостаточно, несмотря на небольшую пристройку к старому зданию и предельное уплотнение бурно разрастающегося аппарата карательных органов.

Гнездо гепеушников первого десятилетия советской власти было снесено вместе с шеренгой уютных особнячков. Новое шестиэтажное здание управления НКВД заняло

целый квартал. Внутри замкнутого прямоугольника находился обширный внутренний двор. Однако взглянуть на этот двор никому еще не удавалось. Часовой у железных ворот прогонял каждого, кто хотя бы на секунду задерживался против таинственного дома на тротуаре противоположной стороны. Проходить по той же стороне переулка, на которой стоял дом НКВД, не разрешалось совсем.

Несмотря на третий час ночи, дворец областного управления Наркомата Внутренних Дел сверкал всеми своими окнами. Чужой в городе человек еще мог издали принять его за фабрику, с полной нагрузкой работающую в ночную смену, вблизи же такая ошибка исключалась. И не только потому, что у производственного здания не могло быть ни таких внушительных порталов, ни бронзовых эмблем НКВД на массивных дверях, ни охранявших его часовых с винтовками и примкнутыми штыками. Ярко освещенный изнутри дом казался совершенно безмолвным. Здесь помещалась фабрика совсем иного рода.

Эмка коротко просигналила перед наглухо закрытыми воротами. Они сразу же открылись, и автомобиль въехал в освещенный короткий туннель. Два вооруженных вахтера, как и часовой снаружи, не спросили никаких документов. Лишь взглянув в лица конвоиров Белокриницкого, они открыли ворота во внутренний двор.

Противоположная стена двора оказалась неожиданно близкой. Развернувшись, машина остановилась перед подъездом. Энкавэдэшники вышли, и старший неожиданно грубо сказал арестованному:

— Выходи!

Рафаил Львович вздрогнул. Этот хамоватый тип уже больше часа приказывал, делал резкие замечания, понукал. Но обращался все-таки на «вы». Здесь же он сразу перешел на «ты». Это показалось болезненным и оскорбительным, как удар плетью. Объяснить такое обращение случайной оговоркой или каким-нибудь поводом со стороны арестованного было нельзя. Вероятнее, что по сю сторону железных ворот оно разрешается, а может быть, даже предписывается принятыми здесь правилами. Белокриницкий почувствовал, как сразу усилилась его внутренняя тревога в ожидании чего-то еще более оскорбительного и враждебного.

Двор был не широким, как можно было предполагать, исходя из наружной формы и размеров здания. На трех его стенах окна были освещены так же ярко, как и с улицы, и располагались они в те же шесть рядов. Но четвертая стена – напротив въездных ворот – имела только пять этажей и притом более низких, чем в остальных частях здания. При свете из окон и ярких фонарей во дворе было видно, что эта стена сложена не из кирпича, как другие, а отлита из бетона. Ее серая, вертикальная плоскость сверху донизу была совершенно гладкой, без малейшего карниза или выступа.

В каждом из пяти рядов окон на бетонной стене тускло светились только одно или два окна. Было видно, что они небольшие, квадратные и забраны толстыми решетками, точь-в-точь такими же, как на мопровском плакате «Не забывайте нас!». Остальные оконца видны не были, их закрывали листы кровельного железа. Эти листы были установлены чуть наклонно напротив каждого окна, а их края отогнуты к стене так, что закрывались и боковые просветы. Железо не было окрашено, заржавело, и по стене от странных ставень тянулись ржавые потеки. От этого она выглядела еще более мрачной и устрашающей. Белокриницкий не мог отвести от угрюмой стены испуганного взгляда. Так вот почему двор узок! Он перемыкается корпусом огромной пятиэтажной тюрьмы, о существовании которой жители города даже не догадываются, глядя на помпезный фасад управления НКВД.

– Не разглядывать! – прикрикнул старший энкавэдэшник, а его помощник пробежал вперед и открыл какую-то дверь. Видимо, это была одна из его постоянных обязанностей – открывать и закрывать двери.

– Шагом марш! – Становилось ясно, что с арестованными здесь не разговаривают, ими только командуют. И притом грубо, тоном окрика, почти как с животными.

Рафаил Львович вошел в какую-то дверь и поднялся на несколько ступеней вверх. Еще дверь, и он оказался в узком и длинном слабо освещенном коридоре.

– Приставить ногу! – Арестованный не был на военной службе, но нетрудно было догадаться, что команда означает приказ остановиться.

Старший из арестовавших Белокриницкого поднес чуть не к самому лицу своего помощника наручные часы и, раздраженно стуча по циферблату, что-то сказал. Тот сразу же побежал куда-то. Рафаил Львович понял только, что речь идет о какой-то операции, несомненно, еще о чем-то аресте.

По обеим сторонам коридора были узкие одностворчатые двери с четкими номерами в белых кружочках. Сначала Рафаил Львович подумал, что это тюрьма. Но тут же вспомнил, что, судя по рассказам и картинкам, тюремные двери должны иметь наружные засовы с громадными замками и глазами для наблюдения за заключенными. А тут было что-то другое. Кроме того, тот корпус с закрытыми железом окнами расположен перпендикулярно этому, входящему в наружный периметр здания. Рафаил Львович вспомнил, что старший энкавэдэшник, когда их машина въезжала в ворота, сказал шоферу: «Ко второму следственному!» Значит, за этими дверями с белыми кружками номеров ведутся допросы. Но сколько же здесь таких дверей, если они расположены во всех этажах хотя бы одного только этого крыла громадного здания?

Белокриницкий не думал прежде, что окна, если их заслонить снаружи черными листами, так сильно напоминают мертвые глазницы, прикрытые непрозрачными накладками. Он видел однажды убитого током рабочего, на глаза которого его товарищи положили большие медные пятаки...

– Руки назад!

Рафаил Львович не понял сразу, что от него требуется, и вопросительно оглянулся.

– Руки на-за-а-ад! – злобно и нараспев, как опасному своей несообразительностью дураку, повторил энкавэдэшник. Схватив сзади кисти рук арестованного, он грубо свел их вместе, почти ударив одна другую. – Шире шаг! – Рафаил Львович догадался, что «шире шаг» означает «иди быстрее!» Через несколько шагов последовала очередная команда: – Направо!

Белокриницкий свернул в узкий боковой проход. Проход оказался очень коротким – не более десятка шагов – и плавно изогнутым, наподобие запятой. Он выходил на лестничную площадку. Лестница была бы самой обыкновенной, такой же, как и во всяком другом современном доме добротной постройки, если бы ее пролеты не ограждали веревочные сетки. Они

были натянуты по вертикали, над перилами лестницы, и горизонтально, на высоте каждого этажа. Горизонтальные сетки напоминали те, которые иногда натягивают над ареной цирка во время исполнения под куполом смертельных номеров.

Возникшее в первую минуту недоумение быстро сменилось пониманием, от которого к нарастающему чувству тревоги добавилось еще и ощущение жути. Оказывается, жизнь арестованных здесь нужно охранять от них самих! Той же цели служит, конечно, и войлочная кошма, которой обшиты квадратные каменные тумбы на поворотах лестницы. Их острые гранитные углы не должны соблазнять тех, кого ведут по этой лестнице, возможностью раскроить себе о них череп! Особенно силен, вероятно, такой соблазн для тех, кого ведут вниз...

— Вниз, шагом марш!

Так как это первый этаж, то внизу может быть только подвал. Точнее, полуподвал. Рафаил Львович заметил со двора, что самый нижний ряд тюремных окон уходит в ямы, тоже закрытые наклонными железными листами. Он представил спуск в тюремное подземелье, и чувство жути усилилось. Сознание, однако, продолжало оставаться ясным, а восприятие окружающего — даже более острым, чем обычно.

Внизу за поворотом лестницы лязгнула дверь, по-видимому, железная, а вслед за этим послышалось шелканье. Так шелкал пальцами, постоянно раздражая этим Рафаила Львовича, один из его сотрудников. Здесь подобное шелканье казалось еще более неуместным.

— Лицом к стене!

Арестованный опять проявил непонимание: к какой стене, и зачем? Но сопровождающий грубо схватил его за плечи и повернул к стене, едва не ткнув Рафаила Львовича в нее лицом. Белокриницкий, однако, успел заметить, что навстречу им снизу поднимается бледный и заросший человек с заложенными за спину руками. А пальцами шелкает сопровождающий его солдат. Вот оно что! Это сигнал предупреждения. Здесь заботятся, чтобы арестованные не видели друг друга. Когда заключенный и его конвоир скрылись за верхним поворотом лестницы, Рафаилу Львовичу было приказано продолжать спуск.

Дверь в полуподвал действительно оказалась железной. На звонок сопровождающего в ней открылось окошко, через которое выглянул человек в форменной фуражке. Белокриницкий успел заметить, что кнопка рядом с дверью почему-то того типа, который употребляется в шахтах, а лестница продолжается куда-то вниз. Неужели там тоже тюрьма?

Железная дверь открылась, и арестованный, подтолкнутый своим провожатым, вошел в помещение, очень похожее на заводскую раздевалку. Только шкафы были здесь большего размера и стояли не вплотную, а на некотором расстоянии. Энкавэдэшник сунул привратнику записку и бегом повернул обратно.

Белокриницкий успел заметить, что он взлетел по лестнице, шагая через три ступеньки. Даже тяжесть большой беды не могла заглушить чувства — в сущности мелкого — обиды и злости на этого человека за его оскорбительную грубость. Опять за кем-то помчался, собака гончая! Рафаил Львович и думать не мог, как мало это мысленное ругательство, пришедшее ему в голову, отличается от прозвища «легалые», которым издавна обзывают работников оперативной службы уголовники.

Человек в фуражке отметил что-то в поданной ему бумажке и положил ее в стопку таких же бумажек у телефона. Затем он открыл один из шкафов с жирным двузначным номером на дверце. В нижней части шкафа была доска-перекладина, предназначавшаяся, видимо, для сидения. Рафаил Львович был рад и ей, так как почувствовал вдруг неодолимую усталость. Дверь шкафа закрылась, и на ней щелкнула задвижка.

Небольшое отверстие в потолке деревянной коробки предназначалось, видимо, для притока воздуха. Пахло пересохшим деревом, краской и пылью.

Еще вчера Белокриницкий был главным техническим руководителем крупного энергетического объединения. Как всегда, множество дел было намечено на завтра, даже отложенный разговор с диспетчером Чижовым. Так вот каким оказалось оно, это завтра!

Вот уже десять лет, как Белокриницкий работал не переводя дыхания, почти без отпусков и без выходных. Случалось, он по неделе не возвращался домой, одетым спал возле монтирующихся турбогенераторов или распределительных щитов. Возвращаться домой ежедневно, хотя почти всегда очень поздно, Рафаил Львович начал только после женитьбы. Пришло понимание и ощущение того, что называется личной жизнью. Но и теперь на первом месте оставалась все-таки работа.

Автор многих изобретений и смелых проектов, Белокриницкий считался выдающимся специалистом-энергетиком. Несмотря на свое сомнительное социальное происхождение – он был сыном нэпмана – Рафаил Львович уже несколько лет был главным инженером крупного энергетического объединения. В годы учебы в институте он начал здесь работать в качестве электромонтера на небольших тогда станциях и подстанциях этого объединения. Затем был на них дежурным по распределительным щитам, сменным инженером, директором электростанции.

Отец Рафаила Львовича, полуграмотный еврей-ремесленник, зарабатывал до революции на хлеб для своей многочисленной семьи установкой и ремонтом электрических звонков, починкой карманных фонариков и другой электрической мелочи. Старший Белокриницкий выбрал себе эту профессию не из-за ее доходности – заработок портного или шапочника был вернее и больше, – а из любви к электричеству. В родном местечке на юге России парня считали за это даже немножко «мышугене»¹. Он мог говорить с редкими понимающими людьми об электричестве часами, выдумывая собственные, большей частью фантастические теории электрических явлений. Самым удивительным было то, что на основе этих теорий он изобретал иногда довольно любопытные вещи. Правда, это были большей частью всего лишь игрушки. Еврей из глухого местечка не смог приложить свой изобретательский талант и жажду технического творчества ни к чему действительно полезному. Не хватило бы у него

¹ Мышугене (или мишугине) – сумасшедший (идиш).

для этого и знаний. И все же, несомненно, что в местечковом ремесленнике погибал выдающийся инженер и ученый.

Впрочем, чистый интерес к электричеству не мешал Льву Моисеевичу питать наивную мечту разбогатеть когда-нибудь, через какое-нибудь изобретение в этой области. До конца жизни он строил планы, как сделаться миллионером, такие же химерические, как и его теории. Однако старик не чуждался иногда и вульгарного мелкого гешефта, подчас даже не совсем добросовестного. Когда ему удавалось или казалось, что удавалось, провести партнера по коммерческой сделке, как правило не еврея, Лев Моисеевич не только не испытывал угрызений совести, но и был весьма доволен собой. Такого партнера он снисходительно называл жаргонным, распространенным среди еврейского населения на юге словечком «фонэ квас». Случалось, что презренный «фонэ квас» оказывался хитрее самоуверенного комбинатора, и в дураках оставался сам Лев Моисеевич. Тогда он втихомолку ругал все тем же словечком самого себя. Постепенно он распространил эту кличку на всех, кто проявлял недостаточную расторопность или сообразительность.

Утверждают, что выражение «фонэ квас», или «фанэ квас», произошло в результате искажения первоначального «Афоныса квас» — презрительной клички мужика-простофили.

В семье Белокриницких выражение «фонэ квас» приобрело оттенок русского «лопух».

В начале НЭПа старик решил, что его изобретательских способностей и, как он думал, таланта предпринимателя и коммерсанта достаточно, чтобы начать собственное дело, и открыл мастерскую по производству электрических звонков. Работали в этой небольшой мастерской почти исключительно его родственники и старшие члены семьи, в том числе, конечно, и сын Рафаил. Тут-то у младшего Белокриницкого и развился интерес к электричеству.

В отличие от отца, сын был человеком достаточно грамотным и вместо доморощенных физических теорий всерьез занялся изучением физики и электротехники. Книги по этим предметам Рафаил читал запоем, как его сверстники читали пожелтевшие книжечки дореволюционного издания

приключений Ната Пинкертон и Ника Картера. Для настоящего понимания теории электротехники необходимо было знать математику, и младший Белокриницкий почти самоучкой освоил и этот предмет. И притом не только в объеме гимназического курса. Он разбирался даже в некоторых разделах основ высшей математики. Очень увлекался Рафа строительством самодельных физических приборов и составил из них у себя дома целый физический кабинет.

В те времена еще принимали в ВУЗы детей «прочих», то есть тех, кто не мог быть причислен даже к последней из трех категорий трудящихся, — конечно, только на условии почти круглой пятерки на вступительных экзаменах. У Рафаила Белокриницкого эта пятерка получилась без всякого «почти».

Вскоре во внутренней государственной политике был взят крутой курс на ликвидацию частного сектора. К концу двадцатых нэпман Белокриницкий был полностью разорен произвольно назначенными налогами. Его мастерская, даже обстановка квартиры, все, что не удалось скрыть от фининспектора, было конфисковано в погашение недоимок. Однако даже таким путем они полностью погашены не были, и злостному неплательщику налогов угрожала тюрьма. От нее одряхлевшего Льва Моисеевича спасла болезнь. Но та же болезнь свела его в могилу. Старик умер, так и не повторив карьеры Эдисона или Сименса. Оказался он, по его выражению, «фонэ квас» и в своей ставке на необратимое развитие Новой Экономической Политики. На этот раз уже окончательно.

Младший Белокриницкий к этому времени заканчивал политехнический институт. О приеме в ВУЗы детей «прочих» теперь не могло быть и речи, пробравшихся туда чуждых исключали. Однако в отношении выпускников этого все-таки не делали, и сын нэпмана Белокриницкий получил инженерский диплом.

Своего происхождения Рафаил Львович, конечно, не афишировал. Но в его личном деле оно было записано навечно. И если многим другим в те времена помогало тянуться вверх, часто совершенно несоответственно знаниям и способностям, их пролетарское происхождение, то ему постоянно приходилось преодолевать свинцовый груз социально чуждого происхождения, куда более тяжелого, чем был в свое время

груз иудейского вероисповедания. Особенно трудным положение главного инженера стало в последние годы. Согласно логике особо бдительных граждан, которых становилось все больше, специалистам типа Белокрыницкого доверять быть нельзя, будь они хоть трижды знающие и работоспособны. Среди выставлявших напоказ свою гипертрофированную подозрительность почти не было большевиков ленинского периода. Таким способом особенно шумливо рекламировали свой убогий и злой догматизм, официально предписываемый нынешней государственной идеологией, партийцы новой пореволюционной генерации. Подлинные же большевики, коммунисты с опытом строительства советской государственности, как правило, куда лучше понимали сущность людских характеров. Понимали они и влюбленность настоящих специалистов в свое дело, всегда таким специалистам доверяли и никогда почти в своем доверии не ошибались. Нынешняя же концепция всеобщей подозрительности, высочайше объявленная самим Сталиным, исходила из представления о людях как о врожденных предателях, гипертрофически лживых, коварных и злобных.

Глаза постепенно привыкли к полумраку, и Рафаил Львович заметил, что стены шкафа во многих местах исписаны карандашом его постояльцев. Однако, все надписи, кроме одной, вероятно, самой поздней, были стерты или густо замазаны. Сохранившуюся тоже нелегко было разобрать, так как сделанная графитным карандашом по слою серой масляной краски, она была плохо видна. Но времени было достаточно, и Рафаил Львович прочел: «Сообщите моей жене... — следовала фамилия и адрес, — что я взят на улице 10 марта».

Так вот, видимо, каким образом пропали на прошлой неделе два работника одной из городских электростанций, сменный инженер и машинист турбины, латыши по национальности! Оба они исчезли куда-то, возвращаясь с работы домой.

А еще несколькими днями раньше жена одного из знакомых Белокрыницких, научного сотрудника исследовательского института, сбилась с ног, разыскивая пропавшего мужа.

Она побывала во всех больницах и моргах, во всех отделениях милиции. Звонила и в оперативный отдел НКВД. Оттуда ответили, что ничего о пропавшем человеке не знают. Но теперь почти не подлежало сомнению, что все эти исчезновения — их работа.

Мысль о прямой нецелесообразности, не говоря уже о зловредности действий карательных органов НКВД, прежде не приходила Белокриницкому в голову. Сам выходец из сословия людей третьего сорта, он, конечно, не мог особенно обольщаться представлениями о гуманности и даже законности действий советских карательных органов в тех случаях, когда дело шло об уничтожении неудобных государству элементов. Однако полагал, что такие действия всегда являются целесообразными с точки зрения здравого смысла и уж никак не могут противоречить интересам государства. Однако наблюдая за ростом числа арестов в последние месяцы и их все более непонятным характером, Рафаил Львович все чаще испытывал тревожное и мучительное сомнение. С некоторого времени он уже не столько верил, сколько заставлял себя верить, что органы НКВД не впали в какую-то роковую ошибку. В последний раз эту успокоительную веру сумела внушить ему жена во время сегодняшнего налета энкавэдэшников на их квартиру. Но под действием виденного здесь, хоть это и было, несомненно, только преддверием чего-то гораздо худшего, эта вера все больше вытеснялась неоправданным страхом и сомнением. Их невольно внушали железные щиты на оконцах тюрьмы, веревочные сетки на лестнице, вот эта надпись, свидетельствующая, что людей бесшумно и почему-то тайно хватает какой-то паук, центр паутины которого, несомненно, здесь, в этом огромном здании...

Мысли в усталом мозгу все больше путались. Незаметно они сменились пугающим видением. Колоссальный паук с несколькими рядами мертвых квадратных глаз ткал паутину из тонких бесконечных веревок. Паутина расплзалась все шире, покрывая собой весь мир. Вот она подступила к Рафаилу Львовичу и начала опутывать его крепкими бечевками, неодолимо сжимая в какой-то ком. Он пытался сопротивляться, но загипнотизированный паучьими глазами, не мог даже пошевелиться. А веревки наматывались все более толстым слоем,

как бы пеленая его. Было трудно дышать, пахло сухостью и пылью. Невыразимый страх охватил Белокриницкого, он вскрикнул и проснулся.

Рафаил Львович не сразу вспомнил, где он находится, и некоторое время продолжал чувствовать тот же страх, сидя в неудобной, скрюченной позе на своей перекладине. Вспомнив, сел ровно и начал постепенно приходить в себя. До чего поразительная все-таки эта способность спящего мозга комбинировать в сновидениях виденное накануне!

За стенками шкафа продолжали раздаваться приглушенные звуки. Там шло почти непрерывное движение. Часто трещал телефон или звонок над дверью. Лязгали запоры, и в раздевалку — так мысленно прозвал это помещение Белокриницкий — приводили новых арестантов. Их бесшумно сажали в шкафы. Но было ясно, что других из этих шкафов выводили. Голосов их не было слышно, только привратник, он же распорядитель тюремной ожидалки, короткими словами отвечал по телефону «слушаю...», «да...» или «нет...», «хорошо...». Но и это вполголоса, как в доме, в котором лежит покойник. Все это делалось, конечно, для того, чтобы находящиеся в шкафах люди не знали, кого еще сюда привезли и кто находится рядом.

Хотелось, чтобы все поскорее кончилось. Там, куда его сегодня переведут, очередного арестанта ждет знаменитая тюремная койка с жестким матрасом и грубым одеялом, маленькое зарешеченное оконце... Тут Рафаил Львович вспомнил о железных листах и подумал, что через эти оконца ничего, кроме ржавого железа, увидеть, наверно, нельзя. Сколько раз ему приходилось читать об узниках, следящих через свою решетку за ходом облаков. Узники этой тюрьмы лишены даже такой возможности.

На экскурсии в Петропавловскую крепость Белокриницкий видел проволочные сетки, установленные царскими тюремщиками перед окнами казематов. Жестокость людей, оправдывавших это палаческое мероприятие необходимостью лишить заключенного сомнительной возможности посылать на волю весточку с голубем и воробьем, казалась тогда

непостижимой, а повод для нее надуманным. Но то была все-таки сетка, а не сплошной железный лист.

Ставни на окнах тюрьмы в представлении Рафаила Львовича стали уже неотделимыми от сеток на лестнице и кошмы на ее тумбах. Неужели и он будет думать о бездне лестничного пролета и каменных предметах с острыми углами как о средствах избавления от чего-то, по-видимому, еще более страшного? Неужели здесь есть что-то страшней самой смерти?

Можно, конечно, понять отчаяние и страх людей, совершивших тяжкие преступления и ожидающих неотвратимого возмездия. Но он-то твердо знает, что не совершил ничего, что можно было бы вменить в вину бывшему главному инженеру. Если это будут неизбежные во всяком большом и сложном техническом хозяйстве аварии, простои и неполадки, то такое обвинение можно отвести с помощью компетентной экспертизы. Белокриницкому нетрудно будет доказать, что если бы не его непрерывная многолетняя работа над предупреждением всяческих аварий, то их было бы вдвое больше. Его энергосистема едва ли не самая грозоупорная в Союзе. Именно в ней были применены новейшие защитные средства от разрушающих ударов молнии, бывших прежде бичом энергоснабжения. Только по ошибке, полнейшей технической невежественности или злобе можно заподозрить во вредительстве многолетнего руководителя одного из передовых энергетических объединений.

Вредительство... Неужели и в самом деле есть люди, способные выполнять свое дело не наилучшим образом и даже не как-нибудь, а именно наихудшим? Психология подобных людей казалась Рафаилу Львовичу противоестественной, недоступной пониманию человека с нормальной психикой.

Процессы специалистов-вредителей в последние годы шли один за другим. И на всех этих процессах обвиняемые всегда признавали свою вину и слезно каялись. Статьями об экономической контрреволюции заполнялись газеты. Грозные и обличительные речи по адресу ее разоблаченных агентов произносили на суде прокуроры. На тему о вредительстве писались романы, выпускались кинокартины. Все призывало к бдительности — вредитель рядом!

Вероятно, в таком же преступлении подозреваются и многие из прежних сотрудников Белокриницкого, арестованных в последнее время. Случалось, что арестовывали затем и тех, кем эти люди были заменены. Иногда такая смена происходила по два и по три раза. И это при условии острой нехватки специалистов!

Теперь, когда пришла и его очередь, мучительный вопрос превратился в страшную загадку. Что все-таки совершили арестованные, если он, главный инженер и опытный специалист, в деталях знакомый со всеми своими установками, никогда и ни в одной из них не мог обнаружить хотя бы каких-нибудь следов нарочитой порчи. И ни один из схваченных НКВД знакомых ему инженеров даже отдаленно не был похож на вредителя.

Но если эти люди не виновны, то почему их все же арестовали? Допустим, по ошибке. Почему же тогда никто из них не вернулся домой? и где они теперь? Почему никто и никогда не может ничего узнать не только об обстоятельствах дела, но даже об их судьбах? Затеплившаяся было надежда снова сменялась холодным и ядовитым сомнением.

А арестовывают теперь не только специалистов. Хватают также старых членов партии, заслуженных ветеранов революции и гражданской войны. И хотя очень странно, что арестован честный специалист Белокриницкий, еще страннее, что та же участь месяц назад постигла и управляющего их объединением, старого большевика, члена обкома и республиканского ЦК Миронова. Миронов был участником дореволюционного большевистского подполья, много лет находился в сибирской ссылке, награжден редким в двадцатые годы советским орденом. Человек без образования, бывший монтер, он проявил незаурядные организаторские способности еще в период реконструкции, руководя первыми стройками по плану ГОЭЛРО. В способности Белокриницкого Миронов впервые уверовал, когда тот, будучи еще начинающим инженером, вывел из тупика строительство небольшой электростанции. Молодой специалист предложил остроумный способ использования электротехнической оснастки старого военного корабля взамен оборудования, в котором отказала одна из западных фирм, выполняющая международное соглашение об эмбарго

на поставки для Советского Союза. С тех пор Миронов уже не отпускал от себя инженера Белокриницкого. Это за его широкой спиной, как выражались негодующие бдительные, поднимался все выше по ступенькам служебной лестницы человек чуждого происхождения, несмотря на их многократные и все более настойчивые предупреждения...

Сколько же времени он уже сидит в этом ящике, два часа или четыре? а что делается сейчас в его квартире? Спать в ней, конечно, больше не ложились. Мать, наверно, сидит, глядя перед собой неподвижным взглядом, а голова у нее трясется. А жена приводит в порядок его кабинет. Возможно, она еще продолжает это занятие. Хаос энкавэдэшники устроили страшный, а наводить порядок только для видимости Лена не станет. Предположить, что его жена просто раскисла от горя и сидит, сложа руки, Рафаилу Львовичу даже в голову не пришло.

Как долго, однако! А что если и в самом деле произошло какое-то недоразумение и хам-энкавэдэшник, грубиян и воришка, стащивший соблазнительную картинку, получил от своего начальника нагоняй за бестолковость? А Белокриницкого как арестованного без всяких оснований сейчас выпускают, объясняя все перегрузкой, и он помчится домой по предрассветным улицам — трамваи, наверно, еще не ходят, — с сочувствием поглядывая на редких и хмурых прохожих, не способных, подобно ему, понять, какое это великое и ни с чем не сравнимое счастье — свобода!

Да, надо запомнить адрес этого бедняги, арестованного сегодня на улице...

Щелкнула задвижка. Рядом с привратником, посадившим Рафаила Львовича в ящик, стоял другой. Он жестом приказал арестованному выйти и следовать за ним.

Дежурный по тюрьме сидел за столом в буденовском шлеме с яркой красной звездой. Теперь такие шлемы можно было видеть разве только в кино, на музейных плакатах да на картинах на сюжеты гражданской войны. Возможно, именно поэтому дежурный и надевал архаичный шлем, то ли как символ своей верности революционным традициям ЧК, то ли для вящего устрашения схваченных врагов народа. Он был очень

занят и почти не отрывался от телефонной трубки, выслушивая чьи-то приказания и отдавая короткие распоряжения. Дежурный был сам себе телефонисткой и привычно орудовал штепселями старинного телефонного коммутатора, на черной панели которого картинно рисовалась его буденовка.

Работа этого человека напоминала Белокриницкому что-то очень знакомое. Ну, конечно же, это здешний диспетчер. «Сколько?» — спрашивал по телефону человек в буденовке. Получив ответ, он быстро пробежал по столбцам ведомости, лежавшей перед ним на столе, переставляя штекеры в гнезда своего коммутатора и приказывая в трубку: «Четвертый, троих в шестьдесят седьмую!»

Кроме диспетчера, в пустой, довольно большой комнате на скамейке под стеной сидели еще два солдата. Не отрываясь от своей трубки, дежурный произнес, равнодушно взглянув на очередного арестанта:

— Ценные вещи и деньги клади на стол!

Рафаила Львовича снова невольно покорило непривычное тыканье, хотя на этот раз в нем не было и намека на оскорбительную подчеркнутость. Белокриницкий положил перед дежурным деньги, оставленные у него при домашнем обыске. Тот сделал короткий жест рукой. Один из конвоиров, парень с угрюмым и каким-то сонным выражением лица, взял арестованного за рукав, потянул к табуретке, стоявшей посреди комнаты, и буркнул: «Раздевайся!» Рафаил Львович снял пальто и кепку.

— Догола раздевайся! — сказал конвоир.

Белокриницкого неприятно поразило не столько само это приказание, сколько мгновенное понимание того, что для тюрьмы оно достаточно логично, чтобы быть необыкновенным. И все же, уже снимая с себя одежду и преодолевая почти физическое ощущение унижения и стыда, он еще надеялся, что конвоир скажет «довольно!» Но тот брал в руки очередной предмет, тщательно прощупывал его и перочинным ножом срезал все металлическое — брючные пуговицы, крючки и пряжки — с мясом, оставляя на одежде большие дыры.

Затем выдернул шнурки из ботинок, ремень из брюк, запонки из обшлагов и все это вместе с пристежным воротником сорочки и галстуком отбросил в угол как ненужный хлам.

— Одевайся, быстро!

Рафаил Львович начал торопливо натягивать на себя одежду, но она сползала и распадалась. Брюки надо было поддерживать руками, обшлага сорочки вывалились из рукавов пиджака и нелепо распластались, шея без воротника и галстука по-босаячки выглядывала из рубашки.

Дежурный пододвинул к краю стола выписанную им квитанцию на деньги. Белокриницкий подошел за бумажкой, шаркая ботинками без шнурков и поддерживая спадающие брюки. Чувство стыда и обиды было сейчас сильнее, чем даже тогда, когда он голый стоял посреди комнаты. Впрочем, и дежурный, и конвоиры относились к нему, по-видимому, с полнейшим равнодушием. Парень с физиономией невыспавшегося кретина заканчивал осмотр собранного Леной узла. Он перещупал белье, грязными руками раскрыл и уже не сложил бутерброды, разорвал и выбросил обертку из-под папирос, а от самих папирос оторвал мундштуки и тоже выбросил. Это вызывало недоумение. Белокриницкий не знал еще, что в здешней тюрьме одним из строжайше запрещенных предметов является даже крохотный клочок бумаги. Папиросы конвоир растер, а табак ссыпал кучкой рядом с положенными на белье бутербродами.

— Собирайся, быстро! — сказал второй, ожидавший конца всей этой процедуры.

Одной рукой — другой он поддерживал брюки — Рафаил Львович завернул вместе табак, белье и хлеб и, прижимая распадающийся ком к животу, в сопровождении конвоира поплелся к выходу.

— В двадцать вторую! — крикнул дежурный им вслед.

Через грязные стекла двух полуподвальных окон тюремной дежурки уже вырисовывались толстые прутья решеток. Тут окна не были заставлены щитами, и за ними брезжило хмурое утро ранней весны.

В назначении этого коридора никаких сомнений, даже у новичка-арестанта, возникнуть не могло. На массивных дверях были и тяжелые засовы с висячими амбарными замками, и глазки с отодвигающимися заслонками. В середине каждой двери было прорезано закрывающееся на задвижку оконце с полочкой перед ним. Выше, на жестяной таблице, чернел

крупный, четкий номер. В коридоре было грязно, полутемно, разило запахом уборной, прокисшей пищи и еще чего-то, напоминающего запах прелого белья.

Подошел человек в помятой форме и со связкой ключей в руках. Надзиратель — догадался арестованный. Человек с ключами открыл дверь под номером 22. В лицо Рафаилу Львовичу ударил теплый, густой, какой-то тухлый воздух, по сравнению с которым даже спертый воздух коридора казался свежим. Камера была маленькая, как чулан, не более четырех шагов в длину и двух с небольшим в ширину. Мебели никакой не было. На цементном полу, закрывая его сплошь своими телами, лежали полуголые люди. Они лежали так плотно, что тот, который занимал место у самого порога и был притиснут к двери камеры, оказался наполовину вытесненным в коридор, как только эта дверь открылась. Испуганно озираясь на надзирателя, заключенный силился снова убраться за свой порог, но не мог. Спрессованная масса тел на полу расширилась мгновенно, как сжатый пласт резины.

Рафаил Львович невольно отпрянул от входа в вонючий чулан, людские тела в котором напоминали сардины, уложенные в консервную банку. Он не раз уже сегодня поражался худшему там, где ожидал встретить очень плохое. Но то, что он увидел сейчас, превосходило самое худшее. Оно было ужасным почти до неправдоподобия. Арестованный растерянно оглянулся на своего сонного провожатого. Однако тот равнодушно подтолкнул его к месту за порогом камеры, где на маленький треугольник пола расползающейся массе тел не давала проникнуть чугунная бадья. Затем надзиратель нажал дверь на Рафаила Львовича и скорчившегося на полу переднего арестанта, как нажимают крышкой чемодана на переполнившее его белье. Буханье тяжелой двери слилось с лязгом ее засова. Не имея возможности из-за спадающих брюк балансировать руками, новый жилец камеры едва не упал на лежавших внизу людей.

— С допроса или подсадка? — спросил, не оборачиваясь, кто-то из тех, кто лежал спиной к двери.

— Подсадка, — ответил ему другой. — Теперь нашего полку уже двадцать один человек.

— Эх, мать их... Толстый небось?

– Да нет, вроде не очень.

– Садитесь на парашу, – сказал человек, лежавший к этой параше почти вплотную – до подъема не выстоите, да и мешать будете.

Рафаил Львович не понял, чему он может мешать. Однако стоять на ногах он действительно почти уже не мог. Мутило от жары и духоты. Преодолевая омерзение, Белокриницкий опустился на деревянную крышку бадьи.

Прислонясь спиной к двери с нескладным свертком на коленях, новый арестант сидел, тупо глядя на скопление туловищ, голов, рук и ног на полу камеры. Ни лиц, ни отдельных людей он не различал. Тусклая, запиленная лампочка под потолком скудно освещала обшарпанные стены бетонного мешка и квадратное зарешеченное оконце, за грязными стеклами которого рыжело железо. «То самое», – подсказывала слабющему сознанию не в меру услужливая память. Вскоре окно начало множиться, превращаясь в ряд ржавых прямоугольников на серой стене. Затем эти прямоугольники уже привычно превратились в паучьи глаза. Снова ячеистая паутина душила Рафаила Львовича, но теперь не только его одного. Она сжимала в бесформенный ком огромную массу людей, превращая их в скопление изуродованных тел. Тела нестерпимо дурно пахли, мешая не только видеть, но и понимать окружающее, вонь притупляла сознание, как будто под черепную коробку кто-то набивал все более толстый слой ваты. Сквозь нее некоторое время слышались только чьи-то грубые окрики, какие-то звонки, железный лязг, постепенно становившийся все слабее. Было что-то знакомое в этой прогрессирующей тупости, как-то связанной с острым, удушливым запахом. Ну, конечно! Что-то подобное Белокриницкий уже ощущал в детстве, лежа под маской с хлороформом, когда ему вправляли вывихнутый сустав. Только тогда кто-то рядом еще монотонно считал. Счет, помнится, оборвался где-то после восьмидесяти. Этот счет, однако, не главное. Главное – маска... Сквозь сгущающуюся мглу вспыхнула какая-то красочная точка. Последним усилием удалось разобрать, что это пятиконечная звезда на чьей-то буденовке.

Уронив голову на руки, нелепо удлиненные вывалившись из-под рукавов обшлагами сорочки, новый заключенный камеры № 22 спал. Кепка с его головы свалилась на человека, давшего ему совет присесть на парашу. Она была еще влажной от падения в ручей. Не обсохла на ней и довольно свежая еще местами грязь улицы. Человек на полу долго смотрел на эту грязь. Потом он поднес кепку к самому лицу, как подносят букет цветов. Возможно, что влага, пропитавшая ткань, и налипшая на ней грязь и в самом деле хранили еще запахи весны. Еще возможнее, что арестант только вообразил себе эти запахи. Но он долго держал кепку у своего лица, прежде чем, вздохнув, осторожно положить ее на колени спящему.

Проснулся Рафаил Львович от лязга дверного засова. Он спал вряд ли более получаса. Но первая реакция на пугающую обстановку камеры была уже преодолена. Возвращалась способность различать в деталях и осмысливать увиденное.

Дверь была открыта. За ней рядом с надзирателем стоял человек, не похожий на вновь арестованного. Судя по его лицу, чем-то похожему на посмертную маску, только не отлитую из гипса, а как бы выполненную из серо-зеленой глины, этот человек сидел в тюрьме уже не одну неделю. Переступить через порог камеры он сейчас не мог потому, что некуда было хотя бы поставить ногу. Место, на которое толкнул Белокриницкого надзиратель, заталкивая новичка в эту камеру, все еще было занято его ногами. Правда, теперь Рафаил Львович сидел на параше и мог выполнить приказ надзирателя подобрать ноги. Стало понятным и предупреждение старожилы — «Будете мешать!» Освободить площадку, стоя на ней, было невозможно. Вскоре Рафаил Львович узнал, что эту площадку здесь называют взлетной. Ожидавший в коридоре человек шагнул на нее, и операция спрессовывания людей повторилась.

— Кушнарев с допроса вернулся, — сказал кто-то, — значит, скоро подъем...

Опершись одной рукой о плечо сидящего на бадье Белокриницкого, другой рукой Кушнарев снимал ботинки. Чувствовалось, что этот человек смертельно устал и почти валится с ног от желания спать. Стараясь не наступать на лежащих, но все же наступая на них, он пробирался к своему месту,

над которым, конечно, тесно сомкнулись тела соседей. Они честно старались помочь Кушнареву вклиниться между ними, но тот, не дождавшись результата их усилий, уснул. Стоя на одном колене, с лицом, которое он уткнул в сложенные лодочкой и засунутые между телами людей на полу ладони, человек напоминал землеройку, замершую на грунте, оказавшемся для нее неодолимым.

— Почему вы не снимаете пальто? — спросил Белокриницкого все тот же его благожелатель.

В самом деле, почему? Рафаил Львович снял пальто и положил его к себе на колени. Стало не так жарко, а к удушью он уже притерпелся. Теперь можно было заняться наблюдениями.

Люди на полу лежали на боку и валетом. «Достигается наивысший возможный коэффициент укладки», — по привычке мыслить точными категориями догадался Белокриницкий.

— Поворот! — хрипло произнес кто-то тоном команды. Людская масса на полу зашевелилась, и все, кряхтя и переругиваясь, повернулись на другой бок.

Это тоже было понятно. Пролежать долго на одном боку, особенно если бетонный пол застлан каким-нибудь тоненьким пальто, невозможно. Но нельзя и поворачиваться вразнобой, нарушится наиболее выгодная укладка.

Замечались тут, однако, и явные непорядки. Один из спящих лежал все-таки на спине. Но не на полу, на котором для такого роскошного положения не нашлось бы места, а на телах своих товарищей. Голова этого человека была неестественно запрокинута назад и зажата между чьими-то туловищами, ноги широко раскинуты. Ступня одной из них покоилась на чьей-то голове. Придавленный этой ногой человек пытался сбросить ее с себя, однако безуспешно. Как окоченелая, нога снова возвращалась на прежнее место. Нарушителя порядка пытались разбудить, его пинали, даже щипали, однако спящий не просыпался. Вот когда Рафаил Львович начал по-настоящему постигать выражение «Спать мертвым сном».

Он с ужасом смотрел на людей, товарищем которых во всех их страданиях стал теперь на неопределенное время.

Изможденные, заросшие и грязные заключенные этой камеры напоминали сейчас трупы, сваленные на дно тесной братской могилы. Кто же они, эти люди? Неужели и в самом деле диверсанты, вредители и шпионы, и только он, Белокриницкий, единственный между ними, случайный ни в чем не повинный человек? И сколько же времени они находились здесь, в этой неслыханной тесноте, духоте и грязи, в самое существование которых Рафаил Львович не поверил бы еще несколько часов тому назад?

В коридоре длинно задрезжал звонок. И почти сразу же открылось оконце в двери.

— Подъем! — крикнул надзиратель, видимо, не уверенный в достаточности общего сигнала.

Невыспавшиеся, с затекшими конечностями, угрюмые люди медленно поднимались с пола. Не одеваясь, они скатывали свои вещи и садились на них. Одни низко, почти по-турецки, другие чуть повыше, поджав колени чуть ли не к самому подбородку и обхватив их руками. Никакие иные позы из-за недостатка места здесь не были возможны.

— Раздевайтесь и вы, складывайте вещи, — сказал Белокриницкому все тот же благожелательный сосед. — Ваше место, правда, у параши, — он сделал рукой жест сожаления, — закон тюрьмы...

Под стеной несколько человек возились с тем, кто так беспробудно спал на телах своих соседей. Не просыпался этот человек и теперь. От сильных встряхиваний за плечи он только чуть приоткрывал глаза и немного приподнимал голову. Но веки тут же смыкались опять, а голова снова падала на грудь. Его похлопывали по лицу смоченной в воде рубашкой, но вода была теплая и помогала мало.

— Что с ним? — спросил у соседа Рафаил Львович.

— Четверо суток на конвейере простоял, — непонятно ответил тот.

Кушнарев тоже уже сидел, но все время засыпал, наваливаясь на плечи сидящих рядом. «Надзиратель смотрит!» — испуганным шепотом предупредили его, толкая в бок. Он тоже испуганно, почти не мигая, уставился на застекленный глазок двери.

Среди многого, о чем передумал Белокриницкий, сидя ночью в своем шкафу, у него промелькнула мысль, что в предстоящем сидении в тюрьме есть и своя хорошая сторона. Вот уж когда он отоспится после беспокойной работы и вечно недосыпания из-за вызовов на аварии и ночных звонков! Оказалось, что и эта мысль находилась в той же цепи наивных представлений о тюремном заключении, вызванных чтением старой литературы. Нынешняя тюрьма, по-видимому, и отдаленно не была повторением тюрьмы дореволюционной. Пропагандистский шум о свирепости царизма сочетался с карательной практикой, по сравнению с которой эта свирепость показалась бы почти благодушием.

Лучшее место во всякой тюремной камере – у окна, худшее – у параша. По извечному тюремному закону тот, кто пришел в камеру последним, садится на худшее место и по мере смены ее населения продвигается к окну.

Уже несколько месяцев арестованных во внутренней тюрьме НКВД не водили в баню, не стригли и не брили. Вероятно, потому, что при всем размахе строительства резиденции нынешнего областного управления этого наркомата, первоначально задуманной как республиканской, она снова отстала от требований жизни. Небольшие душевые внутренней просто не могли справиться с санобработкой при нынешней перегрузке тюрьмы.

Поэтому чем дальше сидел заключенный от входа в камеру, тем длиннее у него была борода, лохматее волосы, а цвет нижней рубахи все больше приближался к грязно-бурому.

Время является основным фактором мучительства, когда мучают лишением свободы. Последствия этого мучительства пропорциональны времени, хотя и далеко не в прямой зависимости. Однако в переполненных тюремных камерах из-за близости к бадье с нечистотами хуже всех приходилось теперь новичкам.

В годы разрухи Рафаилу Львовичу часто случалось видеть беспризорных, ночующих в общественных уборных. Вспоминая об этом, он всегда содрогался от чувства острой жалости, смешанного с омерзением. Но сейчас он с радостью обменял бы свое теперешнее место у параша на угол

в привокзальной уборной. Там разило карболкой, но воздух был все же чище, чем здесь. К месту у желоба, которое облюбовывали беспризорные, никто из посетителей не подходил. И главное, ночлежники могли выйти из своей клоаки на свежий воздух когда хотели.

Заключенный же, сидящий у параши, прижат к зловонной бадье круглые сутки. Крышку этой бадьи снимают по надобности каждые несколько минут даже ночью. Его нередко задевают этой крышкой, на него, по неловкости, наступают. И хотя Белокриницкий сидел к параше спиной, чтобы хоть на несколько сантиметров быть подальше от источников острой вони, в первые дни у него часто мутилось в голове. По своей мерзостности место у бадьи для нечистот в переполненных тюремных камерах было сравнимо разве только с гноищем библейского Иова. Но через него неизбежно проходил каждый, попавший в эту тюрьму. Жизнь заключенных была мучительной и уродливо искаженной во всех своих проявлениях, но крайне напряженной и цепкой. Как бывает почти всегда, когда человеческий организм и человеческая психика подвергаются испытанию на выносливость и прочность, пределы этих качеств оказывались гораздо выше тех, которые можно было предполагать.

Тут начинали напряженно думать даже самые ленивые умственно. Многие научились сопоставлять политическую действительность с официальной пропагандой и скептически переосмысливать то, что привыкли прежде воспринимать почти бездумно. Такие всегда приходили к неожиданным для себя выводам и удивительным открытиям. Большинство даже правомерно настроенных излечивались здесь от гражданского инфантилизма и политической наивности.

На щеках Рафаила Львовича росла еще относительно короткая щетина, а его рубашка с проклятыми обшлагами стала еще только серой. Но и он постиг уже многое, о чем прежде вовсе не имел понятия. Он знал теперь, что означали заголовки передовиц и газетные шапки, по которым он прежде равнодушно скользил глазами. «В Советском Союзе тюрьма должна стать тюрьмой!» Вспомнил, что расстрелянному после одного из знаменитых судебных процессов бывшему наркому внутренних дел Генриху Ягоде вменялось в одну из его

тягчайших вин то, что этот нарком якобы превратил тюрьмы и трудовые лагеря в дома отдыха для врагов народа. И что сменивший Ягоду Ежов заверил вождя, что в кратчайший срок искоренит это контрреволюционное попустительство. Арестованные могли убедиться, что сталинский нарком не бросает слов на ветер и в палаческих нововведениях преуспел быстро и вполне. Целая серия этих нововведений дополняла то мучительное, что несла с собой уже одна только многократная перегрузка тюрем.

На окна камер, где содержались враги народа, были навешаны козырьки, которые так поразили Белокриницкого в ночь его ареста. Увидев эти железные ставни со двора, он ужаснулся тогда при мысли, что за ними почти не может быть дневного света. Но попав в камеру, Рафаил Львович убедился, что главное заключалось даже не в затемнении камер, а в ухудшении и без того плохой вентиляции переполненных тюремных помещений. Козырьки почти преградили доступ наружного воздуха к форточкам даже при ветре. Внутренняя же тюрьма была действительно внутренней, и все ее окна выходили в закрытый со всех сторон двор, в котором воздух оставался неподвижным, даже когда снаружи бушевала буря. Обмен воздуха еще происходил кое-как в холодную погоду, при теплой же он прекращался почти совершенно. Заключение прозвали гнусное изобретение энкавэдэшных тюремщиков «ежовским намордником».

Битком набитые камеры не было надобности обогревать, вероятно, и в 40-градусный мороз. Но батареи центрального отопления оставались горячими даже при наступлении теплых весенних дней. Двадцать вторая, как, наверно, и все другие камеры, ежедневно на поверках просила дежурного по тюрьме отключить отопление. Но тот только усмехался – пар костей не ломит.

В солнечные дни выявилось еще одно свойство намордника. Он сильно нагревался от прямых лучей и начинал помогать проклятой батарее.

Медицинской помощи заболевшим здесь не оказывалось почти никакой. Если заключенный расхварывался уж очень сильно, его показывали через кормушку – так называлось оконце в двери – дежурному надзирателю. И тот решал,

следует ли вызвать тюремного фельдшера или арестант просто придуривается, и такой необходимости нет. Здешний фельдшер был молодой парень, плотный краснорожий бурбон, из-под белого халата которого выглядывали треугольнички энкавэдэшника. Не заходя в камеру, тюремный эскулап через ту же кормушку ставил диагноз. И если находил, что человек болен, давал ему таблетку, которую тот должен был проглотить тут же в его и надзирателя присутствии.

Хлеб для заключенных выпекали из залежавшейся испорченной муки. Чтобы несколько заглушить слишком уж явный запах плесени, хлеб обильно сдабривали тмином. В первые дни ареста почти никто из заключенных не мог его есть. Но потом голод неизменно брал свое. Давали этого хлеба всего 400 граммов на день. Два кусочка сахара в дополнение к хлебной пайке, пол-литра пустого супа и две ложки каши из ячменной сечки мало что меняли. Через несколько дней появлялось чувство голода, становившееся затем все более острым и постоянным.

Но сильнее, чем голод, мучило постоянное недосыпание. На допросы арестованных вызывали почти исключительно ночью, обычно сразу же после отбоя, когда заканчивалось ежевечернее копошение со сложной укладкой на свою треть, а то и четверть квадратного метра пола, приходящуюся здесь на человека. Вот тогда в тюрьме и начиналось самое интенсивное движение. Открывалась кормушка, и коридорный надзиратель, глядя в бумажку, вполголоса произносил: «На «мы»!» — или на «у», на «ры», на «ка», на «лы»... Все, чьи фамилии начинались на эту букву, должны были их называть, пока не следовало приказание «Собирайся».

Делалось это для того, чтобы не произносить фамилий заключенных в коридоре. Могут-де услышать в соседних камерах. Тюрьмы, особенно следственные, всегда стараются свести к минимуму осведомленность заключенных о составе своего населения.

Не проснуться при таких вызовах могли разве что только вконец измученные допросами или те, чье дело было уже закончено. Остальные постоянно находились в состоянии нервного напряжения и встревоженно просыпались от щелканья кормушки. Но даже тем, кто был относительно спокоен, редко удавалось сохранить сон. Вызванный на допрос, понукаемый

надзирателем «не копайся», «пошевеливайся живой», обычно нервничал, торопился, путался в своей одежде, выдергивал ее из-под соседей. Идя к выходу, он наступал на лежащих, нередко даже падал на них. Дверь за вызванным арестантом надзиратель захлопывал с оглушительным треском, хотя днем этого обычно не делалось. В камере, и без того взбудораженной, это мало что могло изменить, но от грохота и лязга просыпались люди в камерах рядом, что, вероятно, и требовалось. Некоторое затишье наступало только часам к двум ночи. Но тут начиналось возвращение с допросов. Снова оглушительно грохала дверь, снова наступали на лежавших пробирающиеся к своему месту люди. Они воевали из-за этого места с соседями, раздевались, копошились, укладываясь. И снова возникала нервная тревога и почти общее возбуждение.

Теперь оно было связано, главным образом, с вопросом, в каком состоянии возвращаются допрашиваемые от своих следователей? Все ли доходят до своей камеры самостоятельно или некоторых конвоиры приводят под руки? А если человек и добрался до камеры сам, то прямо ли прошел к своему месту или сплюнул в парашу кровь? И только ли из разбитой губы у него эта кровь? Было установлено, что свирепость и напористость следователей не остаются постоянными. Они периодически меняются по чьей-то, видимо, общей указке. Избиения, заключения в карцеры, «стойки» и «конвейеры» то принимают массовый характер, то ослабевают. Меняется и характер средств воздействия. На первое место выходят то мордобой, то конвейер. И здесь, по-видимому, дело зависит не только от личных вкусов и характера следователей.

Все это очень важно для тех, чье дело еще не было закончено. Поэтому почти каждого вернувшегося с допроса кто-нибудь непременно спрашивал: «Ну как, что там?» Не спрашивали только явно избитых или валившихся с ног от пытки бессонницей.

В результате даже те, кто всю ночь оставался в своей камере, спали не больше половины из отведенных на сон восьми часов. Спать же днем было запрещено строжайше. Наблюдение за неукоснительным исполнением этого правила составляло едва ли не главную обязанность коридорных надзирателей в дневное время.

В валенках, обрезанных наподобие калош и надетых поверх сапог, они бесшумно подходят к дверям камер, так же бесшумно отводят в сторону тщательно смазанную заслонку застекленного волчка и каждые несколько минут заглядывают внутрь.

Всякому, кто после нескольких ночей, проведенных на допросе, засыпал сидя, надзиратель после двух-трех окриков мог приказать встать на ноги и не садиться без его разрешения. Помимо унижительности такого наказания, оно было еще и мучительным. В набитой до отказа камере даже переминаясь с ноги на ногу было почти невозможно. Многие после нескольких недель, а то и месяцев неподвижного сиденья, почти разучились стоять. У таких ноги почти сразу же затекали и начинали подгибаться. А не подчиниться надзирательскому приказу было нельзя: следовал вызов дежурного по тюрьме и жестокое наказание.

Прежде за нарушение правил внутреннего распорядка и препирательство с надзором сажали в обыкновенный карцер. Это маленькая камера в подвале, в которой вместо обычной койки с тюфяком и одеялом постелью служила ничем не застланная деревянная полка на шарнирах, которую на день примыкали к стене. Однако перспектива спать без постельных принадлежностей могла испугать только прежних арестантов ягодинских домов отдыха. У арестованных ежовского периода возможность шагать из угла в угол по площадке в целых четыре квадратных метра, блаженно раскинуться на просторных, пусть ничем не застеленных нарах, могла вызвать скорее вожделение. Такого вожделения не мог нейтрализовать даже голодный карцерный паек — 300 граммов хлеба и кружка холодной воды на день. Поэтому теперь к нарушителям применялись более действенные меры.

Чаще всего их заталкивали в «мешок». Это невысокая ниша в стене с глухой дверью и перекладной для сиденья, почти как в боксах, в которых ждут обыска и водворения в камеру только что привезенные с воли. Но в боксе, если устанешь сидеть на довольно широкой перекладине, можно и постоять. В мешке же стоять можно, разве что скрючившись в три погибели, настолько он низок и тесен. Сидеть же в нем приходится на круглой тонкой жерди. В этой жерди и заключается

главный смысл наказания мешком. Уснуть, сидя на ней, не могут даже те, кто провел в кабинете следователя несколько ночей кряду. Впрочем, больше двух-трех часов на этой жерди обычно не держат. Да и распоряжение о водворении в мешок производится обычно полуофициально, почти всегда только в устной форме.

Если же водворяют в карцер на несколько дней по приказу, подписанному начальником тюрьмы, то теперь обязательно в «мокрый», ранее применявшийся только в исключительных случаях. Это бетонный склеп, через стены и потолок которого откуда-то постоянно просачивается вода. Пол карцера она покрывает сплошь. Для спанья в залитом водой погребе служит несколько выступающая над уровнем пола также бетонная плита-кровать.

Для тех, кто буйствует, здесь есть смирительная рубашка и самозатягивающиеся наручники. «Рубашка» – это некое подобие комбинезона из парусины с невероятно длинными рукавами и штанинами. В отличие от применяемой в сумасшедших домах, здесь она употребляется не просто для связывания, а для пытки. Одетого в пыточный комбинезон человека кладут на живот, а штанины и рукава этого комбинезона стягивают у него на спине, сводя кисти рук со ступнями ног. В зависимости от способности человека выдержать противоестественное перегибание позвоночника и степени стягивания, подвергнутый такой пытке может потерять сознание и через несколько часов, и всего через несколько минут после ее начала.

Наручники-шелкуны – куда более остроумное изобретение. Стоит скованному ими человеку сделать движение онемевшими руками, пытаясь увеличить расстояние между «браслетами», как цепочка, проходящая через храповой механизм, укорачивается. И тем больше, чем более сильным было это движение. Если же от боли человек совсем потеряет власть над собой и начнет рваться, то хитрый механизм стягивает ему руки с силой, способной их сломать. С гнилым либерализмом доезовских времен в тюрьмах НКВД, видимо, было покончено.

Самое же главное, о чем узнал здесь Рафаил Львович, касалось характера и способов ведения следствия по делам о контрреволюции.

В обычном понимании этого слова никакого следствия теперь, собственно, нет. Вопрос – виновен или невиновен арестованный органами НКВД человек – даже и не ставится. Целью допросов является не выяснение истины, а только получение от обвиняемого полного признания навязанной ему вины.

Если допрашиваемый проявляет злостное нежелание разоружиться перед органами, то к нему могут быть применены различные меры воздействия: избиение до потери сознания, поломка ребер, выбивание зубов, отбивание почек и легких – это уже настоящие меры, как и мокрый карцер, многодневное держание под стенкой на «стойке» и, особенно, знаменитый «конвейер» – пытка полным лишением сна. Обычное недосыпание многократно усиливается при еженощных вызовах к следователю. Некоторых держат в следовательском кабинете, как, например, Кушнарева, почти до самого утра. И все же находятся упрямцы, которые и при таком способе допроса продолжают оказывать сопротивление следствию недопустимо долго. Им помогают те минуты забытья, в которые арестованные впадают десятки раз на протяжении дня и уследить за которыми не удастся даже самым бдительным надзирателям. Тогда – это применяется, правда, в особых случаях – можно несколько суток совсем не отпускать допрашиваемого в камеру. Кроме основного следователя, к такому упрямцу приставляются еще два-три помощника, обычно из числа молодых стажеров. Называются следовательские помощники странным словом – беседчики. Сменяя друг друга, беседчики не дают человеку забыться даже на минуту. Его тормозат, хлопают по щекам, прыскают в лицо водой. Некоторые особенно ретивые следователи применяют даже короткое, не длиннее полусантиметра, шило, которым они покалывают время от времени изнемогающего от бессонницы человека. И за блаженство сна предлагают дать показания. Разумеется, такие, которые нужны следователю.

Случаи, когда человек выдерживал пытку конвейером, неизвестны. На конвейере сдавались даже самые несговорчивые. Арестованный Панасюк на пятые сутки конвейера подписал признание в преступлении, влекущем, по его собственному убеждению, неминуемый расстрел.

Вторая стадия следствия была самой мучительной, так как теперь дело шло не только о клевете на себя, но и еще о клевете на других, подчас близких и дорогих людей. «Вербовать» — означало называть на допросах фамилии людей, якобы причастных к контрреволюционной деятельности. Отсюда возникли слова «вербовщик» и даже «обервербовщик». Приставка «обер» означала, конечно, что человек помогает следствию с особым усердием, называя имена ни в чем не повинных людей целыми десятками, а в некоторых случаях даже сотнями. И все же обервербовщиков было не так уж мало.

Рафаил Львович смотрел, как совершает свой ежедневный обход старенький доктор Хачатуров, шуточно именуемый себя камерным врачом. Вот он выслушивает молодого парня, прикладывая ухо к его груди и спине. Этот парень, судя по его форменной куртке, бывший железнодорожник. Он часто подходит к параше и, не то кашляя, не то икая, сплевывает в нее розовую слюну. От вида страшных, йодного цвета кровоподтеков с фиолетовыми разводами, почти сплошь заливавших бока, спину и грудь избитого, бросало в озноб, несмотря на жару в камере.

Вздыхнув и покачав седой головой, доктор от железнодорожника пробрался в передний угол к пожилому хмурому человеку. Это был Михайлов, старый революционер эсеровского толка, сидевший в этой камере дольше всех. Несмотря на применение к нему весьма энергичных мер, бывший эсер все еще не подписал признания, что он является организатором большой террористической группы. Зажав ладонями уши, как будто не желая слышать, Михайлов медленно раскачивался из стороны в сторону. На днях от удара кулаком по уху у него лопнула барабанная перепонка. Теперь он испытывал постоянную тупую боль в ухе и тягостное ощущение глухого шума. Эсер был умен, желчен и очень упрям. Недавно ведение его дела передали очередному следователю, который грозил применить к неразоружившемуся врагу грозный конвейер.

Михайлов поднял на доктора злые, колючие глаза и, не отводя ладони от ушей, что-то сказал ему. Белокриницкий не расслышал, что именно, но, очевидно, что-то злое, насмешливое и, вероятно, несправедливо обидное, так как старик закусил губу и прекратил свой обход.

Рафаил Львович находился в этой камере уже третий день. Он смотрел, слушал, думал и внутренне съеживался от тоскливого страха и чувства безнадежности, охватывавших его все сильнее.

Обращаться сокамерникам друг к другу разрешалось только при необходимости и только шепотом. Однако при нынешней перенаселенности камер уследить за нарушением еще и этого правила надзирателям было трудно, и разговоры вполголоса велись. Шли они обычно по утрам, когда после ночной прохлады дышать в камере было еще можно, а от целодневного сиденья в почти неизменяемом положении еще не начинали ныть окоченевшие члены.

Старый большевик, матрос с «Потемкина» Коженко, отбывший при царе десять лет нерчинской каторги и парализованный от осколочного ранения в позвоночник при взятии Перекопа, рассказывал о своей очередной встрече со следователем в минувшую ночь. Шили старому потемкинцу, крайне глупо и нескладно даже по нынешним понятиям, принадлежность к националистической повстанческой организации. Эта организация была выдумана НКВД, как и все другие. Но обычно она укомплектовывалась арестованными из крестьян и преподавателей украинской нетехнической интеллигенции. Коженко же был потомственным рабочим. Он говорил медленно и с трудом, все время потирая нижнюю челюсть. Речь у бывшего матроса отнималась уже не раз, результаты старого ранения непрерывно прогрессировали.

— Ты, говорят, там — на каторге, значит, — провокатором был... Знает, говнюк, что обиднее этого слова для старого подпольщика нет. Подучивают их, видно... а сам — щенок, жиденок... Твой батька, говорю, еще на горшке сидел, когда мы флаг первой революции на царских кораблях поднимали.

— Ну, а он что?

— Верещит свое «прр-р-ровокатор!» и с кулаками подскакивает...

— Ударил?

— Нет...

Коженко сидел не как все, на пяточке, а прислонившись к стене и вытянув ноги. Это была его горькая привилегия.

Парализованная нога и негибачущийся позвоночник исключали для калеки всякое другое положение.

Рядом с ним сидел другой старый большевик Лаврентьев, до ареста директор довольно крупного завода. Стараясь говорить как можно тише, Лаврентьев излагал свою, крайне смелую, теорию происходящих событий. Он объяснял их тем, что ежовское НКВД, во всяком случае его верхушка, — это изменники, агенты гестапо. Они задумали разрушить советское государство изнутри, истребляя его ведущие кадры. В Красной Армии уничтожаются все опытные и талантливые командиры от батальонного и до маршала; в промышленности — руководители от наркома и до сменного мастера; в науке — от академика до подающего надежды молодого аспиранта. В партии руководящий состав истреблен на уровне ЦК и областных комитетов почти полностью. Мало кто уцелел и из руководителей районного масштаба. Не гнушаются ежовцы и рядовыми членами партии, если те политически активны и пользуются авторитетом среди окружающих. А уж старых большевиков, участников дореволюционного подполья и гражданской войны, почитай, и вовсе не осталось...

— Разве я неправду говорю, товарищ Коженко? — Тот с горестным согласием кивал своей крупной седой головой.

Однако Лаврентьев еще не потерял веры в Сталина и в неизбежное торжество правды. Ежовцам удалось оклеветать партию и почти весь наш народ перед Сталиным. Но это их временная удача, клеветники неизбежно и скоро будут разоблачены. И тогда Ежов и все его прихвостни будут расстреляны, а те, кто к тому времени сумеет выжить (заморить и расстрелять всех не под силу даже ежовцам), — будут освобождены и оправданы. Поэтому — надо держаться!

— Так выбивают же показания, — неуверенно попытался возразить кто-то. — Будешь упираться — на конвейер поставят...

— На конвейер... выбивают... — болезненно сморщился, прикрывая ладонью больное ухо, Михайлов. — Если бы им на каждого арестованного приходилось затрачивать столько усилий и времени, сколько, например, на него или на этого вот хлопца-железнодорожника, то ни черта бы у них не вышло. Но они знают, с кем имеют дело. Почти все колются, вербуют,

и лавина арестов катится, как снежный ком. Вызвал эту лавину, наверно, сам Сталин, но нет уверенности, что даже сам он сумеет ее остановить. Всех своих опытных комиссаров большевистский диктатор почти поголовно вырезал и сейчас должен работать с заменившими их подхалимами и дураками. Тот, кто постоянно всех обманывает, сам неизбежно впадает в маниакальное недоверие ко всем. Торжествующая ложь, посеянная большевиками, будет, в конечном счете, причиной гибели их режима. Туда ему, конечно, и дорога, да жаль, что вместе со сталинско-ежовскими приспешниками погибнет и Россия...

Боль в ухе заставляла Михайлова произносить слова медленно и с расстановкой, от чего они делались еще выразительней.

Был в камере еще один теоретик, старый путевой обходчик. Он считал, что массовые аресты – всего лишь способ получить бесплатную рабочую силу для рытья каналов и прокладки железных дорог через таежные дебри. Сам этот обходчик без особого сопротивления – все равно ведь заставят! – признался на следствии, что состоял в железнодорожной диверсантской организации и по ее заданию пускал под откос поезда, смазывая рельсы на закруглениях путей салом.

Голова Рафаила Львовича раскалывалась от мучительных размышлений. Какой, например, землекоп может выйти из инженера Белокриницкого? Самые тяжелые физические работы в его жизни были связаны с применением разве что отвертки и плоскогубцев. В качестве изобретателя и проектировщика Белокриницкому случалось содействовать дополнительному выходу энергии на многие тысячи киловатт. В качестве же чернорабочего на строительстве какого-нибудь канала он вряд ли сможет увеличить энерговооруженность советского государства более чем на двадцатую долю лошадиной силы.

Благодушный сосед, дававший советы Рафаилу Львовичу в первые часы его пребывания в камере, продолжал оставаться его советчиком и теперь. Сближению Белокриницкого с Савиным немало способствовало и то, что они оказались

почти коллегами. Петр Михайлович был специалистом по конструированию электрических машин. Каждый из них знал о другом и раньше, хотя они и не были знакомы.

Дело бывшего конструктора близилось к концу. На нескольких не слишком продолжительных допросах он признал себя виновным в принадлежности к вредительской организации, хотя ни избиениям, ни другим средствам понуждения не подвергался. О результатах следствия Петр Михайлович говорил даже с оттенком гордости, как дипломат, выговоривший при сдаче врагу сносные условия капитуляции. Он сумел отвести от себя не только конвейер, но даже обычный мордобой и при этом никого не завербовать.

Дело в том, что готовность признать себя членом контрреволюционного заговора еще не спасает от крика и пощечин. Надо угадать именно ту организацию, в которую тебя включили согласно чьей-то вербовке.

— Как же это возможно, — спросил внимательно слушающий Рафаил Львович, — если даже представления не имеешь ни о каких организациях?

— А это как раз не так уж трудно. Все тайные организации, выдуманные НКВД, имеют не собственные имена или кодированные названия, а только весьма общие наименования, связанные с их назначением и характером: вредительская, националистическая, повстанческая, троцкистско-бухаринская и т. п. Если ты технический специалист, значит, непременно вредитель. Вон тому старику с запорожскими усами и в вышитой рубашке непременно приклеят украинскую повстанческую, а китайцу, продававшему на улице «уди-уди», будут шить шпионаж в пользу Японии.

— Чтобы следствие проходило, по возможности, безболезненно, — внушал наставник, — весьма важно также правильно назвать своего вербовщика, то есть человека, по навету которого вас посадили. Никогда не следует надеяться, что следователь подскажет вам его фамилию.

— Но угадать, кто тебя назвал, совсем уж невозможно! Вербовщиком может оказаться каждый, кто арестован ранее тебя и кто тебя хоть сколько-нибудь знает...

— Не совсем так. Тут тоже есть система... Ошибки возможны, но случаются не так уж часто, — Савин продолжал

свои объяснения. — Вербуют обычно из сослуживцев и почти всегда по нисходящей. От старшего в чине или должности к младшему. Иногда на собственном уровне, но почти никогда старших. Почему так? Так, видимо, решило НКВД. И притом для нашего с вами удобства... Исключения составляют только случаи совершенно уж массовой вербовки. Всех верующих поляков в нашем городе завербовал ксендз местного костела. Но это несколько особый случай. Мы же с вами участвуем в комедии, которая разыгрывается по самым жестким законам своего жанра...

— А вы могли бы сказать, кто, например, завербовал меня?

— И даже очень просто. Кто из старших вас по должности был арестован ранее вас? Управляющий. А когда?

— Недели за три до моего ареста.

— А после него кого еще арестовали в вашем объединении?

— Двух директоров ГЭС за несколько дней до меня.

— Можете не сомневаться, вас и этих директоров посадил управляющий. Вот вам и готовый ответ на вопрос: «Кто тебя завербовал?»

Неужели такой принципиальный и честный человек, как Миронов, мог стать вербовщиком? И оклеветал даже своего главного инженера, которого всегда так ценил и постоянно защищал от нападок бдительных, не считаясь с возможными последствиями для себя! Не хотелось этому верить.

Петр Михайлович сочувственно пожал плечами:

— Так поступают теперь почти все, попавшие в НКВД, даже лучшие из лучших. Признаться во вредительстве вас все равно заставят, а на вопрос: «Через кого вы в него включились?» следует ответить, что через Миронова. И все будет тихо и мирно...

— Но ведь за двумя первыми вопросами последует и третий. Спросят, кого я завербовал?

— Непременно. Вот тут-то и надо проявить максимум сообразительности и твердости характера. Я вот никого, кроме самого себя, не оговорил...

— Вы что, выдержали конвейер? — чуть насмешливо спросил Белокриницкий.

– Причем тут конвейер? Когда меня спросили, кого же я в свою очередь совратил на путь вредительства, я ответил, что никого. Все мне кажется, что кругом одни только трепачи да стукачи...

– Так сразу этому и поверили?

– Нет, не сразу. Без крика и матерщины не обошлось. Но скоро отстали.

– Но ведь некоторых всеми средствами заставляют вербовать. Панасюка, например...

– Так то некоторых... Если НКВД только еще начинает сколачивать очередную организацию или ему нужен в качестве «центровика» именно данный человек, то, конечно, отделаться от вербовки практически невозможно. Но такое положение бывает не так уж часто. Большинству арестованных обязательный вопрос о вербовке задается больше для формы. Конечно, если на него последует утвердительный ответ, то от услуг полудобровольного вербовщика не откажутся. Вот тут-то и надо соображать: очень ли ты нужен сейчас следствию, и в каком качестве?

Петр Михайлович работал в КБ, который замели почти в полном составе через полмесяца после ареста его руководителя. Не было ничего проще, как угадать и род своей контрреволюционной деятельности, и своего вербовщика. Не трудно было также понять, что второй вербовщик для разгромленного КБ уже не нужен. Савин в этом выводе оказался прав. Следователь только поорал на него с полчаса для приличия и отстал. Отстанут и от Рафаила Львовича. Ведь по сравнению с главным вербовщиком Мироновым он не более чем плохой дублер. Но надо помнить, что помимо сознания своей низости – это внутреннее дело каждого – вербовщики, даже мелкие, больше всех других рискуют быть расстрелянными. Ведь с их исчезновением рвутся нити, по которым когда-нибудь можно будет распутать грязные дела нынешнего НКВД.

Выдуманых же преступлений надо накручивать себе не более чем на десятку – полтора срока. Иначе можно дать повод если не для расстрела, то для угона в какой-нибудь особый лагерь или для спецуказаний по поводу твоей персоны. Петр Михайлович откуда-то о таких вещах знал.

Он соглашался с Лаврентьевым в том отношении, что верховное правительство рано или поздно займется деятельностью нынешнего НКВД и что до этого времени надо уцелеть. Но предположение, что энкавэдэшные прохвосты – агентура гестапо, считал чепухой. Нарком Ежов просто фанатичный дурак, собравший в свой комиссариат кретинистых подвинков и законченных бандитов-садистов. Вот они и ломают дрова до поры, одни усердствуя не по разуму, другие – удовлетворяя свое человеконенавистническое нутро...

Это ж надо, действительно, чтобы какой-то недоносок поставил на дыбы всю страну! При мысли об этом Ежове у Петра Михайловича пропадало все его благодушие.

– Вы заметили, – говорил он Рафаилу Львовичу, – что нарком никогда не появляется на фотографиях вместе с другими людьми? Это чтобы не увидели, какого он маленького роста! А рожа у славного наследника Феликса Дзержинского даже на подретушированных портретах, как у скопца... Уродец проклятый, евнуховидный карлик! – Этот медицинский термин Петр Михайлович когда-то вычитал и теперь он ему казался очень подходящим как позорная кличка для ненавистного верховного палача. А свои наставления Рафаилу Львовичу Савин заключил рекомендацией серьезно над ними подумать.

И Рафаил Львович думал. До головной боли, до отупения. Однако придти к определенному решению никак не мог. Соглашательская логика рассуждений и выводов Петра Михайловича наталкивалась на неодолимый внутренний протест. И не только моральный, но и логический.

Было ясно: нынешние следователи НКВД, как, вероятно, и судьи, и прокуроры, ведущие дела о государственных преступлениях, всего лишь актеры, ломающие по кем-то разработанному сценарию мрачную палаческую комедию. Назначение комедии не известно и самим актерам, но отступать от ее сценария, не рискуя собственной головой, они не могут. Поэтому, по мысли таких как Петр Михайлович, и подневольным актерам этого грязного фарса тоже надо вступать в игру с заранее продуманной и заученной ролью. Это диктуется-де принципом наименьших издержек.

Наименьших ли? Ведь ты сам заботишься о логичности и правдоподобию собственных лжепризнаний. И все это для того, чтобы как можно скорее и безболезненнее закруглить дутое дело осуждением и ссылкой в каторжные лагеря.

Ну, а как же быть потом, в случае, если сбудутся предсказания оптимистов и все начнет раскручиваться назад? Как доказать тогда, что все твоё дело — сплошная липа, а сам ты никакой не вредитель, а просто трус, оговоривший себя под угрозой следовательской пощечины? Ведь разобраться в подобном деле будет невероятно трудно даже при самом доброжелательном отношении к осужденному. Не будут ли тогда сегодняшние сторонники благоразумного поведения на следствии завидовать тем немногим, кто проявляет сейчас туповатую героическую принципиальность? Таких, впрочем, очень немного. И вряд ли кто-нибудь из этих стойких людей доживет до лучших времен.

За неделю до появления Белокриницкого в камере в ней скончался после зверских побоев в следовательском кабинете пожилой учитель по фамилии Бабич. Правда, доктор Хачатуров, присутствовавший при умирающем, констатировал смерть от разрыва сердца. Но он же обнаружил у избитого два сломанных ребра, да и всем было видно, что старого больного человека били. Имя Бабича в двадцать второй стало как бы символом безнадежности сопротивления следовательским домогательствам.

Плохи были дела у молодого железнодорожника. Он кашлял все сильнее и мучительнее и все чаще сплевывал кровь.

Большинство из тех, кто уже все подписал, уговаривали еще не сдавшихся поступить так же. Причиной таких уговоров было не только желание дать добрый совет, но и потребность, часто подсознательная, устранить живой укор, предмет мучительной, хотя и скрытой, зависти. Это чувство странным образом возникло почти у всех расколовшихся.

Для многих, кто изнывал в переполненных камерах внутренней, трудовые лагеря представлялись теперь чем-то вроде обетованной земли. Жизнь в бараке заключенным казалась блаженством. Там можно, наверно, лежать на спине, свободно поворачиваться на любой бок, когда хочешь — пройтись

между нарами... а возможность находиться ежедневно на свежем воздухе, дышать им! Вернее, пить его, этот воздух! Иным казалось, что если им когда-нибудь будет представлено право просто дышать полной грудью, то оно навсегда останется для них постоянным источником наслаждения и радости жизни. А возможность видеть небо, солнце? Ведь они есть даже за Полярным кругом. А зелень? Пусть даже это будет зелень болота или тундрового мха!

Следователи поддерживали в арестованных наивную идеализацию лагерей. Настойчиво напоминали, что честным трудом в ИТЛ можно загладить любое преступление. Особенно велика такая возможность у технических специалистов. Кто не знает о профессоре Рамзине и его Промпартии?¹ Все бывшие участники этой вредительской организации занимают сейчас ответственные технические посты. Это потому, что бывшие вредители осознали свои преступления и выразили готовность искупить их самоотверженной работой. Все видели в газетах, совсем уж недавно, длинные ряды фотографий тех бывших заключенных со строительства канала Москва – Волга, которые были не только освобождены досрочно, но и награждены орденами за доблестный труд.

Во всех кинотеатрах шла картина «Заключенные», сценарий которой был сделан по пьесе «Аристократы», почти обязательной к постановке в театрах. Всякий мог убедиться, что жизнь в далеких ИТЛ сурова, но отнюдь не безнадежна для тех, кто любит труд и хочет отдать его на благо Родины.

Намекали следователи и на то, что НКВД не забывает услуг.

Жизненные перспективы вступивших на путь помощи следственным органам почти радужны. Но горе тем, кто упорствует. Таким пощады не будет!

Пока же – клоака камеры. Сидите, нам не жалко фунта тухлого хлеба и доли квадратного метра цементного пола!

¹ Промпартия – «промышленная партия», якобы созданная группой инженеров и техников в целях саботирования советской промышленности. Открытый процесс промпартии проходил в Москве в 1930. Глава промпартии, специалист по термодинамике Рамзин был приговорен к расстрелу, заменённому 10 годами тюремного заключения. В 1934 он возглавил одну из первых «шарашек», в 1936 освобожден по амнистии, в 1943 ему была присуждена Сталинская премия. С 1944 – заведующий кафедрой котлостроения в МЭИ. Умер в 1948.

Но потом неизбежно будут применены и более жесткие меры. И все равно, после отбитых легких, мокрого карцера или конвейера подпишешь признание — тут следователи всегда переходили на «ты» — и будешь отправлен в те же лагеря. Только уже на максимальный срок и со спецуказаниями, без надежды когда-нибудь выйти на волю. Еще позавидуешь тем, для кого НКВД не пожалело семи копеек, стоимость пули! Давали понять, что отсюда существуют три дороги — в засыпанную хлоркой могилу, трудовой лагерь и тюремный сумасшедший дом. Четвертого не дано! Надежду вернуться из советской политической тюрьмы домой следует выбросить из головы как совершенно химерическую, НКВД НЕ ОШИБАЕТСЯ!

Отсюда вытекало, что главная задача арестованных заключается сейчас в том, чтобы пережить период ежовского следствия с его физическими и нравственными мучениями. А для этого можно пойти и на вынужденное соглашательство с этим следствием, и даже на компромисс с собственной совестью, как предполагалось, тоже временный.

Некоторые не хотели признавать никаких компромиссов, предпочитая, по выражению Михайлова, стоять насмерть. Но для таких, как этот Михайлов, сопротивление домогательствам холопов сталинского холуя, как он называл нынешних следователей НКВД, было делом сектантского принципа, почти самоцелью. В героизме подобных людей присутствует также и элемент азарта игры в «кто кого». Хвастливой самоуверенности своих палачей Михайлов противопоставлял закалку и упрямство политического сектанта.

В мужественном упорстве молодого железнодорожника не было ни азарта, ни сектантства, он вел себя просто, как и подобает твердому и внутренне честному человеку. Но и железнодорожник, и бывший эсер понимали также, что их признание повлечет за собой смертный приговор. Из Михайлова хотели сделать одного из главных центровиков в организации правых эсеров, а от бывшего стрелочника требовали, чтобы он признал свою ошибку при переводе стрелки, действительно, едва не приведшую к крупной катастрофе.

Иной была история добрейшего доктора Хачатурова. Эта история считалась поначалу почти юмористической. Мягкотелый интеллигент старой школы чуть не насмерть

перепугался, когда на него на первом же допросе налетел следователь.

— Ты дашнак!¹ — орал, обильно пересыпая свою речь матерщиной и размахивая кулаками перед носом Армена Григорьевича, молодой парень с энкавэдэшными мечами на рукаве. — Нам все известно!

Хачатуров о дашнаках слышал, но и только. В Армении он прожил всего несколько первых лет своей жизни. Затем бывал в родных местах только в отпуске, и даже армянский язык почти забыл.

Такое же смутное представление о дашнаках имел и его следователь. Но тому было поручено раскрыть в городе контрреволюционную организацию местных армян. Представители этой национальности в неармянских городах кем-то и почему-то были обречены почти поголовно на ссылку в лагеря.

Выдуманные контрреволюционные организации национальных групп должны были иметь соответствующий национальный оттенок хотя бы в названии. Отсюда и возник Дашнакцутюн. Местный филиал этой организации должен был иметь, разумеется, и обязательный тайный центр, состоящий из авторитетных армян. В состав такого центра намечен был и доктор Хачатуров. Он был организатором местной армянской поликлиники, ее многолетним главным врачом и пользовался среди армянского населения города известностью и уважением.

Оглушенный бранью и угрозами, Армен Григорьевич сразу же согласился подписать все, что от него потребуют. Даже то, что он является одним из главных руководителей городской организации Дашнакцутюн. Но что касается истории возникновения этой организации, ее политической программы, связей и прочего, то на эти вопросы он ответить никак не может. Просто потому, что не имеет ни малейшего представления о современных дашнаках. В прошлом, насколько ему известно, они действовали против турок на территории турецкой Армении. Затем вроде бы сопротивлялись установлению в русской Армении советской власти. Но потом, ей-же-ей, он о них ничего даже не слышал. Вот если бы следователь дал ему

¹ Дашнаки — члены армянской националистической партии «Дашнакцутюн» («Союз»), основанной в 1890 в Тифлисе.

понять, хотя бы намеками, что следует показывать по этому вопросу, он бы охотно...

В ответ следователь грохал кулаком по столу. Только политические проститутки вроде Хачатурова, меряя на собственный, подлый аршин, могут заподозрить советское следствие в способности подсунуть допрашиваемому готовые показания. Ни о каких шпаргалках не может быть и речи! И пусть разоблаченный член дашнакского центра не увиливает от настоящих показаний. Не далее как завтра он должен представить следствию, и притом в письменной форме, политическую программу современных дашнаков и главные практические намерения их местной организации! Кстати, это необходимо и для его, Хачатурова, собственной пользы. Чистосердечное признание смягчит его участь.

Следователь дал Армену Григорьевичу три листа чистой бумаги и карандаш. Отправляя своего подследственного в камеру, он предупредил, что завтра вечером вызовет его снова. Если к этому времени дашнакская программа написана не будет, то молодцы из корпусной дежурки сыграют с доктором в футбол. Участвовать в этой игре он будет, конечно, в качестве мяча.

Доктор был в отчаянии и почти не спал в эту ночь. Наутро заявил в камере, что если кто-нибудь в его беде ему не поможет, то он пропал. Но свет оказался не без добрых людей. С Арменом Григорьевичем сидел журналист, бывший редактор главной городской газеты. Редактор когда-то довольно долго жил на Кавказе и о движении армянских националистов кое-что знал. Главное же — газетчик в совершенстве владел политической фразеологией. За дневную пайку хлеба он сочинил для доктора превосходную программу Дашнакцутюн с изложением ее политической платформы, целей и средств. Тут была и «ориентация на многочисленные антисоветские элементы среди армянского населения», и установление политических связей с Турцией, и пропаганда буржуазного национализма. Все это было нужно, конечно, для того, чтобы отторгнуть Армению от Советского Союза и создать под протекторатом Турции марионеточное государство с профашистским образом правления. Основным способом борьбы за достижение этих целей, говорилось в программе, Дашнакцутюн и ее

местный филиал сохраняют традиционный террор. Однако теперь острие террористической деятельности должно быть направлено против руководителей большевистской партии и советского правительства. Кроме традиционных средств политической борьбы, говорилось далее, в сложившейся обстановке армянские националисты не должны гнушаться при случае и шпионажем в пользу иностранных государств, прежде всего, конечно, все той же полюбившейся им Турции. Составитель шутовской программы не мог не знать, что давно исчезнувшая Дашнакцутюн была антитурецкой организацией. Но он был уверен, что, поскольку шпионаж в пользу Турции пришивается сейчас всем довольно многочисленным в Союзе туркам, полуграмотное и неразборчивое следствие будет весьма довольно, если местные дашнаки примут на себя шпионаж в пользу Турции, несмотря на многие тысячи верст, отделяющие их от всех границ.

И он не ошибся. Программа имела у следователя такой успех, что тот сразу же сменил гнев на милость и даже стал обращаться к Хачатурову на «вы» и по имени-отчеству, разрешил ему свидание с женой и передачу от нее. Для внутренней тюрьмы это было весьма редким случаем. Армен Григорьевич щедро делился домашней снедью чуть ли не со всей камерой. Добрую половину ее он отдал дотошному редактору. Наевшийся после трех недель голодания, обласканный следователем, повидавшийся со своей старушкой, хотя и через решетку, доктор думал, что все теперь пойдет хорошо и черт, действительно, не так страшен, как его малюют.

Но вскоре тот же следователь предложил Хачатурову дать ему полный список местной организации Дашнакцутюн.

Только тут недалекий и благодушный старик понял, перед чем он стоит. Он даже попытался отказаться от своих прежних показаний, заявил было, что все им тут написанное — чистейший вздор. Но лицо следователя было таким страшным, когда он, вылезая из-за своего стола, рявкнул: «Ты что, шутки шутить с нами вздумал, политическая б...?» — что Армен Григорьевич тут же начал писать длинный ряд фамилий на лежавшем перед ним листе бумаги. Это были, главным образом, армяне-медики, коллеги Хачатурова по поликлинике.

Благоразумных и догадливых среди них оказалось не так уж много. Большинство оказывало следствию неумное, бесполезное сопротивление. Таких надо было еще дополнительно урезонивать при помощи избиений и очных ставок с Хачатуровым. Его таскали на эти ставки чуть не каждый день. Производились они почти исключительно в дневное время, длились всего по нескольку минут, но представляли для старого доктора нестерпимую моральную пытку. Армен Григорьевич почти перестал есть, утратил свою былую словоохотливость и благодушие и целыми днями сидел угрюмый и молчаливый. По ночам он часто бредил и всхлипывал во сне. Особенно сильно страдал Хачатуров когда приходилось «уличать во лжи» совсем уж близких и знакомых людей. Некоторое время он пытался не включать в свой список брата жены, тоже врача и близкого друга Армена Григорьевича. Но этот пробел был вскоре замечен следователем. Уличенный в недобросовестности вербовщик взбунтовался было и даже устроил в следовательском кабинете что-то вроде небольшой истерики. Однако после густой матерной брани по адресу политических проституток и пары несильных пощечин шурин Хачатурова был включен в дашнакский список.

Очной ставки с этим человеком Армен Григорьевич ждал, как казни. Возвратившись после нее в камеру, он пробирался к своему месту, ощупывая впереди себя воздух, как слепой. А когда он сел, глядя остекленевшими глазами куда-то сквозь противоположную стену, все увидели, что в отросшей уже в тюрьме седой бороде старика алеет кровь. Рядом дрожали крупные слезины. Тогда его ни о чем не спросили, но потом узнали. На очной шурина Армена Григорьевича вдруг вскочил со своего стула, крикнул «Иуда!» и сильно ударил Хачатурова по лицу. Шурина отправили в карцер. Однако доктор завидовал теперь не только ему, но даже евангельскому Иуде, у которого, по крайней мере, нашлась внутренняя сила и были средства, чтобы избавиться от терзавших его нравственных мучений. У Армена Григорьевича не было ни того, ни другого.

Шли дни, и с каждым из них возрастала вероятность вызова на допрос. А Рафаил Львович по-прежнему не мог

придумать ничего, что можно было бы противопоставить той сокрушающей лжи, которая вот-вот должна была на него обрушиться. Изнемогающая мысль все больше уподоблялась мягкому резцу, неспособному проникнуть под поверхность неодолимо твердого материала. После безрезультатных усилий она снова и снова возвращалась в исходную точку, становясь при этом все тупее.

Однажды Белокриницкий, уставший от бесплодных попыток найти решение проклятой задачи, безразлично слушал беседу соседей. Пожилой ветеринарный фельдшер рассказывал:

— Прочитал он эти мои показания и спрашивает: «А про то, как вы с вашим директором совхозных баранов поморили, почему от следствия утаиваешь? Думаешь, не знаем?» Про каких таких баранов, думаю, он толкует? Никогда в нашем совхозе никаких баранов не было, путает он что-то... Уже заикнулся было ему об этом сказать, а потом думаю: зачем? Почему это я о правдоподобности своего вранья заботиться должен? Напишу ему и про баранов. И чем больше будет в моих показаниях всякой несусветной чепухи, несоответствий всяких, тем лучше! Легче будет потом доказать, что и все-то мое дело — сплошная липа...

Рафаил Львович очнулся от состояния апатии. Одно слово из произнесенных ветеринаром почему-то изменило вялый ход его мыслей, внеся в них какое-то оживление. Белокриницкий почувствовал настороженность, как перед неожиданной находкой, содержание которой, однако, ему еще не было известно. Это было чувство, знакомое каждому изобретателю и математику. Где-то рядом, совсем близко находилась смутная идея решения проклятой задачи, мучившей его все эти бесконечные дни и бессонные ночи. Сейчас эта идея или ускользнет, или будет поймана и облечется в четкие контуры...

Идея возникла от слова «несоответствия». Но из несоответствия чего и чему должно было родиться решение задачи, Белокриницкий еще не знал. Потом из толпы теснящихся мыслей вырвался ответ, сначала размытый и не вполне определенный. Еще через несколько секунд лихорадочной работы мозга он получил четкую и ясную формулировку: несоответствие показаний о своем вредительстве, которые может дать

следствию Белокриницкий, здравому смыслу, принципиальным возможностям, даже физическим законам...

Рафаил Львович глубоко перевел дух, с плеч свалилась стопудовая тяжесть. И как просто! А он-то чуть не вывихнул себе мозги и уж совсем было отчаялся в возможности решить казавшуюся неразрешимой задачу. Спасибо старику-ветеринару!

А тот, и не подозревая, что подсказал блестящую идею инженеру Белокриницкому, продолжал свой неторопливый рассказ:

— Ну я и наплел ему про этих баранов сорок бочек арестантов... и про то, как мы оставили отару в степи на буране, и как сбили с толку чабанов... Словом, как в книжке, которую мой внук читал... а у нас нет ни степи, ни баранов, ни чабанов... Хе, хе...

Умно поступил старик! Но в его показаниях история с баранами только частность. А надо, чтобы показания о выдуманном вредительстве были чепухой сплошь. Но конечно такой чепухой, чтобы следователь ее сразу не заметил.

На следующий день из камеры взяли двоих: избитого железнодорожника и базарного спекулянта. Этот спекулянт погорел на том, что перепродавал на рынке дефицитные товары, которыми его снабжали, разумеется, незаконно, знакомые продавцы государственных магазинов. Гешефтмахеру, конечно, полагался срок, но сравнительно небольшой и, скорее всего, с отбыванием его в местной колонии для мелких преступников. Однако находясь под следствием, этот спекулянт слишком громко сетовал на порядки в Советском Союзе, противопоставляя им вожделенную свободу заграницы. Политически бдительные лица нашлись и среди «социально близких» арестантов уголовной тюрьмы. Незадачливого коммерсанта перевели во внутреннюю тюрьму уже как антисоветского агитатора. Его нехитрое дело о восхвалении капиталистического строя было закончено за каких-нибудь два вечера. Теперь восхвалителя свободы частного предпринимательства переводили в общую тюрьму ждать суда. Болтун сам схлопотал себе резкое усиление наказания. Учитывая его «социальную чуждость», антисоветчику угрожал срок не меньше семи-восьми лет и уже в далеких лагерях.

В ту же тюрьму, по-видимому, увозили и больного стрелочника, возможно, что для помещения в тюремную больницу. В последнее время кровь из отбитых легких шла у парня так сильно и часто, что даже бурбон-фельдшер, видевший это через кормушку, поскреб в затылке. Однако причина увоза железнодорожника могла быть и другая. Либо его дело об ошибочном переводе стрелок решено было рассматривать просто как уголовное, либо парень попал под ОСО¹. Это иногда случается с теми, кто проявляет на следствии очень уж большое упорство. Для Особого даже выбитое самоклеветание – ненужная роскошь. Человека по его решению угонят лет на восемь или десять в какой-нибудь из дальних лагерей, только уже не по пятьдесят восьмой, а по литерной статье, какой-нибудь КРД или АСА². Такой исход можно было бы считать крупной победой непугливого хлопца, если бы ценой такой победы не было прогрессирующее кровохарканье.

– Доживет парень до этапа, если его в «дальние» повезут? – спросил кто-то у доктора Хачатурова, когда дверь за вызванными закрылась.

Тот непонимающе уставился на спросившего. Армен Григорьевич теперь не разговаривал почти ни с кем и все время сидел, уставившись немигающими глазами в одну точку. Сейчас он и отдаленно не напоминал прежнего камерного доктора, так охотно ставившего диагнозы, дававшего врачебные советы, а иногда и читавшего популярные лекции по медицине. Хачатуров осунулся, как-то постарел и все труднее реагировал даже на прямые обращения к нему соседей. Вот и сейчас потребовалась добрая минута, чтобы старик как будто услышал заданный ему вопрос и торопливо закивал головой: «Да, да, да...» Но понял ли он вопрос в действительности, особой уверенности быть не могло.

Разгрузка камеры была ощутимой, тем более что спекулянт-антисоветчик был толстым и здоровенным дентиной. Но относительное уменьшение тесноты продолжалось очень недолго. Уже через каких-нибудь полчаса на взлетной площадке у параша стоял новый арестант.

¹ ОСО – Особое совещание при нарком НКВД. Обладало правом заключения сроком до 10 лет, а в некоторые периоды и правом расстрела без суда и следствия.

² КРД – контрреволюционная деятельность; АСА – антисоветская агитация.

Он был менее расхристан, чем все другие новички здесь, и, что самое удивительное, не казался ни очень испуганным, ни расстроенным.

От уменьшения численности населения камеры на два человека снизилось ее биологическое давление, как шутил когда-то в таких случаях доктор Хачатуров. Но чтоб образовались свободные места — об этом не могло быть и речи, все остались на прежних местах, только рассевшись чуть-чуть попросторнее. Впритык к параше остался сидеть и Белокриницкий. Только с появлением нового человека могло начаться его продвижение к заветному месту под окном. Возможно, что эгоистическая заинтересованность была не последней причиной изысканного жеста, каким Рафаил Львович пригласил новичка присесть на крышку бадьи. Тот, скользнув по ней взглядом, прикрыл крышку своим легким пальто и сказал, одергивая на коленях хорошо отутюженные брюки:

— Не красна изба углами...

— Пирогами, положим, она тоже не красна... — вздохнул, улыбнувшись, Петр Михайлович.

Новый жилец коротко хохотнул.

Так, сразу после заталкивания в эту морилку, не вел себя еще никто. Кто же он, этот человек, проявлявший здесь такую необыкновенную выдержку?

Обычно с расспросами к недавно арестованным обращаются только после того, как они несколько придут в себя и освоятся с обстановкой. Да и потом эти вопросы задаются в определенной последовательности. Но этот человек, по-видимому, не нуждался в таком постепенном и осторожном подходе. Поэтому Петр Михайлович почти сразу и без обиняков спросил своего нового соседа: знает ли он, за что его арестовали?

— Я могу только догадываться, почему я арестован, — ответил тот, усмехнувшись.

Такая умудренность в человеке, явившемся только что с воли, была еще непостижимей, чем поразительная выдержка арестованного. И хотя для начала это было не совсем этичным, новичка спросили о его общественном положении до ареста. Сидевший напротив Белокриницкого пожилой священник назвал как-то двадцать вторую камеру Ноевым ковчегом за по-

разительное разнообразие ее населения. Но даже этот ковчег был изумлен, когда его новый обитатель спокойно ответил:

– До прошлой ночи я занимал должность главного прокурора области.

На новоприбывшего устались теперь уже все, даже впадающий в прострацию Хачатуров и почти уже в нее впавший престарелый булочник Паронян.

– Но позвольте, главный прокурор у нас ведь Кривенко! – удивленно возразил Лаврентьев, сам входивший в состав здешнего обкома.

– Видно, вы давно уже тут, – улыбнулся новый арестант. – Кривенко арестован четыре месяца тому назад. Сменившие его штатные заместители продержались недолго, один – месяц, другой – полтора. А следующий за ними по чину в областной прокуратуре был я. Моя фамилия Берман...

Это, правда, было уже не совсем то. Но все же, вчерашний прокурор целого края, сегодня сидящий на параше, являлся для арестантов двадцать второй как бы символом времени. Иронично и зло усмехнулся Михайлов:

– Значит, это вы на наши аресты ордерики выписывали?

– Возможно, но только на некоторых, – спокойно ответил Берман. – Право санкционировать аресты имеют в областной прокуратуре несколько лиц, и таким же правом обладает каждый районный прокурор. Однако вероятность этого события, – он улыбнулся, как будто речь шла об установлении давнего и приятного знакомства, – тем больше, чем выше было ваше служебное положение и чем позже вы арестованы...

Содержание в одной камере попавшего в тюрьму блюстителя закона с его нарушителями всегда считалось совершенно недопустимым. Но Михаилу Марковичу – так звали бывшего прокурора – явно ничего не угрожало со стороны его сокамерников. Кроме, может быть, Михайлова, все отнеслись к Берману с доброжелательным интересом. Петр Михайлович показывал ему, как можно облегчить сидение у параша, как свертывать валиком пальто и в чем заключаются главные законы камеры в отношении ночного сна. Они ведь неписанные и бывшему прокурору вряд ли известны... Тот похихатывал,

а Рафаила Львовича подмывало озорное желание попросить Бермана показать хотя бы жестом в воздухе, как он подписывается. Он отлично помнил, как выглядела та проклятая закорючка в ордере на его арест, хотя почти ничего из написанного в этом ордере так и не понял. Зная теперь инициалы бывшего прокурора, он пытался составить из них в воображении что-то подобное той закорючке, но из этого ничего не выходило. Не попросить ли его, в самом деле? Однако Белокриницкий на это так и не решился.

Скоро Михаил Маркович сделался в камере чем-то вроде штатного консультанта по юридическим вопросам. Правда, давать советы, как вести себя на следствии, он либо отказывался, либо давал их в такой общей и неопределенной форме, что они немногочисленными стоили. Но объяснения общеправового характера Берман давал охотно. Эти объяснения никак не содействовали укреплению оптимистических настроений. Из них вытекало, что беззаконие возведено у нас в ранг государственного принципа и даже подкрепляется официальной наукой. Однажды Берман рассказал о совещании руководящих работников НКВД и прокуратуры, созванном наркомом Ежовым в прошлом году. Наследник славных традиций железного Феликса объявил собравшимся, что страна поражена тайным фашизмом, как внешне здоровый организм раковой болезнью. Он повторил тезис Сталина, что враги проникли во все поры партийного и советского аппарата, промышленности, армии, научных учреждений. Что, принимая самые различные формы, этот фашизм внешне не проявляется ничем. Таким образом, тягчайшее заболевание советского государства внешне лишено каких-либо опознавательных симптомов. Предположительная численность тайных врагов социализма, объединенных в антисоветские организации, выражается цифрой с шестью нулями. Однако все эти организации законспирированы с беспрецедентной в истории строгостью. У нынешних контрреволюционеров-подпольщиков нет ни явок, ни членских списков, ни партийных билетов. Никаких собраний, кроме редких заседаний главных центровиков, они никогда не устраивают. Никакой литературы, даже пропагандистских листовок, не издают, о составе своих организаций рядовые члены, как правило, ничего не знают. Они имеют дело только с теми, кто ввел их в организацию,

и с теми, кого они совратили в контрреволюцию сами. Отсюда, сказал нарком, и вытекает главная особенность и трудность работы по очищению от плевел, внешне ничем не отличающихся от злаков...

— Так вот почему, — протянул Савин, — следователи интересуются только вербовщиками и завербованными...

А молчавший до сих пор поп спросил:

— А если все так шито-крыто, то откуда сам Ежов знает, сколько у советской власти тайных врагов?

— Численность кадров внутренней контрреволюции, — сухо ответил Берман, — определяется, конечно, приблизительно, исходя из сталинского тезиса, что эти кадры вербуются из числа обиженных властью людей. — И продолжал: — Нарком Ежов заключил свою речь директивой немедленно приступить к выполнению операции по изъятию из государственного организма чужеродных элементов. Таково решение правительства, партии и вождя. Подчеркивалось при этом, что необходимо помнить о главном свойстве наиболее злобных врагов. Являясь как бы бомбой замедленного действия, они до поры не только не выявляют себя какими-либо враждебными высказываниями или действиями, но наоборот, стараясь заручиться наибольшим доверием советских людей, нередко работают очень хорошо. Нужен был орлиный взгляд вождя и учителя, чтобы усмотреть в этом главный опознавательный признак врага, особенно когда он сочетается с сомнительным социальным происхождением. Гениальное сталинское откровение должно быть принято на вооружение как специальными органами НКВД, так и всеми бдительными советскими гражданами...

Многое после объяснений бывшего прокурора стало более понятным. Одной из странных повадок НКВД было, например, то, что его следователи хватались за вербовку талантливых людей из любой области деятельности, в то время как серых и малозаметных они принимали неохотно.

С прежним бесстрашием Берман сообщил своим слушателям, что на той же конференции нарком объявил о чрезвычайных полномочиях, полученных его наркоматом от правительства и партии в связи с заданием выкорчевывать в стране тайную контрреволюцию. Особая щепетильность

при выявлении всех замешанных в ней не только не нужна, но и способна помешать делу. Критерием умения и усердия органов НКВД на местах является отныне только конечный результат их деятельности, то есть количество выявленных и обезвреженных врагов народа. Контрольные цифры по республикам и областям намечены самим Ежовым, хотя отнюдь не в форме официального документа...

— План, значит, спущен, — заметил кто-то из слушателей попроще.

Бывший прокурор сделал вид, что не расслышал этой реплики.

Рафаил Львович уже обдумал отправные данные, на основе которых он должен будет составить свои будущие показания. Главные из этих данных сводились к следующему.

К технической экспертизе следственные органы нынешнего Комиссариата внутренних дел не прибегают никогда. В их нынешней деятельности такая экспертиза нужна не более, чем рыбе зонтик, по выражению покойного Льва Моисеевича.

Вероятность наткнуться на следователя, способного разобраться хотя бы в общефизической сущности показаний бывшего главного инженера, касающихся технических приемов его вредительства, практически равна нулю. Подавляющее большинство следователей ежовского НКВД даже не кадровые чекисты, а недавно мобилизованные в органы комсомольцы старших возрастов и молодые партийцы сталинской генерации. Прежние, служившие при Ягоде и раньше, почти все уничтожены. Главные же признаки, по которым укомплектованы новые кадры НКВД — фанатическая тупость и крикливая политическая активность. И то и другое почти всегда связано с самодовольной невежественностью. Попадают, конечно, среди мобилизованных в НКВД развитые и мыслящие ребята, но такие скоро куда-то исчезают. Что аппарат НКВД после падения прежнего наркома почти полностью обновлен, об этом говорил и Берман.

Что касается стиля будущего сочинения, то следует учесть пристрастие нынешних энкавэдэшников к пышным

фразеологическим штампам, особенно в покаянной части. Совершенно необходимо также, чтобы вредительские действия обладали достаточной масштабностью. После процессов шахтинцев, рамзиновцев, кемеровцев и других специалистов-преступников, мелкотравчатое вредительство будет психологически неоправданно. Размах выдуманного вредительства в местной энергетике должен соответствовать и ее месту в хозяйстве страны, и рангу самого вредителя. Все это нужно как приманка, на которую должен безотказно клюнуть и будущий следователь Белокриницкого, и более высокое следовательское начальство, утверждающее передачу дела в судебную инстанцию. По существу же, будущие показания должны представлять собой с технической и даже физической стороны чистейший абсурд, не способный выдержать проверки самой поверхностной и малоквалифицированной экспертной комиссией. Однако прямого несоответствия фактам, как в показаниях ветеринара, надо избегать, чтобы не рисковать и преждевременно не провалить затеянный для НКВД подвох. Вредительские действия бывшего главного инженера крупного энергетического треста должны подкупить невежественного следователя и его начальство, всех этих «фонэ квас», своей масштабностью и кажущейся зловредностью. И оставаться в то же время очевидным вздором для мало-мальски технически грамотного человека.

Белокриницкому доставляло удовольствие выдумывание поражающих неспециалиста, но совершенно абсурдных по существу вредительских акций. Это оказалось довольно забавным и увлекательным занятием. Рафаил Львович улыбался, представляя себе хохот будущего эксперта по его делу, как только тот прочтет уже первые строчки его чистосердечного признания.

Михаил Маркович Берман мало соответствовал уже возникшему в те годы, а впоследствии ставшему почти единственным среди советских юристов типу чиновника, не только мирящегося с низведением своей роли до почти бутафорской, но иной себе эту роль даже и не представляющего. Он участвовал в гражданской войне, в партию вступил в двадцатых

годах, юридический факультет закончил еще до возникновения политики стандартизации мозгов, как он сам называл начавшийся при Сталине процесс пресечения всякой индивидуальности в политическом мышлении. Берман умел думать, знал больше других и поэтому лучше всех здесь понимал происходящее. Однако это понимание касалось только техники совершаемых беззаконий и того, что относилось к их внешним формам. Об истинном смысле и конечной цели незаконных арестов, палаческого следствия и неправедных судов он не решался даже предположить что-нибудь определенное.

Несмотря на кажущуюся внешнюю бодрость, наигранную, главным образом, из-за сознания ложности своего положения бывшего прокурора среди арестованных, Берман признавался новым друзьям, что считает возможность выйти живым из глухого капкана, в который он попал, делом почти безнадежным. Шить ему будут, наверно, участие в троцкистско-бухаринской оппозиции. Не обойдется, конечно, и без достаточно крупного контрреволюционного задания, всего скорее, саботажа мероприятий по выявлению в здешней области тайной контрреволюции. Все это пахнет военной коллегией и расстрелом...

После довольно долгого молчания кто-то спросил:

— Михаил Маркович, а кого вообще судит Военная коллегия?

Оказалось, что всех центровиков, главных руководителей контрреволюции во всесоюзном масштабе. Все ведь читали газетные отчеты о процессах зиновьевцев, троцкистов-бухаринцев, руководителей Промпартии, заговорщико-военных из Генерального штаба. Впрочем, на местах периодически проводятся сессии не самой коллегии, а ее выездной группы, которая судит контриков помельче. Периодически этот состав Военной наезжает и сюда.

— А где происходят ее заседания? — спросил кто-то. Прежде никто здесь о них и не слышал.

— Вот в этом же здании областного Управления НКВД.

Это было неожиданностью. Военная, как рассказал бывший прокурор, — суд очень скорый, вряд ли правый и, безусловно, немилостивый. Половина попавших под этот суд приговаривается к расстрелу, другая — к тяжелым видам

заклучения на сроки не менее пятнадцать лет. Однако несмотря на свою свирепость, это самый быстроходный из действующих судов. За иную ночь коллегия успеваеt вынести добрую сотню приговоров.

— Как? За ночь? Разве...

— Выездная группа заседает всегда только ночью...

— Ночью! — слушатели переглянулись.

— Михаил Маркович, а я не могу попасть под Военную? — спросил Петр Михайлович, стойкий оптимизм которого от пояснений бывшего прокурора изрядно поколебался.

Берман его успокоил. Дела о вредительстве обычно рассматривает гражданский суд по контрреволюционным делам — Спецколлегия. Заседает она днем, процент приговоренных к расстрелу у Спецколлегии ниже, чем у Военной, хотя даже самый мягкий приговор — все те же пятнадцать лет... Под Военную вредители могут попасть, только если их действия имеют уж очень большой масштаб, по своему характеру граничат с диверсией или произведены в оборонной промышленности.

— А вам самому приходилось участвовать в судебных заседаниях? — спросил Лаврентьев.

— Конечно, но только по уголовным делам. — Берман объяснил, что в делах о контрреволюции принцип состязательности теперь не применяется и они рассматриваются на закрытых заседаниях судов без участия сторон. Исключения составляют только крупные показательные процессы и мелкие дела об антисоветской агитации. Но и прокурор, и защитник на судах по таким делам присутствуют, собственно, только для формы. Поэтому посылают на них обычно начинающих юристов и больше в порядке стажировки, чем действительной необходимости. Все равно все решено заранее.

— Это после того, как сталинской конституцией роль прокуратуры поднята на небывалую высоту! — язвительно усмехнулся Михайлов. — «Никто без санкции прокурора...

— ...не может быть арестован», — закончил за него Берман.

Что ж, в этой части закон и не нарушается. Без подписи прокурора на специальном ордере аресты, действительно, не производятся. Другое дело, как эти подписи ставятся. Уже

выписанные ордера прокуроры подписывают пачками по сотне штук сразу, и разве только случайно могут знать вписанных в них людей. Нередко Управление НКВД требует даже пустые бланки-ордера на арест с прокурорской подписью. Любой из нынешних прокуроров мог бы подписать и распоряжение о собственном аресте. Как царь Александр Третий, подписавший однажды приказ о его, царя, сечении, подsunутый забулдыгой братцем, любителем веселой шутки. Но сейчас в прокуратуре никому не до веселья.

Однажды ночью на квартиру к Берману ввалились оперативники НКВД. Они с женой решили, что за ним. Оказалось, однако, что время для этого еще не пришло. Просто на эту ночь не хватило подписанных бланков.

Может быть, именно в ту ночь Берман и подписал, среди сотни других, ордер на арест какого-то Белокрыницкого? А от страха перед оперативниками прокурорская закорючка и получилась такой невыразительной? Эта закорючка все не вылезала у Рафаила Львовича из головы.

Однажды, уже перед самым отбоем, из камеры взяли еще двоих: Панасюка, подписавшего на конвейере признание в совершении крупной диверсии, и школьного директора, превратившего свой учительский коллектив в повстанческий отряд. Дело Панасюка, работавшего прежде грузчиком на зерновом складе, было обосновано фактами. Несколько лет назад часть этого склада действительно сгорела. Но причину пожара удалось установить только теперь, когда следователь Панасюка вынудил его признать себя поджигателем. Особая жестокость в отношении незаметного работника объяснялась, по-видимому, еще и тем, что в ранней молодости Панасюк служил в петлюровских частях. Берман сказал, что и бывший грузчик, и бывший завшколой пойдут под Военный трибунал. И что по ним обоим уже сейчас можно справлять панихиду.

Кажется и эта, десятая по счету, ночь Рафаила Львовича в тюрьме пройдет без вызова к следователю. Как и все ожидавшие своего первого допроса, Белокрыницкий спал очень мало и плохо.

Шла вторая половина ночи, и некоторые, в том числе и Кушнарев, уже вернулись с допроса. Следователь у Кушнарева был теперь другой. Этот не держит его до утра, но бьет сильнее и обещает, если Кушнарев будет упорствовать, переломать ему ребра. К упрямому подследственному, видимо, ищут подход.

А какой подход будет применен к вредителю Белокриницкому? Всякий раз, когда вопрос об этом возникал в такой ясной и конкретной форме, Рафаил Львович чувствовал, что под ложечкой у него образуется неприятная, сосущая пустота. Белокриницкий решил приступить к написанию давно продуманного сочинения в первый же свой вызов к следователю. Необходимо, однако, разыграть вначале некоторое сопротивление, вызванное якобы естественным нежеланием признаваться. Если показать себя слишком уж податливым, претензии следователя могут непомерно возрасти и навести его на мысль сделать из Белокриницкого вербовщика. Поэтому надо поломаться с полчаса, дать понять, что игра на слишком большой выигрыш не стоит свеч, и только после этого сдаться. Реакция следователя, когда он не станет сразу давать показания, будет, вероятно, бурной. Он подумал о почти неизбежных оскорблениях, матерщине, может быть, даже ударах. От этих мыслей становилось не по себе и снова ныло под ложечкой.

И все же Рафаил Львович больше не чувствовал себя таким безоружным. Теперь он ждал встречи со следователем не с прежним чувством безнадежности, а почти уверенный в благополучном исходе жутковатой, но интересной игры. Хотя конечный результат задуманного выявится, вероятно, очень нескоро, глубокое удовлетворение доставляла мысль, что «фонэ квас» — так теперь про себя называл Белокриницкий весь аппарат неправедного следствия и суда, — одержав мнимую победу над очередной жертвой, на этот раз распишется в неизбежном поражении.

Днем Рафаил Львович испытывал нетерпеливое чувство игрока, желающего, чтобы игра поскорее началась. Однако ночью к этому чувству опять примешивался неодолимый страх. Когда же щелкала кормушка и в ней появлялось

лицо надзирателя с бумажкой в руке, этот страх усиливался настолько, что немели руки и ноги, а во рту появлялось ощущение, напоминающее вкус купороса.

В эту ночь лежали, как всегда, валетом. Пальцы ног спящего Петра Михайловича касались затылка Белокриницкого. Общение с ним, да еще с Берманом, лежавшим по другую сторону, было единственным, что скрашивало тягостные дни неподвижного сидения в вонючей камере. Однако Петр Михайлович уже подписал знаменитую здесь двести шестую, то есть документ, означающий, что согласно этой статье Процессуального кодекса следствие по его делу закончено. Обычно таких отправляли в одну из общих городских тюрем ждать суда. При мысли о том, что умного и добродушного собеседника скоро здесь не будет, охватывало тоскливое чувство.

Правда, оставался Берман. Он сейчас тоже не спит. Наверно, и ему не дают уснуть мысли, бьющиеся в поисках выхода, хотя бывший прокурор лучше всякого другого понимает безнадежность такого поиска. Отвратительное место у параша тоже, наверно, способствовало тому, что Берман уже был не в состоянии сохранить свою джентльменскую невозмутимость, так поразившую арестантов двадцать второй при его появлении.

Щелкнула задвижка кормушки. Чуть не все и почти сразу подняли головы.

— На «бэ», — вполголоса сказал надзиратель.

— «Белов?» — как эхо откликнулся поп. Это он назвал камеру Ноевым ковчегом. Священника уже вызывали на допросы, но всего два раза и уже довольно давно. Ему пытались пришить, будто община дев-мироносиц при его церкви — террористическая организация. И что непосредственной целью этой организации является убийство Сталина. НКВД было известно, что Белов незадолго до своего ареста посетил Москву и даже ходил на Красную площадь со специальной целью высмотреть, из каких ворот Кремля выезжает обычно Генеральный Секретарь ВКП(б). Попик и не отрицал, что в Москву он действительно ездил — надо было кое-что купить, и несколько раз проходил по Красной площади. Однако Сталина убивать, ей-ей, не собирался. А его мироносицы

не могли бы сделать этого и по давню, так как младшей из них перевалило за шестой десяток. Дело, видимо, не клеилось, и Белова не вызывали уже целый месяц. Старик нервничал.

— Нет! — ответил ему надзиратель. Таким же был ответ и Берману.

Теперь на «бэ» в камере оставался только Белокриницкий. Но свою фамилию он произнес как-то тонко и хрипло, почти по-петушиному.

— Собирайся, — сказал коридорный. — Быстро!

Рафаил Львович долго готовился к этому моменту, постоянно наставляя сам себя, как ему надо будет вести себя при вызове. Не волноваться, не торопиться! Привести свою одежду, по возможности, в достойный вид. Наученный более опытными товарищами, Белокриницкий свил из распущенных носков веревочки и вдел их в ботинки вместо шнурков. Такую же веревочку подлиннее приспособил для подвязывания брюк.

Но сейчас он и торопился, и волновался. Концы веревочек размочалились и не попадали в дырочки на ботаниках, обшлага проклятой интеллигентской рубашки снова вылезали из-под рукавов. о голой шее, по-идиотски торчащей из сорочки без воротника, Рафаил Львович не мог забыть даже теперь.

А надзиратель уже открыл дверь и торопил:

— Чего копаешься? Пошевеливайся быстрее!

— Помните, что я вам говорил! — свистящим шепотом сказал Петр Михайлович. Он тоже проснулся. Берман сделал успокаивающий жест рукой.

В коридоре Белокриницкий, не дожидаясь приказа, заложил руки за спину. Ожидавший его выводной махнул рукой по направлению к концу коридора. Как только вышли на знакомую лестницу, конвоир начал шелкать пальцами. На площадке второго этажа они миновали человека в изжеванной одежде, уткнувшегося лицом в стену. Очевидно, задерживают только тех, кого возвращают в камеры. Направляющимся в следственный корпус предоставляется зеленая улица.

На площадке третьего этажа солдат сделал жест вправо. Такая же, как и на первом этаже, запятая короткого перехода, по которому они вышли в тоже как будто знакомый

Белокриницкому длинный, с одностворчатými дверями по обе стороны, коридор. По-видимому, за исключением номеров на дверях следовательских кабинетов, коридоры на всех этажах были совершенно одинаковы. Однако тот, по которому провели Рафаила Львовича в ночь его ареста, был пустынен и тих. Как он узнал впоследствии, арестованных в кабинетах первого этажа не допрашивали, и только в некоторых из них работали позже полуночи. Здесь же рабочий день был в самом разгаре, и коридор гудел от голосов за дверями. Но это были не просто голоса, а громкие крики и площадная брань. Издали шум следовательского корпуса можно было принять за гвалт какого-то скандала с большим числом участников. Однако его производила не толпа, а отдельные люди, порознь оравшие каждый за своей дверью. Чуть не все они повторяли с интонациями то начинающейся истерии, то клокочущей ярости почти один и тот же вопрос: «Будешь говорить? Говорить будешь?» Этот вопрос часто сопровождался неистовой матерщиной, а иногда и звуками ударов.

Рафаил Львович вдруг почувствовал, как его робость переходит в обессиливающий страх, от которого подкашиваются ноги и теряется способность логически мыслить. Только не это! Никогда еще в его жизни не была так нужна ясность мышления, как сейчас.

С дальнего конца коридора девушка в белом халатике несла поднос, на котором стояли стаканы с чаем и лежали бутерброды. Она улыбалась молодому человеку в форме НКВД, пробежавшему ей навстречу и приветственно помахавшему рукой. Как будто эти люди встретились в театральном фойе! Видимо, для них обоих звуки за стеной были чем-то вроде привычного производственного шума.

Выводной посмотрел в бумажку и постучал в узкую дверь с трехзначным номером в белом кружке. «Да, да!» — резким голосом ответили изнутри. Солдат открыл дверь, пропустил в нее арестованного и снова закрыл из коридора.

В комнате находились два молодых человека. Один в форме следователя с вышитыми на рукаве гимнастерки скрещенными золотыми мечами сидел за столом и что-то писал. Другой, одетый в штатское, стоял у окна, прислонясь спиной к подоконнику и засунув руки в карманы брюк.

Под впечатлением страшных звуков, которые были слышны и здесь, Рафаил Львович лишь с трудом вымолвил: «Здравствуйте!» — язык едва ему повиновался. Испуганный взгляд арестованного некоторое время удерживался на хозяине кабинета, но потом, почти против воли, остановился на парне в штатском. Этот малый как будто гипнотизировал Белокриницкого своими плечами циркового борца, бычьей короткой шеей и презрительно-враждебным взглядом исподлобья. Зачем он здесь?

Ответа на приветствие не последовало. Следовательно за столом продолжал писать, парень у окна зло смотрел на Рафаила Львовича, напоминая собаку, которая только ждет кивка хозяина, чтобы наброситься на чужого. За стеной кто-то срывающимся фальцетом выкрикивал все ту же фразу: «Говорить будешь?» Из-за другой стены доносился топот ног, глухие удары и вскрикивания. По-видимому, там несколько человек скопом избивали одного.

Белокриницкий силился не забыть наставлений и собственных решений, как вести себя в эти минуты. Не трястись, не выставлять напоказ, что ты трус и размазня! Помнить, что, хотя могут ударить и сразу, но не слишком сильно, так как это будет сделано только для остротки. А следовательно крики и мат можно принимать как едва ли не единственный здесь разговорный язык с подследственными. Ни в коем случае нельзя показывать, что ты из тех, кто сразу же выворачивается наизнанку. Предупреждали Белокриницкого и о том, что звуки избиения за стеной слышат почти все вызываемые на первый допрос, и только редко потом. Вероятно, это только инсценировка для запугивания новичков.

Но было похоже, что все эти мудрые наставления оставались теперь сами по себе, а нервозность, унаследованная от предков, сама по себе. Стоя у двери — пройти дальше его почему-то не приглашали, — Рафаил Львович чувствовал, что ему становится все труднее удерживаться на ногах.

— Фамилия? — резким и скрипучим голосом произнес, наконец, следовательно за столом. Лицо, которое он только теперь повернул к арестованному, было подстать этому голосу, какое-то испитое, со злым выражением. Сглотнув слюну, Рафаил Львович ответил.

— Ага, Белокриницкий... — Злое лицо парня в гимнастерке с мечами злорадно скривилось, как будто арестованный был его давним, хотя и неизвестным в лицо врагом. Таким тоном говорят что-нибудь вроде: «Попался, наконец, голубчик!» — Ну что ж, Белокриницкий, садись, поговорим... — это уже с оттенком злорадного ехидства.

Рафаил Львович на казавшихся ему ватными ногах прошел к стулу, стоявшему под стеной, и опустился на него, стараясь подавить начинающуюся дрожь.

— Как следует сядь! — парень в штатском выдернул из-под арестованного стул так резко, что тот чуть не упал, и повернул его одним из передних углов сиденья к столу. — Сюда садись! — он ткнул в этот угол носком ботинка. — И руки на колени! Порядка не знаешь, дерьмо фашистское?!

Белокриницкий вспомнил, как многие вернувшиеся с допроса испытывали боль в крестце из-за многочасового сидения на уголке стула. Было в этом, конечно, и издевательство унижением.

— Ну, — следователь смотрел с издевательской иронией. — Сразу все расскажешь или возиться с тобой, как вон с тем? — он показал большим пальцем через плечо на стенку позади себя.

Во рту у Рафаила Львовича стало сухо. Он изо всей силы сжимал руками колени, чтобы удержать их от дрожи, и чувствовал, как на этих ладонях выступает неприятный липкий пот.

Не показывать своей слабости, не возбуждать слишком больших аппетитов у допрашивателей! — твердил он себе правила поведения на первом допросе. Но понять и заучить эти правила было в тысячу раз легче, чем не только выполнить, но и просто удержать их в памяти под свирепыми взглядами и окриками этих двух насильников. Согласно продуманной программе, на грубость надлежало ответить дерзкой просьбой быть повежливее. Но зубы приходится держать крепко стиснутыми, иначе сквозь них вот-вот прорвется что-нибудь скорее похожее на бляение, чем на выражение достоинства.

— Ты будешь говорить, вредитель?! — вдруг гаркнул следователь. Он поднялся за своим столом, опираясь на него сжатыми кулаками, а его помощник подошел к стулу допрашиваемого вплотную.

— Я... я не знаю, что говорить... — произнес, наконец, Рафаил Львович совсем не то, что нужно было сказать.

— Не знаешь? — парень с бычьей шеей ударил арестованного кулаком в подбородок, приставив другой кулак к его затылку.

Вряд ли это был удар даже вполсилы. Но Рафаилу Львовичу показалось, что у него затрещали кости черепа, а перед глазами запрыгали разноцветные огни. Его обуял животный страх перед вторым ударом. Этот удар, наверно, лишит его всякого самообладания, способности думать, разумно осуществить намеченный план.

— Я все, все... напишу... — запинаясь, пробормотал Белокриницкий.

Проклятая трусость, пяти минут не выдержал! Коленки ходили ходуном от крупной дрожи, и удержать их от этой дрожи было уже невозможно. Липкий пот выступил не только на ладонях рук, но и на подошвах ног.

Допрашиватели, по-видимому, этого и хотели. Следователь опустился на свой стул и снова начал просматривать какие-то бумаги, а его помощник отошел к окну и снова засунул руки в карманы. Но теперь он стоял уже спиной к арестованному, выражая своей позой только скуку и презрение.

Дрожь в конечностях начинала затихать. Проходило и ощущение лихорадочной сухости во рту, сменяясь привкусом полынной горечи, как после рвоты. Но это было уже легче. Возвращалась способность оценивать обстановку.

Из намерения продемонстрировать перед этими молодцами хотя бы минимальную стойкость ничего не вышло. Конечно, они уже поняли, что из такого рохли они страхом могут выбить все, что им угодно.

Значит, чтобы предотвратить требование клеветать на других, надо ублажить своих следователей масштабом и важностью якобы совершенного вредительства. Конечно, дадут большой срок и угонят в особо дальние лагеря, но другой возможности, видимо, нет...

— Так в какой же контрреволюционной организации вы состояли? — скрипучие нотки в голосе следователя исчезли. Обращением на «вы» он, очевидно, хотел показать, что поделовому с ним разговаривать можно.

Свирепый наскок на первом же допросе — это, конечно, один из стандартных приемов психологического воздействия на неопытных. Некоторые из товарищей Белокриницкого по камере — бывалые арестанты — считают даже, что такой наскок более благоприятный признак, чем относительная вежливость вначале и постепенно усиливающийся нажим. Он якобы означает, что претензии следователя не столь уж велики.

Верно ли это утверждение, покажет будущее. А пока оно годилось как успокоительная гипотеза. Мордобоец в штатском ушел. Хозяин кабинета перебирал на своем столе какие-то бумаги, а Рафаил Львович, сидя за столиком недалеко от двери, быстро писал. Постороннему наблюдателю обстановка могла бы показаться почти мирной, если бы не звуки из коридора и соседних комнат, раздававшиеся и теперь, правда, значительно реже, чем в первой половине ночи.

Однако в ту первую ночь у следователя Белокриницкий сочинил только вводную часть своих показаний. В ней говорилось, что во вредительскую организацию, действовавшую в энергетическом тресте, он вступил по предложению троцкиста-бухаринца Миронова, движимый чувством ненависти к социалистическому строю. Это чувство сын нэпмана вынашивал с ранней юности из-за притеснений, чинимых органами советской власти семье капиталиста, каким являлся покойный Белокриницкий-старший. Младший Белокриницкий не мог также простить, что пролетарская революция лишила его возможности самому стать предпринимателем, притом куда большего масштаба, чем был его отец. Надежда на такую возможность, однако, не исключалась в том случае, если в России будет реставрирован капиталистический строй. Но сделать это может только иностранное вторжение, которому следовало способствовать всеми возможными средствами. Для специалиста самым доступным и действенным из таких средств является техническое вредительство, ослабляющее экономическую мощь Советского государства.

Этим вступлением следователь был вполне удовлетворен. Его очевидных несуразностей он, конечно, не замечал. Если реставрация капитализма еще могла сулить какие-то выгоды Белокриницкому, крупному инженеру и сыну нэпмана,

то для чего она могла понадобиться потомственному рабочему и старому большевику Миронову?

Рафаил Львович был отпущен в камеру, но предупрежден, что завтра его опять вызовут для продолжения показаний. А чтобы он мог заниматься этим в достаточно бодром состоянии, коридорному надзирателю будет приказано не тревожить усталого подследственного, если тот уснет в дневное время.

Рафаил Львович написал уже сто раз продуманное сочинение за несколько вечеров. Получился целый трактат о новых способах вредительства в энергетике, изобретенных и разработанных инженером Белокриницким.

В этом сочинении он изобразил себя этаким изобретателем «навыворот», исходящим из положения, что вульгарное вредительство в действующих энергосистемах, пусть даже путем крупных аварий и поломок, не может причинить народному хозяйству достаточно существенного вреда. Перерывы в подаче энергии всегда вызывают много шума и внимания к себе и поэтому не могут быть сколько-нибудь частыми и длительными. Главный инженер Белокриницкий не только не способствовал увеличению числа и тяжести аварий в своей системе, но наоборот, энергично боролся с аварийностью. Он свел простой энергетических установок в этой системе едва ли не к всесоюзному минимуму.

Благодаря этому Белокриницкий максимально приблизил значение действующих мощностей к установленным, то есть принципиально возможным, и постоянно перевыполнял план поставки электроэнергии промышленным предприятиям. Таким путем он создал себе авторитет безукоризненного технического руководителя. На протяжении ряда лет никому и в голову не приходило, что этот главный инженер является опасным вредителем в области качества электрической энергии.

Популярнейшим образом, прибегая даже к рисункам, Рафаил Львович пояснил неспециалистам, каким образом он осуществлял такое вредительство. Общеизвестно, что промышленный переменный ток нормального качества

графически изображается в виде кривой с периодически повторяющимися плавными изгибами, так называемой синусоиды. Для обычного промышленного тока эти повторения происходят пятьдесят раз в секунду. Следовательно понимающе кивал головой, он об этом слышал.

Но вот главный инженер объединения электрических станций и подстанций под предлогом внедрения всякого рода усовершенствований в электрических установках делает так, что синусоида тока превращается в некое подобие зубьев продольной пилы (рисунок прилагается). Кроме того, ратуя якобы за увеличение отдачи электрических генераторов, Белокриницкий приказывает увеличить их обороты, от чего частота тока достигает семидесяти и более периодов в секунду. Это также достаточно ясно видно на рисунке, параллельно изображающем кривые нормального и вредительски изуродованного тока.

Обычными приборами подпорченность поступающей на предприятия энергии обнаружить нельзя — в этом месте сочинитель внутренне устыдился своего вранья — какую же чушь он несет, — однако ложь была во спасение, и он продолжал.

Измененный качественно ток портит и выводит из строя трансформаторы, электродвигатели и другое силовое оборудование предприятий. В результате возникают бесчисленные, хотя большей частью относительно мелкие, простои всевозможных агрегатов и станков. В сумме они весьма ощутимо отражаются на выполнении государственных планов во всех областях промышленности целого края. Винят в этом плохое качество оборудования, его неправильную эксплуатацию, но никому в голову не приходит, что во всем виновата незаметная внешне электрическая отравка, изобретенная инженером Белокриницким и много лет поставляемая им вместо доброкачественного тока.

Следователь относился к показаниям Рафаила Львовича с большим интересом, а к их автору — даже с некоторым почтением. Обращаясь к нему по имени и отчеству и всегда только на «вы», он нередко просил пояснений по части техники. Давая такие пояснения, Рафаил Львович порой испытывал некоторую неловкость от того, что он морочит голову не слишком грамотному и совершенно некомпетентному человеку. Чувствовалось, что результатом следствия этот «фонэ квас» вполне доволен. Ведь не всякому попадается вредитель,

который в своем деле прямо-таки академик! Это тебе не то, что дела о подсыпании соли в свиное пойло или толченого стекла в тракторные подшипники!

Расчет оправдался. По поводу вербовки было принято объяснение, что авторитетный специалист главный инженер Белокриницкий не нуждался в помощниках, посвященных в его вредительские изобретения. Они осуществлялись руками ничего не подозревающих людей. Так-де было вернее.

Теперь оставалось ждать подписания двести шестой и суда. Бывший главный инженер накрутил на себя не меньше, чем лет на пятнадцать заключения. Но сейчас это не имеет особого значения. Придет время, и из какого-то далекого лагеря осужденный возбудит ходатайство о пересмотре дела с указанием, что вредительство, в котором он был обвинен, технически чистейший абсурд.

Белокриницкий поступил диаметрально противоположно тому, что делало большинство липовых вредителей вроде того же Петра Михайловича. Он заложил под свои показания не прочный фундамент, как они, а своего рода мину. И запал от этой мины держит в своих руках.

Секретом этой мины Белокриницкий ни с кем, однако, не поделился. Во-первых, только полная тайна могла обеспечить успех его хода, во-вторых, друзьям по камере найденный им ход помочь не мог.

Через щели намордника серело утро. Значит, скоро подъем. На допросы в такое время почти никогда не вызывают, да и показания Белокриницкого уже более недели как были полностью закончены. Значит, его вызывают для подписания формы, в которой значит, что следствие по делу обвиняемого — имярек — закончено. Всякая форма, если она только не мешает существу произвола, соблюдается в НКВД неукоснительно.

Знакомый коридор был тих, рабочее время здесь заканчивалось. Уже нестрашными казались и следовательский кабинет, и его хозяин. При сером свете из окна было видно, что лицо совсем еще молодого человека выглядит не злым, а только старчески изможденным.

– Садитесь, Рафаил Львович! – следователь заполнял какой-то бланк и время от времени проводил по лицу рукой и тер рыжеватую щетину на щеках. Глаза от постоянной бессонницы были у него красные, с припухшими веками. На фоне окна вырисовывалась проволочная сетка, невидимая при освещении изнутри. С улицы она, наверно, и вовсе незаметна при любом освещении. Белокриницкий не переставал делать здесь все новые открытия.

– Подпишите! – следователь придвинул бланк к краю стола.

«На основании статьи 206 ПК следствие по делу... закончено». Это хорошо. Значит, его показания окончательно приняты и утверждены во всех следовательских инстанциях.

«Белокриницкому, Рафаилу Львовичу... – следовал год рождения, название прежней должности и национальность обвиняемого, – предъявляется обвинение в совершении преступных действий, предусмотренных статьей 58 УК, пункты 11 и 7». Пункт одиннадцатый означает принадлежность к контрреволюционной организации, пункт седьмой – экономическую контрреволюцию, то есть вредительство.

Перевод сочинения инженера Белокриницкого на язык УК сделан правильно. «Фонэ квас» расписались в своей глупости, невежестве и неотвратимости своего будущего конфуза. Расписался и автор сочинения. Следователь опять провел по лицу рукой и нажал кнопку вызова выводного.

Поздно ночью, уже в конце апреля, из камеры совершенно неожиданно для всех вызвали Хачатурова. Доктор не разговаривал теперь почти совсем и плохо понимал, о чем речь, даже если дело шло о самых обыкновенных вещах. Те, кто помнил Армена Григорьевича в первые недели в камере, когда он был, может быть, излишне суетливым и нервным, но весьма склонным к незлой шутке и словоохотливым, лишь с трудом узнавали его в седобородом дряхлом старике. Старее Армена Григорьевича здесь выглядел теперь разве что семидесятилетний Паронян, тоже член Дашнакцутюн и террорист.

До революции владелец самой крупной булочной в городе, Паронян был арестован несколько раньше Хачатурова.

Свою принадлежность к армянской террористической организации он сразу же признал. Точнее, просто подписал какую-то бумагу, написанную для него самим следователем. Это было не в правилах НКВД, но что оставалось делать следователю Пароняна, если его подследственный был совершенно неграмотен и страдал явно выраженным старческим слабоумием. Только поэтому, вероятно, бывшего купца не ввели в состав местного дашнакского центра, и престарелый булочник остался рядовым «бомбистом-маузеристом», как прозвал его шутник Хачатуров.

Хотя на «х» в камере был только один доктор и он не спал, когда открылось оконце кормушки, Хачатуров не отозвался на вызов надзирателя. Соседи кое-как объяснили старику, что ему надо одеваться и куда-то идти. Вот куда — это было совершенно непонятно. Следствие по делу Хачатурова давно уже завершилось подписанием двести шестой, и естественным был бы его перевод в общую тюрьму. Но в нее в такое время никого не увозили.

Армен Григорьевич долго и бестолково копался с одеванием, хотя соседи по месту старались ему помочь, а надзиратель сердито понукал с порога. Он долго держал дверь камеры открытой почти настежь. Поэтому было видно, что в коридоре Хачатурова ожидают почему-то два конвоира, вид у которых был какой-то не такой, как у обычных выводных.

Когда едва плетущийся доктор находился еще в двух шагах от порога, надзиратель схватил его за рукава и с силой выдернул в коридор. Там Армена Григорьевича сразу же подхватили под руки дюжие конвойные и потащили, как полицейские тащат пьяного молодца, оказавшего им буйное сопротивление. «На Военную Коллегию», — хмуро определил бывший прокурор.

Берман тоже стал теперь молчаливым и угрюмым. На допросы его почему-то не вызывали, хотя все сроки для этого давно прошли. Михаил Маркович зарос, стал грязен и лохмат, почти как все остальные. Теперь жара и духота в камере оставались нестерпимыми даже ночью. Днем же пребывание в ней превращалось в настоящую пытку. Несмотря на приближение лета, продолжала греть отопительная батарея.

Утром надзиратель потребовал вещи Хачатурова.

Май в этом году выдался жаркий с самого начала. Для заключенных Внутренней, особенно тех, кто находился в подвальных камерах, это означало жестокие и непрерывно усиливающиеся страдания. Днем приток воздуха в камеры почти прекращался. К десяти-одиннадцати часам утра железный лист перед окном накалялся на солнце и становился еще одной печкой в дополнение к проклятой батарее.

То газообразное вещество, которое наполняло теперь камеру, можно было назвать воздухом лишь условно. Спичка в нем горела только до тех пор, пока не выгорала головка, дерево и бумага могли только тлеть.

Даже привычные ко многому дежурные по тюрьме, производя поверку, становились теперь не на порог камеры, как прежде, а поодаль и несколько в стороне от открытой двери. И все же, читая список арестантов, они морщились от обдававшей их зловонной струи, вырывавшейся из мешка, до отказа набитого людьми. В двадцать второй находилось уже двадцать три человека. Вывезенных заменили новыми арестантами.

Сидя на полу, почти голые люди вытирали рубашками непрерывно струящийся пот. Когда рубашки намокали, их отжимали в миски, поставленные на пол по одной на четыре человека. Пот из наполненных мисок сливали в парашу.

Почти у всех на коже появилась красная зудящая сыпь — потница. Ее вызывала соль, накапливающаяся на поверхности тела по мере испарения кожных выделений. Только раз в сутки, на утренней оправке, удавалось провести по воспаленной коже рукой, смоченной водой под краном в уборной. Однако здешние уборные, по одной на каждый этаж, были рассчитаны на обслуживание одиночек и двоек. Теперь же в эти маленькие камеры набивали до тридцати человек, которых выводили на оправку только всех разом, постоянно понося и поторапливая. Вечером воду в кранах перекрывали, вечернее умывание — излишняя роскошь.

Разговоры в камерах почти прекратились. Не только произнесенное слово, но и каждый вдох стоил теперь отдельного мучительного усилия. Малейшее, не только физическое, но и нервное, напряжение сопровождалось целой рекой пота.

После десяти утра наступало настоящее удушье, и многим казалось, что уж этот день пережить не удастся.

Прикосновение горячего, распаренного тела соседа было мучительно и вызывало чувство гадливости и омерзения. Постепенно все в этом человеке становилось ненавистным — его взгляд, голос, дыхание. Люди, ставшие здесь невольными и взаимными мучителями, орудием и предметом пытки одновременно, начинали ненавидеть друг друга животной ненавистью, подобной ненависти посаженных в тесную банку пауков. Однако выразить ее они могли только при помощи слов, да и то в ранние утренние часы, когда еще существовала возможность пользоваться речью. Позже из-за недостатка воздуха речь требовала почти неодолимых усилий.

Почти единственным, кто даже в эти часы общей перебранки постоянно молчал, был Коженко. Он по-прежнему сидел с вытянутыми ногами, один во всей камере одетый в рубашку и брюки. На лбу и на висках старика выступал пот, однако понять, чувствует он жару или нет, было невозможно. Если бы не эти капли пота, его иногда можно было принять за умершего.

Но однажды, во время особо ядовитой утренней ссоры, этот полумертвец неожиданно поднял руку и внятно сказал:

— Прошу слова!

— Что у вас тут, митинг? — спросил кто-то из недавно поспивших в камеру.

За последние недели ее состав обновился больше чем наполовину. А так как кроме утренней перебранки другого общения между сокамерниками почти уже не было, то никто из новичков не знал о прошлом старого каторжанина. Зато они ненавидели его больше, чем других, так как парализованный занимал много места и усиливал общие мучения от тесноты.

С помощью соседей, опираясь на левую ногу, — он ее еще немного чувствовал, — Коженко поднялся и стоял, прислонясь к стене и потирая рукой нижнюю челюсть. Этой челюстью он делал медленные движения, похожие на жевательные. Ссорящиеся смотрели на него пренебрежительно и зло.

— Товарищи! — сказал старый потемкинец глуховатым голосом и с трудом выговаривая слова. — Как вы себя ведете?

Ведь мы тут не уголовники какие-нибудь, а политические заключенные...

— Сталин сказал, что в Советском Союзе не может быть политических преступников, а есть только уголовные! — крикнул от параша один из новеньких.

Это был большой знаток сталинских высказываний и реплик. Совсем еще молодой человек, он давно заметил, что выкрикивание правоверных догм и славословий вождю — ближайший и легчайший путь к карьере. Однако на днях карьера шумливого ортодокса оборвалась. Но своей вере в могущество угоднических и правоверных фраз молодой чинуша-начетчик не изменил и здесь. Даже сидя на параше, он продолжал произносить верноподданнические тирады о непогрешимости НКВД. А здешние разговоры о применении — органами НКВД — насилия при следствии объявил злыми вражескими поклепами.

Он, советский человек, попавший сюда, конечно же, по недоразумению, и слушать-то их не желает. Михайлов сказал как-то, что такому безнадежному совдурaku заткнуть рот по-настоящему может только следовательский кулак. Но того на допрос еще ни разу не вызывали, и он продолжал пыжиться, рассчитывая, видимо, что и здесь о его политическом благонаравии станет известно начальству.

— Если вы честный человек, — несколько раз потерев челюсть, сказал Коженко, — то как же вы можете позволить уравнивать себя с уголовником...

— Мы не хотим слушать провокационных разговоров! — взвизгнул верноподданный.

Неожиданно резко, как от внезапного укола или удара электрическим током, старик вскинул голову и руку. Однако вместо ответа на оскорбление, нестерпимое для старого солдата революции, он издал звук, похожий на резкий и глубокий вздох. Поднятая рука старика упала, а голова начала тяжело клониться на грудь. И весь он, костистый и тяжелый, стал грузно оседать, скользя по стене широкой, одеревенело прямой спиной.

Через несколько минут потемкинец опять сидел на своем месте с опущенной, как всегда, головой, и руками, повисшими вдоль тела. И только когда принесли баланду, оказалось,

что протянуть руки за миской Коженко уже не может. Почти не мог он теперь и говорить. Только раз с огромным усилием и как будто пытаясь проглотить что-то, застрявшее в горле, старый матрос немного приподнял голову и невнятно произнес:

— Зря мы... и тогда, в пятом... и... — он не закончил фразы и уронил голову на грудь. Спустя некоторое время, уже не пытаясь ее поднять, старик глухо повторил: — Все зря... все... — Больше от него никто не слышал уже ни звука.

Фельдшер долго смотрел в кормушку на парализованного, потом куда-то ходил. Вернувшись, приказал вынести его в коридор. Тяжелое тело с трудом пронесли через камеру и положили под стеной за дверь. Затем было слышно, как пришли какие-то люди, подняли больного и понесли его к выходу из коридора. «Лучше бы, наверно, было матросу на царской каторге умереть...» — сказал кто-то из старых арестантов камеры. Эсер Михайлов сидел, прижав ладонь к больному уху и стиснув зубы так сильно, что во впадинах щек дыбилась его седеющая борода. Из-под ладони Лаврентьева, которой он прикрыл глаза, медленно выкатывались слезы. Угрюмо уставился глазами в пол ставший совсем молчаливым Берман.

Белокриницкого почему-то все не переводили в общую тюрьму. Теперь она ему представлялась раем, чем-то вроде обетованной земли. Про Общую говорили, что в некоторых ее камерах сохранились даже нары. Что валетом там укладываться не обязательно и что можно даже лежать на спине. Ночью из камер там никого не вызывают, а днем выводят гулять в специальные дворики на целых десять, а то и пятнадцать минут!

Сроки для перевода в эту тюрьму прошли уже все. Во Внутренней после подписания двести шестой оставляют только тех, чье дело передано в суд Военной. Берман на вопросы Рафаила Львовича недоуменно пожимал плечами. В скольких бы поломках и искусственно вызванных простоях ни оговорил себя бывший главный инженер, все равно его дело по всем признакам подлежит компетенции Спецколлегий.

Древнюю истину, что человек тогда только постигает ценность простейших — они же ценнейшие — жизненных

благ, когда их лишается, Рафаил Львович познавал теперь на себе. Он удивлялся, что прежде не замечал упоительности обыкновенного воздуха. Не знал, что этот бесценный дар природы обладает множеством сладостных оттенков. Вспомнился влажный и терпкий воздух ранней весны, крепкий и острый зимний. Даже летний воздух городских улиц, слегка пахнувший пылью и бензином. А на тихой улице, где высится этот мертвый дом, он пропитан сейчас запахами жасмина и сирени, цветущих за оградой. От одной мысли, что можно дышать таким воздухом, кружилась голова и счастливо замирало сердце.

Вообще представления о счастье здесь упростились до предела, свелись к изначальным ощущениям и образам и почти уже не были связаны со сложностями современной жизни. Если память будоражили воспоминания о запахах, то только самых простых. Того же воздуха, свежего хлеба, чистого тела, свежестыранного белья. Простыми были и воспоминания о цветах и их сочетаниях. Цвета зелени, голубого неба, розового заката...

Все это находилось где-то рядом, совсем близко, но все больше казалось чем-то почти мифическим, отдаленным в бесконечность пространства и времени. Настоящий, единственно реальный мир — это только мир вот этой тюрьмы с его насилием, тупым страданием, неизбывной скорбью, страхом и злобой.

Наступает жаркое южное лето, и солнце все сильнее накаляет асфальт тюремного двора, стены и железные козырьки перед окнами. Люди в переполненных камерах буквально варятся с утра и до ночи. Тело от потницы горит, как смазанное скипидаром. Рубашки, которыми заключенные вытирают пот, стали тяжелыми и скользкими. Прикосновение этих тряпок омерзительно. Поры забиты грязью и не могут более впитывать в себя выделений кожи.

Недавно в камере было сделано удивительное открытие. Оказалось, что грязь и пот, скопившиеся на теле и одежде до невероятной, почти неправдоподобной степени, обладают и одним положительным свойством — способностью убивать насекомых. Вши исчезли начисто. Все до единой они

были убиты выделениями человеческой кожи, оказавшимися в такой концентрации смертельными даже для них.

Однажды в двадцать вторую был втиснут и усажен на обычное место у параша новый болезненно полный арестант, бывший бухгалтер. Его возненавидели сразу и дружно, так как толстяк повысил в камере биологической давление сильнее, чем это могли бы сделать два человека нормального объема. Почти весь день он сидел с открытым ртом, как выброшенная на берег рыба, и дышал с каким-то хрипом и свистом. Ночью новый арестант не мог лежать на левом боку — у него было больное сердце, — и он внес сильное расстройство в строгий порядок поворотов по команде, особенно в переднем парашном углу. Поэтому, когда толстяк в середине дня начинал особенно закатывать глаза и, держась за сердце, бормотать свое обычное «Воздуху, воздуху...», его никто не жалел.

Но на третий или четвертый день сидения в камере к обычному хрипу толстого арестанта добавилось еще какое-то бульканье. Откинувшись назад и запрокинув к потолку три своих подбородка, он тяжело навалился на сидящего сзади. Тот зло пнул его несколько раз в пухлую спину и, наконец, встал. Толстяк упал навзничь, продолжая хрипеть и хватать ртом воздух.

В передней части камеры все поднялись на ноги и потеснились в стороны, чтобы не заслонять лежащего на полу человека от надзирателя, недоверчиво смотревшего в кормушку. Теперь их много развелось, этих охотников придуриваться, чтобы хоть на пару минут быть выведенными в коридор или в уборную. Особенно среди таких вот, пузатых...

После ухода Хачатурова врача в камере больше не было, и за пульсом сердечника следил Берман. Тот продолжал лежать с закатившимися под лоб глазами и дышал все так же тяжело, с прежним свистом и бульканьем.

Вдруг что-то напряглось под рыхлой массой жира, и по ней как будто пробежала волна. Толстяк дернулся, царапнул скрюченными пальцами цементный пол, коротко, как будто с облегчением вздохнул и затих.

— Все! — сказал Берман вставая.

Надзиратель, все время не отходивший от оконца, хмуро посмотрел на умершего еще с минуту и открыл дверь:

– Выноси! – Грузное тело вынесли и положили на то же место за дверью, на котором несколько дней назад лежал Коженко. – Вещи его давайте сюда! – приказал надзиратель.

А к вечеру тот же надзиратель объявил Берману: «Собирайся, с вещами!» По-видимому, бывшего прокурора куда-то увозили, так ни разу и не вызвав его на допрос.

– Куда же это вас, Михаил Маркович? – с тоской спрашивал его Белокриницкий. Многие здесь привыкли к мысли, что Берман должен знать все, даже собственную судьбу.

– Боюсь, что в Москву, на Лубянку, – ответил тот, одеваясь с необычной для него нервозностью. – Меня, видимо, выделяют из общего потока. Высокая честь! – он криво усмехнулся. – Желаю вам выбраться отсюда, а мне уж, видно, это никак не удастся...

Бывший прокурор протянул руку Рафаилу Львовичу, может быть, ту самую, которая подписала приказ о его аресте. Но если бы даже Белокриницкий был в этом уверен, то и тогда бы он не питал никакой злобы к Берману. Он знал теперь, что прокурор вовсе не машинист машины беззакония и произвола, а всего лишь ее деталь. И скорее, бутафорская, чем рабочая. Сама же машина взбесилась, шла, казалось, вразнос, как говорят механики о потерявших управление механизмах.

Открылась дверь, за которой стоял сам дежурный по тюрьме. Это подтверждало предположение Бермана, что его забирают на дальний этап. Он показал на дежурного глазами, усмехнулся своей грустно-иронической усмешкой и вышел.

В коридоре прозвонил сигнал отбоя. Еще один день прошел, мучительный, тягучий, как все они теперь. Наступила ночь.

Какой желанной избавительницей была бы она, пусть временной, от тоски, горьких мыслей, физических страданий, если бы несла с собой покой и сон. Но даже сейчас, в одиннадцатом часу вечера, дышать в камере было все еще нечем. Где-то там, за этими раскаленными стенами, стоит благодатный майский вечер. А здесь от зуда разъедающей кожу потницы, от чувства омерзения и животной тоски хотелось кричать, выть, бессмысленно куда-то рваться.

На грани нервного срыва находились теперь многие из заключенных Внутренней. Некоторые эту грань переходили. Порядок и тишина тюрьмы все чаще нарушались ее обитателями, доведенными до состояния истерического буйства. Начиналось это обычно с того, что в какой-нибудь из камер кто-то начинал что-то выкрикивать. Сразу же слышался стук кормушки и сердитый окрик надзирателя. Помогало, однако, это редко, остановить начавшуюся истерику непросто. В помощь коридорному прибегали какие-то люди, слышался лязг отодвигаемых запоров и взбунтовавшегося арестанта вытаскивали в коридор. Было слышно, как в рот ему запихивают «грушу» — так назывался усовершенствованный кляп, пустотелый резиновый предмет, расширяющийся к переднему концу. Потом нарушителя порядка волокли куда-то, вероятно, в карцер. Однако быстро справиться удавалось далеко не со всеми. На днях одного, впавшего в буйство, не могли скрутить очень долго. Видимо, очень сильный человек, он все вырывался и кричал: «За что? За что?»

Несмотря на все мучения и ощущения мерзостности, тревожное подобие сна все-таки наступало. Уже не так остро ощущалось жжение на коже и ноющая во всем теле боль от многочасового сидения в неизменной позе. Правда, скоро она сменится новой болью, уже от неудобного лежания, но пока, по крайней мере, до первого стука кормушки, предстояло короткое забытие. В дальнем конце коридора гулко бухнула дверь, значит, ночные вызовы на допросы уже начались.

— Ста-а-ли-и-ин! — вдруг зычно прокатился по коридору чей-то крик. — Слышишь ли ты меня, Ста-а-лин?..

От выхода в следовательский корпус пробежали три человека. Вероятно, это были сорвавшийся при вызове на очередной допрос арестованный, его конвоир и коридорный надзиратель. Тюремщики настигли взбунтовавшегося арестанта в тупике коридора, и началась обычная возня с его скручиванием. Но двух человек для этого оказалось совершенно недостаточно, и истерик продолжал кричать неправдоподобно громко. В безмолвной тюрьме казалось, что этот крик преодолевает все стены и все перекрытия.

— Партию истребляют, Сталин... — со стороны выхода на лестницу послышался топот еще нескольких пар ног:

к усмирителям спешила помощь. — Враги народа не в тюрьмах, Сталин!.. Они... — крик перешел в мычание и вдруг снова вырвался хриплым, как звериный рев, воплем, — ...они в энкавэдэ. Ста... — и захлебнулся. Потом грузно протопали люди, тащившие что-то тяжелое. Где-то недалеко лязгнула железная дверь, и все стихло.

Нервно дрожа, люди вслушивались в наступившую тишину. Белокриницкий чувствовал, что и он поддался нервному возбуждению, которое вот-вот могло стать неуправляемым. Так вот как, оказывается, возникает состояние тюремного психоза, о котором ему приходилось читать прежде. Читать не без интереса, но и без намека на мысль, что это может когда-нибудь коснуться и его самого.

— Товарищи, — сказал кто-то из сидевших под передней стеной, — а батарею-то выключили!

Все, кто был ближе, потянулись руками к орудию пытки, в которое был превращен здесь этот безобидный предмет. Верно, радиатор начинал остывать. Наверно, тюремщики поняли, что если все арестованные сойдут с ума, то следователям не с кого будет получать столь необходимые для чего-то их собственноручные признания в несовершенных преступлениях.

Жара в камере заметно спадала. Это было радостное событие, разрядившее атмосферу нервного напряжения. Доведенное до предела, оно часто приводит психику в состояние, подобное неустойчивому равновесию. И в зависимости от направления небольшого толчка извне может наступить либо буйство, либо успокоение.

Рафаил Львович уснул так крепко, как ни разу еще не засыпал здесь. Он не слышал ни шелканья кормушки, ни вызова на «бэ».

— Белокриницкий, вас! — тряс его за плечо сосед. — Ишь, угрелся!

Надзиратель сердито смотрел в кормушку. Видимо, он не был приучен вникать в смысл ставших привычными слов: «Собирайся живей!» и почти сразу же открыл дверь. За ней ожидали не один, а два конвоира. Вот оно что, его поведут сейчас на суд свирепой Коллегии!

Белокриницкий давно уже старался приучить себя к мысли, что его дело назначено к рассмотрению именно

этим судом, хотя и не мог понять почему. Берман, правда, высказывал предположение, что дело Рафаила Львовича могли отнести к разряду особо важных в результате обработки, которой подвергаются в НКВД показания арестованных. При этой обработке, целью которой является составление обвинительного заключения, главного документа при передаче дела в суд, муха, как правило, превращалась в слона. Белокриницкий знал, что «слона» в свои показания он уже заложил. Помноженный на усердие составителей обвинилки, этот слон действительно мог превратиться в целого левиафана. Соответственно суровым может оказаться и приговор, включая полную катушку — двадцать пять лет. Однако не все ли равно? Ведь и такой приговор будет основан на том же вздоре, который обвиняемый подsunул энкавэдэ. И как бы ни трансформировали этот вздор тенденциозные, но недалекие «фонэ квас», и какими грозными ни казались бы они сами, все равно любой их приговор будет сооружением, под которое осужденный ими человек подвел фугас, начиненный мюнхаузенской белибердой, смехотворной выдумкой.

И все-таки, несмотря на эту психологическую подготовку, сейчас повторялось то же, что происходило при вызове на первый допрос. Разумные рассуждения и выводы почти не умеряли неодолимой нервозности, вызывавшей бестолковость и ненужную торопливость при сборах на выход. Их усиливали еще и нетерпеливые понукания надзирателя, стоявшего на пороге. Снова была нервная дрожь в руках и раздражающая война с веревочками. Немало хлопот доставила рубашка. В жару мокрая и осклизлая от пропитавшей ее грязи, сегодня она подсохла и сделалась жесткой, как лубяная. При напяливании рубашка трещала и больно царапала воспаленную кожу. Хорошо еще, что по чьему-то толковому совету Рафаил Львович перетер о ребра отопительной батареи и оторвал проклятые манжеты. То, что было когда-то крахмальной сорочкой, превратилось теперь в гнусного вида тряпку, по цвету напоминавшую побуревший, давно не чищенный сапог. Путаясь в своей одежде и наступая на лежащих соседей, Белокриницкий, наконец, кое-как оделся и шагнул к порогу. Конвоиры за дверь схватили его за концы рукавов пиджака

и, скручивая их до боли в запястьях, потащили арестованного к выходу так быстро, что он за ними едва поспевал.

В глаза Рафаилу Львовичу, когда его ввели в эту комнату, ударил яркий и резкий свет. Под потолком большой тюремной камеры с двумя зарешеченными окнами горела мощная электрическая лампа, свечей в пятьсот. Белокриницкий плотно зажмурил глаза – прикрыть их рукой было невозможно, так как конвоиры по-прежнему продолжали держать его за рукава. Зачем они держат? И зачем понадобился здесь такой свет, особенно нестерпимый в первые минуты для тех, кто недели и месяцы провел под тусклой запыленной лампочкой камеры? Может быть, это очередное средство воздействия на заключенного?

Нервное возбуждение на этот раз прошло довольно быстро. Помогало сознание, что физическое страдание, по крайней мере, непосредственно сейчас, ему не угрожает. Обычной зоркости взгляда и трезвости мысли Белокриницкого очень способствовал также короткий, но крепкий сон в камере.

Никакого барьера, за которым обычно сидят подсудимые, и даже знаменитой скамьи тут не было. Конвоиры отвели только Рафаила Львовича немного в сторону от двери, не выпуская его рукавов из своих рук, и почти вплотную приставили к стене. Напротив, в некотором отдалении стоял в камере стол, за которым, сверкая ромбами в петлицах и эмблемами военных юристов, восседали трое. В стороне, за небольшим столиком, сидел и что-то писал четвертый, щеголеватый офицер с небольшими усиками. Кроме этих двух столов и четырех стульев, никакой мебели в помещении не было.

Так вот какая эта грозная Коллегия! Вид у судей был усталый, угрюмый и хмурый. Ничего хорошего от таких ждать, конечно, не приходится. Однако они даже не игроки в игре, которую затеял с «фонэ квас» Белокриницкий, а шахматные фигуры, почти пешки. Инициатива в этой игре и последний решающий ход по-прежнему остаются не за ними, а за жертвой, отданной на их произвол. Смелость мысли, свойственная Рафаилу Львовичу, никак не сочеталась в нем со смелостью духа. И все-таки ему удалось настроить себя на почти юмористический лад. Вспомнилась народная сказка, герой которой делает отчаянную ставку в карточной игре с нечистой силой,

недоброжелательной, но недалекой. Разве не напоминает он сейчас этого персонажа, противопоставляя свою маленькую хитрость непомерно громадной и злой силе НКВД?

Но сколько ни подбадривай себя уверенностью в благополучном исходе задуманной игры, трудно избавиться от ощущения невольной жути, которую навевает обстановка ночного судилища. Мрачная пустая комната в безмолвной юдоли скорби, как называл тюрьмы НКВД один старик-адвокат, утрюемые конвоиры, которые будто боятся, что подсудимый вырвется из их рук и бросится на своих судей. А главное, сами они, эти судьи, особенно сидящий посередине худощавый старик с бритой головой и узким морщинистым лицом. Оно кажется пугающе жестким и непреклонным. Но может быть, такое впечатление производят резкие морщины, которые расположены на лице председателя Коллегии почти только вертикально?

Председательствующий поднялся со своего места.

— Подсудимый, назовите вашу фамилию, имя, отчество! — голос главного судьи звучал резко, враждебно и отчужденно.

Белокриницкий назвал.

— Вас судит Военная коллегия Верховного Суда СССР. Подтверждаете ли вы показания, данные вами на предварительном следствии?

Да, подсудимый их подтверждает.

Больше никаких вопросов задано не было. Председатель взял со стола отпечатанную на машинке бумагу:

— Зачитывается приговор по делу Белокриницкого Рафаила Львовича...

От бывшего прокурора Белокриницкий знал о Военной коллегии почти все. Судоговорение на ее заседаниях сводится, собственно, к объявлению уже готового приговора. Приговор подготавливается заранее и к заседаниям всех других судов по контрреволюционным делам. Но там хоть изображается судебное следствие. Здесь же даже это считается излишним. Оно и правильно, ломать комедию, так уж поскорей! Непонятно только, для чего вообще нужен этот вызов подсудимого пред лицо грозного судилища? Неужели только для того, чтобы продемонстрировать перед ним его внушительный вид?

а председатель продолжал читать приговор своим резким, каким-то жестяным голосом:

— ...Рассмотрев дело по обвинению... в совершении преступлений, предусмотренных пунктами 11 и 7 статьи 58 Уголовного Кодекса...

Конечно же, уважаемые «фонэ квас», подсудимый виновен по этим грозным пунктам грозной статьи. Это ведь он до неузнаваемости изуродовал плавную кривую синусоиды и по злому умыслу озорно раскручивал мощные турбогенераторы, как детские волчки...

— ...на основании данных предварительного и судебного следствия...

Судебное следствие — это, по-видимому, те два вопроса, которые были только что заданы подсудимому. Впрочем, даже они всего лишь дань архаической форме. Если бы эти судьи могли освободиться от своего казенного фарисейства, то этот приговор они должны были бы начать примерно так: «Такой-то, признавшийся на пытке (или под страхом пытки) в совершении преступлений, которых он не совершал, но мог бы совершить в силу своего классового происхождения, приговаривается...» Человек в изжеванной одежде, заросший и грязный, зажатый между двумя вооруженными конвоирами, продолжавшими держать его за руки, смотрел на своих судей почти насмешливо. Хотя именно про него говорилось в приговоре, что этот человек:

— ...состоял в тайной преступной организации, ставившей целью подрыв оборонной мощи Советского Союза средствами экономической контрреволюции. Белокриницкий активно занимался вредительской деятельностью в области производства электрической энергии с помощью особых, им же изобретенных и научно разработанных методов...

Поди ж ты, «научно разработанных»... Лестно. Михаил Маркович прав. На Коллегию он попал из-за усердия составителей обвинительного заключения.

— ...позволяющих получить исключительные по своему отрицательному влиянию на народное хозяйство результаты.

Несмотря на усилия сохранить к происходящему внутренне насмешливое отношение, Рафаил Львович чувствовал, что состояние наигранной бравады постепенно уступает место

ощущению тяжелого предчувствия и безотчетного страха. Конечно – это гипноз слов тяжелого обвинения, зачитываемого металлическим голосом судьи с лицом инквизитора. Но надо помнить, что этот судья лишь чванный болван, повторяющий бессмыслицу, сочиненную самим подсудимым. Не поддаваться пугающему действию грозных слов, не терять присутствия духа!

—...на протяжении ряда лет вредительские мероприятия бывшего главного инженера энергетического объединения приводили к невыполнению государственных заданий рядом отраслей промышленности, в том числе тяжелой, в масштабе одного из крупнейших индустриальных районов страны...

Здорово же, однако, трансформировали судейские крючкотворцы его дурацкий пилообразный ток! Сам изобретатель этого тока и отдаленно не мог представить себе, что из его изобретения можно сделать так далеко идущие выводы... Внутренняя бравада все еще цеплялась за самоуверенность шахматиста, припасшего напоследок решающий ход. Однако заглушать чувство нарастающей тревоги становилось все труднее.

—...особый вред действия инженера Белокриницкого причинили предприятиям машиностроительной и оборонной промышленности...

И оборонной! Так вот почему его судит Военная!

«За вредительство в оборонной промышленности, — сказал как-то бывший прокурор, — суд Военной коллегии и почти неизбежный расстрел».

Расстрел! С ужасом, который он испытывал прежде только в кошмарных снах, Рафаил Львович вдруг понял страшную своей простотой возможность вынесения ему смертного приговора. И этот приговор, возможно, уже записан в бумаге, которую читает сейчас председатель суда, знаменитого своей беспощадностью! Исполнение его решений почти неотвратимо, так как они не могут быть обжалованы.

Мысль о возможности быть осужденным на смерть пришла Белокриницкому в голову ни при обдумывании и написании им своего сочинения, ни даже потом. Только теперь он понял по-настоящему, что, развивая забавную своей

абсурдностью идею выдуманного вредительства, он слишком увлекся и переиграл. Проявил непростительное недомыслие, возможно, роковое, не подумав, что техническая нелепость его показаний не может помешать последователям и ученикам Вышинского использовать их как предлог для раздувания на бумаге несовершенных преступлений — уже в экономическом и политическом планах. Когда имеешь дело с убийцами, надо мыслить категориями жизни и смерти, а не заниматься измышлением технических нонсенсов! Но откуда, впрочем, мог знать он об этом прежде?

А может быть, все-таки все происходящее сейчас только ночной кошмар? И как всегда, когда ужас сновидения достигает своего предела, наступит пробуждение? Но нет! Слишком часто, особенно в свои первые ночи в тюремной камере, Рафаил Львович вызывал у себя иллюзию, что он видит только тягостный, мучительный сон, который вот-вот сменится радостью реальной жизни. Но такую иллюзию ему удавалось внушать себе все реже, и уже довольно давно он совсем утратил эту способность. И пустая, гулкая комната с высоко прорезанными зарешеченными окнами, и этот чтец приговора, напоминающий мрачные карикатуры Гойи, и охрана, держащая за руки изнемогающего от охватившего его смертельного страха подсудимого, — все это было жестокой, хотя и совершенно неправдоподобной, реальностью.

От насмешливого пренебрежения к словам приговора не осталось ничего. Теперь Белокрыницкий старался не упустить малейшего смыслового оттенка каждого из них, вслушиваясь даже в интонации, с которыми произносил эти слова председатель суда, и трепеща перед ним.

—...в частности, в тысяча девятьсот тридцать... году подсудимому удалось вызвать длительный простой важнейшего технологического оборудования завода номер... и сорвать своевременную поставку этим заводом наркомату Оборонны танков новейшей конструкции...

Слова уже не просто неприятно дребезжали, как вначале, а гремели, подобно камням горного обвала, несущего неотвратимую гибель. И он, Белокрыницкий, сам нагромоздил первые из них на вершине горы. Убийцам из НКВД оставалось только столкнуть его на эти камни.

—...на основании вышеизложенного и руководствуясь... статьями... При особо отягчающих вину обстоятельствах, приговорить...

Пружина внутреннего напряжения не выдержала непосильной нагрузки и сломалась. Тело сразу стало пустым и бессильным. Исчезла способность мыслить. Остался только животный ужас перед последними словами приговора, как перед ударом уже занесенного топора. И еще бессильный протест против этих слов, в сущности, уже известных. В обреченном человеке проснулась острая и мучительная жажда жизни, как будто внутри его безвольно обмякшего тела кто-то отчаянно бился и кричал: «Не надо, не надо!»

— ...к высшей мере наказания, расстрелу. — Топор опустился. И уже только как лишний удар для вящей верности: — Приговор окончательный и обжалованию не подлежит!

— Осужденный, — голос председателя Коллегии доносился слабо и глухо, как через толстый слой ваты. — Вам предоставляется право сделать суду последнее заявление!

Человек, который теперь уже не стоял, а почти висел на руках своих конвоиров, с усилием поднял голову и беззвучно пошевелил губами. К нему подошел секретарь суда, услужливо поднес осужденному папку, на которой лежал небольшой, уже заполненный бланк, и вложил в бессильно повисшую руку обмакнутое перо. Надо было расписаться в объявлении приговора. Человек невидяще посмотрел на бумагу, вялым движением сомнамбулы царапнул на ней что-то вроде длинной запятой и тут же выронил ручку. Секретарь ловко подхватил ее на лету, но досадливо поморщился. Прокатившись по расписке, перо оставило на бумаге широкий неряшливый след.

— Вы можете сделать суду заявление! — уже с интонациями настойчивости и нетерпения повторил председатель. Здесь пренебрегали главным, что относилось к существу правосудия, но тем ревностнее соблюдали те из его форм, которые, особенно в нынешних условиях, ни к чему не обязывали вершителей несправедного суда.

Осужденный опять поднял голову.

— Это сам я... сам... фоне... — он говорил невнятно и глухо.

И секретарь не разобрал странного слова:

— Говорите яснее, осужденный!

Но тот только посмотрел куда-то сквозь вылощенно-го протоколиста своим невидящим взглядом и снова уронил голову. Секретарь недоумевающе пожал плечами и вопросительно взглянул в сторону председателя Коллегии. Однако главный судья был уже занят бумагами очередного дела и равнодушно махнул рукой в сторону двери.

Вытаскивая осужденного в слабо освещенный коридор, один из его конвоиров крикнул:

— Расстрел!

— Расстрел! — как эхо отозвался солдат, стоявший у порога на лестницу.

— Расстрел... — донеслось откуда-то снизу.

Введение этого ритуала, изобретенного где-то в недрах ведомства Ежова и Вышинского, формально оправдывалось тем, что конвой заранее предупреждал таким способом о степени необходимой бдительности и строгости в обращении с осужденным. В действительности это была просто садистская выдумка, долженствующая подчеркнуть перед приговоренными к смерти суровую неизбежность расправы.

Однако осужденный вряд ли слышал эти возгласы. Конвойные уже не вели его, а волокли, как тащат куль. При спуске по лестнице один ботинок разоблаченного и обезвреженного врага народа дробно постукивал по ступеням, другой, плохо зашнурованный самодельной веревочкой, свалился с ноги, и его нес в свободной руке один из конвойных. Они миновали дверь полуподвального этажа, из которого четверть часа назад вывели этого человека, и потащили его куда-то ниже. Там уже предупредительно лязгали тяжелые засовы на железной двери. Отделение смертников, размещавшееся в подземном коридоре внутренней тюрьмы, было готово принять свое очередное пополнение.

Оранжевый абажур

Ирина расписывала прозрачными водяными красками самодельный абажур золотисто-желтого крепдешина, копируя картинки из книжки сказок Чуковского. Рисовала она хорошо.

— Мам, а это кто?

— Я же сказала, Оленька, крокодил.

— Къёкодил?

На самодельном коврике над детской кроваткой бодались упрямые козлики. С фотографических портретов в натуральную величину тарашили глаза Олины приятели. Оригиналы присутствовали тут же: кот, сидя чуть в сторонке, снисходительно прищурившись, наблюдал за работой Ирины, боксер морщил с порога сердитую, курносую морду. Вход в детскую ему был воспрещен.

Из взрослых предметов, кроме стула, здесь находилась только узенькая девическая кровать Ирины. Но и она была застлана смешным лоскутным одеялом. А небольшой старинный гобелен на стене изображал пушистого котенка, лапку которого защемил клешней длинноусый черный рак, сидящий в корзинке, куда сунулся любопытный малыш.

Старинные часы в соседней комнате гулко и переливчато проббили один удар. Это означало половину восьмого. Ирина заторопилась, заканчивая раскраску. Алексей час назад позвонил из института и предупредил, что сегодня вернется с работы рано, в восемь часов. Она вздохнула. На его языке это называется — рано!

Лепет и бесконечные вопросы дочки Ирина слушала рассеянно и отвечала невпопад. Минутный разговор по телефону

пробудил в ней то состояние тревоги, в котором она находилась теперь почти постоянно, хотя боролась с ним и скрывала от мужа. На вопрос о причине его чрезмерной усталости Алексей ответил не сразу, а после тяжелой паузы: «Об этом потом... расскажу дома...»

Уже больше трех лет, как они муж и жена. Безнадежный старый холостяк, профессор Трубников, руководитель большого научного отдела в крупнейшем научно-исследовательском институте и молодая переводчица-референт того же института. Ирина Николаевна моложе Алексея Дмитриевича на пятнадцать лет. Живая и веселая, она — прямая противоположность хмурому и внешне необщительному мужу. Многие до сих пор считают, что, несмотря на переход к семейной жизни, Трубникова по-прежнему интересуют только книги, работа в лаборатории и машины. Но мало кто знал, что неизрасходованный до сих пор запас суровой доброты и нежности в этом человеке почти безраздельно достался его жене и дочери.

Что же случилось там, в институте, отчего у Алексея изменился голос? В физико-техническом происходило теперь то же, что и всюду — арестовывали людей. Если человек не являлся утром на работу, сотрудники молча переглядывались, кто-нибудь спускался в вестибюль и украдкой смотрел на табельную доску. Если жетон был на месте — не исключалась болезнь и другие житейские причины неявки. Но если исчезал и жетон, никаких разговоров и расспросов об этом человеке быть не могло.

Последняя волна арестов прокатилась по институту месяц назад. Тогда в одну ночь исчезли все ученые-немцы, бежавшие в СССР из гитлеровской Германии. Года три как эти ученые приняли советское подданство. В институте тогда устраивались торжественные вечера, им подносили подарки, адреса и цветы. Все иммигранты получили хорошие квартиры и условия для научной работы. А теперь арестовали даже их жен. Даже ту, русскую, которая вышла замуж за одного из немцев уже здесь года два назад.

Обычная внутренняя дисциплина помогла Ирине закончить абажур и даже показать Оленьке как светятся картинки, когда внутри горит лампочка. Для этого пришлось перевернуть колпачок и поднести его к висячей лампе снизу.

Картинки были видны вверх ногами, но и так они привели девочку в восторг. Она радостно прыгала, выкрикивая: «Къёкодил, къёкодил...»

Ирина собирала на кухне ужин, когда на короткий звонок в переднюю помчались наперегонки Оля и боксер. Рослый, широкоплечий и чуть сутулый Алексей Дмитриевич казался осунувшимся и больным. Он отстранил собаку, почти машинально приласкал девочку, лепетавшую что-то про кродила, и устало опустился в кресло, стоявшее в передней.

— Сегодня ночью арестован Николай Кириллович. — Голос звучал хрипло, как у простуженного.

Николай Кириллович Ефремов — директор их института, академик, близкий и старинный друг Трубникова.

— Но как же?.. — Несмотря на смутное и не высказываемое вслух ожидание этого ареста, известие было тяжелым ударом и для Ирины, но ее изумление относилось к другому: она была в институте до конца рабочего дня, но ничего не слышала о том, что директор взят.

Это объяснялось просто. Было известно, что Ефремов должен выехать ночным поездом на несколько дней в Москву. Провожать себя на вокзал Николай Кириллович никогда не позволял, и все думали, что он уехал. Действительную причину отсутствия Ефремова кроме спецчасти знал, вероятно, только Вайсберг — секретарь партийной организации института, с лица которого весь день не сходило выражение плохо скрываемого торжества.

Вайсберг был вечный аспирант, выдвинутый несколько лет назад в аспирантуру по комсомольской линии. В бытность студентом электротехнического института он входил в состав вузовского треугольника. Это дало ему возможность не отягощать себя даже тем анекдотическим минимумом знаний, которым могли обеспечить тогдашние дальтон-планы¹ и бригадные методы обучения.

Из райкома партии и даже горкома не раз намекали руководителям ФТИ, что подход к оценке формальных данных, необходимых для присвоения ученой степени руководящему

¹ Дальтон-план — система, при которой учащимся предоставлялась свобода в использовании учебного времени, название получила от г. Долтон (Dalton) в США. В 20-е годы эта система использовалась в СССР под названием бригадного метода.

партийному работнику, не может быть таким же, как и для других ее соискателей. Но невежество Вайсберга выходило за все границы, и он уже два раза провалился на защите кандидатской диссертации.

Мелкий и неумный человек, Вайсберг считал главной причиной своих неудач засилье в институте чуждых элементов. Коньком объединившихся вокруг партийного секретаря невежественных карьеристов и бездарных тупиц теперь стала бдительность.

— А когда же ты узнал о... Николае Кирилловиче?

Трубникову позвонила жена Ефремова. Около шести вечера и с уличного автомата. Целый день не решалась это сделать — боялась, что телефонный разговор подслушают и она может навлечь на своих друзей обвинение в сочувствии к арестованному. «Конспирантка...» — криво усмехнулся Алексей Дмитриевич.

Ирина встала:

— Я схожу к Марье Васильевне.

— Не надо. Я только что от нее.

В квартире Ефремовых разгром. Пол в кабинете Николая Кирилловича сплошь устлан его книгами и бумагами. Ящики и шкафы выпотрошены. Мария Васильевна рассказывая, что произошло ночью, все время извинялась, что не прибрано. Домработницы они не держат, а сама она с раннего утра отправилась в областное управление НКВД. Долго сидела в очереди к дежурному по Управлению, но очень довольна его приемом. Любезный человек, культурный и вежливый. Сказал, что если Ефремова уверена в невинности своего мужа, то ей и беспокоиться нечего. Он вернется, как только недоразумение выяснится. На вопрос о передаче ответил, что тюрьма передач не принимает, так как обеспечивает арестованных решительно всем необходимым. Но деньги, до пятидесяти рублей, она перевести мужу может. Это на папиросы, зубной порошок и тому подобную мелочь, которую арестованные приобретают в тюремной лавке.

Сообщение о лавке подействовало на старушку особенно успокоительно. Она сразу же узнала, где и как переводятся

деньги в тюрьму НКВД, и уже сделала это. Мария Васильевна всегда была недалеко, но удивительно деловой и расторопной женщиной.

— А как Николай Кириллович?

— А он, по словам жены, был очень испуган, подавлен и растерян. Во время обыска имел вид обреченного и уходил как на казнь. Сказал в дверях: «Прощай, Маша. Не поминай лихом». Но Марья Васильевна даже не заплакала. Считает все происшедшее каким-то недоразумением, которое непременно и скоро выяснится. Особенно убедил ее в этом разговор с дежурным офицером.

— А может быть, оно и в самом деле так?

Трубников покачал головой. Это можно было бы предполагать, будь арест Ефремова единичным или хотя бы редким явлением. Но аресты теперь носят массовый характер. Их лавина катится, непрерывно наращиваясь, уже много месяцев. Такие действия не могут быть результатом недоразумения или ошибки. Против подобного допущения говорит и та закономерность, которая, хотя и смутно, улавливается в действиях НКВД. Эта закономерность, правда, не только ничего не объясняет, но делает политику репрессий совершенно непонятной, если пытаться определить ее конечную цель. Ведь хватают, как правило, самых ценных и нужных стране людей. Вот и в их институте почти все арестованные — талантливые и эрудированные ученые и инженеры. Напрашивается нелепый, но несомненный пока вывод — деловая ценность и есть тот главный признак, по которому отбираются жертвы НКВД. Есть и другие признаки, менее общие. Например, социальная или национальная принадлежность. В этих случаях критерий деловой ценности выражен менее отчетливо, но все равно почти всегда он проявляется. Не было заурядных работников ни среди немцев, которых в их институте не осталось ни одного, ни среди людей чуждого социального происхождения, из небольшого числа которых сегодня на свободе один только он, Трубников...

Алексей Дмитриевич говорил медленно и глухо, как будто с трудом подбирая и произнося слова. Арестовывают, правда, и не иностранцев, и никаких не бывших, и никак уж не корифеев, а просто молодых, начинающих ученых. Но и тут тот же закон — бездарным и посредственным ничего

не угрожает. И вовсе не потому вне опасности Вайсберг и его компания, что на всех перекрестках они трубят о своей преданности и бдительности, состоят в партии и комсомоле. Среди арестованных есть члены большевистской партии с дореволюционных времен. Тот же Ефремов состоит в ВКП(б) с середины двадцатых годов. Даже эпопея знаменитой Промпартии обошла его стороной...

Сердце Ирины сжималось от тоскливого страха. Ее Алексей подходит под все признаки, по которым выхватывает из жизни людей какая-то непонятная, но жестокая и неотвратимая сила. Он — выходец из дворянской семьи, сын высокопоставленного царского чиновника, много лет находился в эмиграции. Крупный ученый, известный далеко за пределами Союза своими работами по физике низких температур.

Стыл на столе нетронутый ужин. Ирина сделала над собой усилие. Надо идти кормить и укладывать Оленьку. Вот и сама она выкатилась из своей комнатки с цветастым абажуром в руках: «Пап, повесь кьёкодила...»

— Алеша, повесь, пожалуйста. Я обещала Оле, что ты это сделаешь.

Алексей Дмитриевич очнулся от тяжелых мыслей, увидел расписной колпачок, который протягивали ему две маленькие ручонки, и невольно улыбнулся. Тяжело поднялся с кресла и прижал к себе дочурку:

— Что ж, пошли искать монтерский инструмент...

Ирина уступила просьбам Оленьки не гасить сегодня лампочку под волшебным абажуром, пока она не уснет. Это было нарушением правил, и мать ожидала, что ребенок долго не будет спать. Получилось, однако, наоборот. От пристального разглядывания светящихся картинок и цветных теней глаза у девочки утомились и начали неодолимо слипаться даже раньше обычного. Не помогло и отчаянное сопротивление. Девочка удерживала полуоткрытым один глаз. Он никак не мог оторваться от размытого, но такого интересного изображения в углу под потолком. Зубастый и зеленый Крокодил Крокодилович в углу перешел уже на другую стену, а его хвост, Кокоша и Тотоша еще оставались на прежней. Девочка попыталась показать на забавные тени ручкой: «Кьёко... кьё...» — но и второй глаз закрылся совсем, а ручка беспомощно упала.

Ирина долго, не отрываясь, смотрела на уснувшего ребенка. К чувству материнской нежности давно уже примешивалась горечь тревоги и обиды на что-то тупое и злобное, что мешало работать, спокойно жить, растить детей. Сегодня это чувство было особенно острым и сильным.

Обычно Трубниковы долго работали по вечерам. Он — в своем кабинете, она — в спальне над переводом или рукоделием. Но сегодня они сидели вдвоем за столом. Ужин так и остался нетронутым. Молчали и думали каждый об одном и том же. Старые часы на стене мелодично вызванивали час за часом. Ирина подошла и обняла его голову с седеющей на висках, но еще густой шевелюрой:

— Алеша, ты знаешь... Я с тобой всегда, до конца... Что бы ни случилось...

Он накрыл своей большой ладонью ее маленькую руку, но опустил голову еще ниже. Она знала, что теперь надо уйти, оставить его одного.

— Спокойной ночи, Алеша...

Но именно покоя и не было сейчас. Ирина лежала на своей узенькой кровати почти рядом с ребенком, безмятежное дыхание которого было едва слышно. От мысли, что в любую минуту страшный звонок в передней может разорвать тишину квартиры, она вся холодела. Чувствовала, как цепенеет от ужаса.

Алексей Дмитриевич тоже не спал. Он думал о Ефремове, о своей давней дружбе с ним — их связывала многолетняя общая работа, о своей нелегкой и сложной жизни. Пытался определить, сумел ли он довести до конца что-нибудь из задуманного. Выходило, что почти ничего. Всюду Трубников чувствовал себя начинающим, несмотря на прожитые сорок три года, — в своей науке, в создании громадной лаборатории, в написании капитального научного труда. Даже в семейной жизни. Шевельнулось чувство запоздалого сомнения, не совершил ли он ошибки, изменив принятому в молодости решению навсегда остаться одиноким? Тогда не было бы тепла супружества и отцовства, согревших его суровую жизнь, но не было бы и гнетущего чувства ответственности за судьбу своих близких. Что как не малодушие могло быть источником подобных сомнений? И усилием воли он отбросил эту мысль.

Как солдат перед безнадежным сражением, из которого он не надеется выйти живым, Алексей Дмитриевич мысленно надевал на себя белую рубашу.

Трубников происходил из старинного дворянского рода, помнившего еще допетровские времена. Особенности его характера и мировоззрения складывались из унаследованных родовых черт и фамильных традиций с одной стороны, и влияния собственной нелегкой трудовой жизни с другой. Было кое-что и от европейского Запада, где Дмитрий Алексеевич провел в эмиграции много лет.

Его отец служил до революций «по ведомству императрицы Марии», как выражался сам Дмитрий Алексеевич. Это было одно из самых архаичных по духу и форме организации учреждений дореволюционной России. Оно ведало вопросами женского образования и воспитания в империи.

Служба в отживающем свой век ведомстве, несмотря на довольно высокий пост, не приносила ни особых доходов, ни влиятельного положения в свете. Может быть поэтому, а скорее вследствие застарелой болезни сердца, усилившей некоторые врожденные черты характера, Дмитрий Алексеевич был склонен к мизантропии, несколько деспотичен, и на будущее России смотрел мрачно. Ему не нравилась распушенность черни, рост влияния купцов и фабрикантов, падение политического престижа дворянства, связанное, как он думал, с духовным оскудением этого сословия.

Такие взгляды вполне соответствовали затхлой атмосфере ведомства, находящегося под покровительством царственных особ женского пола. Но во всяком другом департаменте Трубников непременно прослыл бы ретроградом.

Главными фамильными чертами рода, к которому он принадлежал, были вспыльчивость, упрямство и не всегда оправданная прямолинейность в отношениях с окружающими. Эти качества и были главной причиной того, что большинство Трубниковых не преуспели ни в служебной карьере, ни в личной жизни. А многие из них бессмысленно и преждевременно погибали.

Отец Дмитрия Алексеевича – морской офицер, служивший в Черноморском флоте во времена Нахимова, – по вздорному поводу поссорился с командиром своего корабля. За оскорбление его действием он был разжалован в рядовые и убит в рукопашном бою при защите Севастополя. Дед погиб на Кавказе, куда был сослан за убийство на дуэли. Двое из Трубниковых пали, как рабы чести. Глухое семейное предание хранило память и о тех в их роду, яростная реакция коих на события доводила их до желтого дома.

Дмитрий Алексеевич был первым из Трубниковых, вступившим на гражданскую службу. Но чиновничья карьера, хотя она была довольно успешной, не доставляла ему настоящего удовольствия. Не радовал старика и единственный сын Алексей. И не потому, что не соответствовал традиционным представлениям о достоинстве рода. Скорее наоборот. Алексей слишком уж по-трубниковски был упрям и дерзок. Худшее же состояло в том, что свою настойчивость и незаурядные способности он обратил не на служение Престолу и Отечеству, как о том мечтал отец, а вбил себе в голову, что должен стать инженером. Старший Трубников не то чтобы презирал технику, скорее, он только ее чуждался. Считал делом разночинцев, черной кости. Место дворянина в государстве – другое.

В гимназии Алеша заинтересовался физикой. Все из-за учителя, который сам увлекался физическими опытами и сумел привить любовь к ним некоторым своим ученикам. Сверстники Алексея из старших классов уже поглядывали на барышень, пощипывали чуть пробивающиеся усики, увлекались всяким там декадансом, а он с парой еще таких же чудаков-гимназистов и своим учителем пропадал в физическом кабинете гимназии.

Окончил он ее без особого отличия. По многим предметам, особенно по латыни и греческому, отметки были посредственные. Неизменные пятерки Алеша получал только по физике и математике. И, тем не менее, отец мог бы определить его не только на юридический факультет университета, но даже в Пажеский Корпус – мечту родителей и сынков из куда более знатных фамилий. Это почти обеспечивалось протекцией высокопоставленных дам-патронесс ведомства, благоволивших

к Дмитрию Алексеевичу из-за его консервативных взглядов. Но Алексей заявил, что нигде, кроме Политехнического института, учиться не будет. Его не тронули ни слезы матери, ни сердечные приступы отца. «Буду инженером или никем!» Он уже знал, что избранный им раздел физики находится на грани чисто научных и инженерных знаний.

Вполне определился и трубниковский характер Алексея. Он был необщителен. Разговаривал мало и неохотно. Очень не любил всяких стычек и ссор и старался их избегать. Но если столкновение все же происходило, то взрывался такой яростью, что становилось страшно и за него самого и за окружающих. Алеша мог надеть непоправимых глупостей, наговорить дерзостей, даже ударить. «В деда пошел», — с испугом говорила мать, а отец угрюмо держался за сердце и молчал.

К студенческой форме сына, с ее ключами и молоточками, долго в доме не могли привыкнуть, как будто в нем поселился чужой. Алексей был к этому равнодушен. Он очень много занимался. Затем стал целыми днями и вечерами пропадать в каких-то лабораториях и приходил домой только ночевать. Одевался небрежно. Если обедал дома, то за столом сидел молча, ел безразлично и торопливо. Мать, старомодная дама, тихая и недалекая, украдкой вздыхала, глядя на руки сына с обломанными ногтями, черными от въевшейся в них металлической пыли.

Спустя два года из разговоров других о сыне отец узнал, что он с каким-то приват-доцентом Ефремовым и группой товарищей-студентов занимается опытами над низкими температурами. При этих опытах искусственно получается совершенно невероятный мороз в сотни градусов. Становилось интересно. Хотелось даже спросить у Алешки, как это делается и для чего это? Но не позволяла гордость. Со времени ссоры из-за выбора карьеры старший и младший Трубниковы почти не разговаривали, хотя взаимное озлобление давно уже улеглось. Иногда отец украдкой заглядывал в книги сына, толстенные, заполненные какой-то тарбарщиной. Вздыхал. Неотвратимо наступало Новое время. Какое-то железное и непонятное. Со своими науками, машинами, сыновним непослушанием, непочтением к старине. И этой войной, которая началась в год поступления Алексея

в Политехнический. Она стала почти привычной, как неизлечимая хроническая болезнь. И ей не было видно конца. Истребительная, как еще ни одна из войн, она была в то же время тусклой и тягучей как дурной сон. Армии противников состязались не в храбрости, не в искусстве боя и не в талантах полководцев, а в способности годами выдерживать окопную вонь, вшей, сыпняк, дизентерию. И, конечно, во взаимном истреблении людей машинным способом.

То, что наука и техника во все большей степени участвуют в решении судеб народов и государств, понимал уже и Дмитрий Алексеевич. Втайне он даже начинал гордиться своим сыном, когда слышал, что профессора пророчат ему в будущем незаурядное место в русской физической науке. «Российской», — мысленно поправлял их старый Трубников, улыбаясь в седые пышные усы.

Но вот изживший себя самодержавный российский режим, не выдержав испытания новым временем и войной, рухнул, как прогнивший дом. Отречение царя было для Дмитрия Алексеевича тяжким ударом. Он вовсе не был глупым человеком, но из упрямства и сословной закостенелости оставался безнадежным политическим слепцом. Временное правительство, не без основания, впрочем, он считал сборищем либеральных болтунов, не способных по-настоящему ни применить, ни удержать власть. Ее может вырвать у них любая политическая группировка, которых столько развелось теперь в распадающемся государственном организме матушки-России.

Нелюбовь и недоверие к Временному правительству усилились после ликвидации этим правительством феодального ведомства, в котором служил Дмитрий Алексеевич. Старик счел его чуть ли не вторым по значению после царского отречения ударом по России и едва ли не личным оскорблением. И слег от очередного приступа сердечной болезни.

Приступ был очень тяжелым. Еще не оправившись, Трубников заявил о своем решении переехать со всей семьей в Ревель. В столице его больше ничто не удерживало, как и вообще в России. Недвижимой собственности Трубниковы не имели. Петроград, по мнению Дмитрия Алексеевича, находился во власти не Временного правительства, а солдат-дезертиров и мастеровщины, удержать которых от любого

политического эксцесса было некому и нечем. Императорская гвардия в угоду презренному общественному мнению была загублена в Мазурских болотах самим царем. Гарнизон столицы почти сплошь представлял собой разнузданную взбунтовавшуюся орду. Резиденцию Правительства – Зимний дворец – охранял, если не считать роты мальчишек-юнкеров, нелепый батальон смерти – отряд переодетых в солдатскую форму баб.

Трубникову казалось, что баронская Эстляндия политически устойчивее и спокойнее российских центров. Ему случилось бывать в Ревеле и раньше. И всегда Дмитрий Алексеевич испытывал успокоительное чувство, что жизнь в этом городе течет медленнее и спокойнее, чем всюду.

То, что Алексей, учившийся уже на четвертом курсе, ведет в одной из лабораторий института совместно с Ефремовым настоящую научную работу, старик знал. Он даже относился к ней теперь с некоторым уважением. Однако считал, что не только эта работа, но и сам институт, как и все в России, неизбежно и скоро будет подхвачено вихрем хаоса, от которого лучше своевременно уйти подальше. И даже не из трусости, а чтобы глаза всего этого не видели.

Алексей в это время был более замкнут и молчалив, чем всегда. Вызвать его на разговоры о политике никому не удавалось. Бурная жизнь города, страны, всего мира шла, казалось, мимо него.

Дома кисла и дурнела старшая сестра, которой не удалось выйти замуж. Женихи, благодаря войне и неурядице, стали редки, а те, что были, с жениховством не торопились. Не те времена. Мать непрестанно вздыхала и горестно качала головой, думая о будущем. Отец целыми днями не выходил из кабинета и, понурясь, сидел в глубоком кресле или лежал на диване. Алексей, и прежде избегавший дома и домашних, проводил теперь в институте целые сутки.

Но и там был разброд. Занятия проводились нерегулярно, и являлась на них едва ли только половина студентов. Многие, кто был познатнее и побогаче, вместе с родителями выехали в провинцию или за границу, чтобы пересидеть там бурное время. Так же поступили некоторые доценты и профессора.

Но официальные занятия для Алексея Трубникова не были главными. И он заявил родителям, что останется в Петрограде один. И не помогли бы, пожалуй, ни слезы матери, ни ее просьбы пожалеть отца с его сердцем, если бы в лаборатории Ефремова можно было продолжать работу.

Но все чаще прекращалась подача электричества. Электростанция останавливалась из-за нехватки топлива и всяких неполадок. Почти прекратили работу институтские мастерские. Механики разбрелись кто куда. Негде и нечем было починить испорченный механизм или прибор, достать запасную часть. Становилось бессмысленным любое упорство. Алексей, скрепя сердце, согласился ехать со своими в Ревель.

Но его отец ошибался, ожидая найти здесь политическое затишье. Эстляндия бродила. Россия всегда была для эстонцев нелюбимой мачехой. А сейчас, с ослаблением центральной власти, сепаратистские и националистические настроения, особенно среди баронской и буржуазной верхушки, резко усилились. На всех русских смотрели косо. Большой царский чиновник и его семья не вызвали ни в ком ни симпатии, ни особого сочувствия. Трубниковы жили отчужденно и скудно, проедаая небольшие сбережения, которые у них еще оставались. Пришлось продать и часть вещей.

Революционные элементы не дремали и здесь. Бунтовали крестьяне, требуя отобрать у баронов землю. В городах среди мастеровых действовали какие-то крайние революционеры-большевики, о которых было слышно и в Петрограде.

В октябре стало известно о падении правительства Керенского и его бегстве. Власть захватили именно эти большевики, которых Дмитрий Алексеевич считал самыми разнузданными и свирепыми политическими подонками. Оправдались худшие опасения. Снова обострилась болезнь сердца.

Через полтора месяца в Нарве была организована «Эстляндская коммуна». Коммунары пошли походом на Ревель. Весть об этом походе добила Дмитрия Алексеевича. Когда, не получая ответа на стук и заподозрив неладное, в его комнату решила войти дочь, отец сидел в своем кресле в обычной понурой позе. Но его рука, свисавшая с подлокотника и продолжавшая сжимать скомканную газету, была уже так же холодна, как и этот подлокотник.

Вскоре пришли немецкие оккупанты. За ними английские. Эстляндия была превращена в один из прибалтийских буферов, долженствующих отделить европейский Запад от большевистской России — Эстонскую буржуазно-демократическую республику.

Трубниковы перебивались работой Алексея на заводах и в мастерских в качестве механика и случайными заработками его сестры. Ей удавалось иногда получить уроки французского языка в домах эстонских буржуйчиков. И хотя мода на иностранные языки — Эстония, видите ли, входила в семью европейских государств — непрерывно росла, это случалось не часто. Мешало Трубниковой плохое знание эстонского языка. Ее ученики плохо знали русский, а главное, не хотели им пользоваться. Тем не менее, Трубниковы жили, не продавая небогатые фамильные драгоценности. Мать не хотела расставаться с семейными реликвиями; сын считал, что время этих безделушек еще не пришло.

Теперь они жили на окраине Таллинна — так стал называться прежний Ревель — в маленьком домике, в котором снимали две комнатки. В меньшей из них, почти каморке, рослый молодой человек с хмурым лицом и черными от металла руками просиживал до глубокой ночи над книгами и чертежами. Комнатушка была завалена трудами по машиностроению и физике на русском и немецком языках. Лежали толстые словари, пособия по изучению немецкого языка и тетради с упражнениями. Алексей штудировал специальные предметы на уровне выпускных институтских курсов и усиленно изучал европейские языки, особенно немецкий.

В России шла гражданская война. Буржуазные газеты заполнялись то реляциями о победах над большевиками белогвардейцев, всевозможных националистов, белополяков, то сообщениями о большевистских зверствах и голоде в России. Выходило, что очередное сообщение о ее освобождении от большевиков снова оказывалось блефом или недоразумением. Это повторялось бесконечно, сбивчиво и путано. Среди немногочисленных русских знакомых были и такие, которые заходили к Трубниковым только для того, чтоб сообщить о новом, действительном или воображаемом походе Антанты

против красных. Газеты писали, что в Совдепии люди вымирают от голода целыми губерниями. В Москве съели не только всех собак и ворон, но даже кошек и крыс, как французы в двенадцатом.

Если при таких разговорах случайно присутствовал Алексей, то он в эти разговоры не вступал. И никогда не высказывал никакой радости по поводу побед над красными. Кое-кому это даже казалось подозрительным. Тем более что молодой Трубников, если и нарушал иногда свою постоянную нелюдимость, то гораздо охотнее с механиками или электротехниками, чем с людьми своего круга.

Знакомый полковник в отставке, ровесник покойного Дмитрия Алексеевича и такой же монархист и консерватор, заявил однажды, что место молодого дворянина не на тихих задворках бывшей империи, а в рядах защитников ее былой чести и славы. Мать испуганно старалась перевести разговор на другое. А что как кому-нибудь из этих стариков и впрямь удастся пробудить в Алеше беса безрассудного трубниковского героизма? Но этот бес вцепился в книги и машины. Когда-то она горевала по этому поводу, но теперь была скорее рада. Так хоть цел останется. Способности пожертвовать ради восстановления Империи единственным сыном она в себе не чувствовала.

Он и здесь, в мирной обстановке, умудрялся нарываться на смертельную опасность без всякой нужды. Однажды, возвращаясь с работы поздно ночью, Алексей услышал предупредительный свисток. Это полицейский приказывал ему свернуть с тротуара на мостовую, так как один из домов по улице подлежал в эту ночь особой охране. Трубников не знал этого и не обратил на свисток внимания, считая, что он относится не к нему. Охранник был мальчишка, слишком буквально понявший устав своей службы. Он неожиданно вырос перед Алексеем, заорав: «Руки вверх!» Всякий другой, испугался он или нет, подчинился бы требованию вооруженного постового. Но в Алеше сработал трубниковский бес, и он бросился на полицейского. Тот успел выстрелить. Пуля сбила с сумасшедшего кепку, а огонь выстрела опалил ему волосы. Но другого выстрела охранник произвести уже не успел. От удара по уху – Алексей обладал медвежьей силой – мальчишка

откатился чуть ли не на середину мостовой. А его винтовку Трубников так хватил прикладом о каменную тумбу, что приклад переломился.

Тогда было много неприятностей. На допросе в комендатуре о причинах, побудивших его к нападению на пост, Алексей только и мог ответить, что дуло винтовки, внезапно появившееся перед его глазами, грубый окрик и перекошенное лицо солдата подействовали на него как сигнал к неуправляемым действиям. Трубников помнил еще, что момент вспышки бешеной ярости сопровождался изменением желтого света уличного фонаря на красноватый и мутный, будто перед глазами возникла пелена красного тумана.

Шло время. Газеты, прежде пророчившие неизбежный разгром большевиков цивилизованными войсками и печатавшие их изображения в виде бородатых мужиков в буденовках и с ножами в зубах, стали помещать такие изображения все реже. Теперь мрачные пророчества касались только неспособности этих мужиков восстановить разрушенное хозяйство России. Было ясно, что на военных фронтах большевики победили окончательно.

Алексею шел уже двадцать четвертый год, когда по его настоянию Трубниковы переехали в Германию.

Разоренная войной, придавленная репарациями, частично оккупированная, эта страна переживала тяжелую экономическую депрессию и была еще менее гостеприимна, чем провинциальная Эстония. Но здесь была высокоразвитая техника, знаменитая немецкая наука. К ним-то и стремился все эти годы Алексей Трубников, ни на минуту не оставивший мечты о продолжении образования и возвращении к любимым предметам.

Мать поначалу пыталась, хотя и робко, возражать против переезда в Германию. Она предпочла бы Францию, где было много русских эмигрантов, и среди них даже родственники. Старуху недавняя Империя Гогенцоллернов пугала, казалась совсем уж чужой и враждебной, а нужные Алеше заводы и институты нашлись бы, наверное, и во Франции...

Но теперь ее мнение имело еще меньше веса, чем при покойном Трубникове-отце.

И вот Германия. Пасмурные лица. Еще нередки люди в полинялых шинелях, калеки на костылях, слепые в темных очках с дощечкой на груди – инвалид войны. Безработица, дороговизна, спекуляция. Победенная страна, принявшая нелегкие условия Версальского мира. Надо обладать странным умом и характером, чтобы под укоризненные вздохи матери добиваться нового гражданства именно в ней.

Но с этим покончено. Теперь главное – приемные руководители высших специальных школ, беседы с профессорами, деканами факультетов. Экзамены.

Но бессонные ночи Алексея и упорный труд над книгами не пропали даром. Его приняли в одну из знаменитых гошшуде¹ страны Лейбница и Гаусса. Криогенная лаборатория при этом институте уступала в те времена разве только лаборатории Камерлинг-Оннеса² в Лейдене.

Как голодный на хлеб, набросился Трубников на занятия в этой лаборатории. Ушел в них с головой, сожалея, что надо отрывать время для сна и приема пищи. От заработков ради хлеба он отказался. Потребовал от матери, чтобы она продала фамильные реликвии, хотя они ценились здесь только на вес. А он, этот вес, был очень невелик. Мать тяжело вздыхала. Прежде чем снести очередную вещь скупщику, часами смотрела на нее и украдкой плакала. Сестра вышла замуж за немца, владельца небольшой мастерской по ремонту обуви. Опять вздыхала и плакала мать. Брат этого события, казалось, и не заметил.

Скоро даже немцы-профессора, отнюдь не склонные легко признавать достоинства в студенте-иностранце, заметили недюжинные способности и поразительную влюбленность в науку молодого русского. Бурши-корпоранты³, вначале не признававшие в нем коллегу и даже пытавшиеся его задирать,

¹ Гошшуде (hochschule) – высшее учебное заведение (нем.).

² Камерлинг-Оннес (Kamerlingh Onnes) (1853–1926) – нидерландский физик и химик, удостоенный в 1913 Нобелевской премии по физике за исследования свойств веществ при низких температурах.

³ Бурши-корпоранты – старшекурсники.

познакомившись поближе с характером Трубникова и его пудовыми кулаками, сменили спесь на полное признание.

Через два года вплотную приблизилось окончание курса наук в Высшей школе. Как когда-то в Петрограде, Алексей стал в лабораториях этой школы своим человеком. Место в докторантуре было ему обеспечено.

Совместно с молодым инженером лаборатории низких температур Рудольфом Гюнтером Трубников написал небольшую научную статью, которая была напечатана во всемирно известном журнале «Цайтшрифт'фюр физик». Спустя месяц он был вызван в кабинет руководителя института.

— Вы, кажется, учились в Петербургском политехническом институте? — спросил декан.

— Совершенно верно, ваше превосходительство.

— Называйте меня просто господин профессор... и вы работали с профессором... Ефремовым?

— Да, господин профессор. Но тогда он был еще приват-доцентом.

— И зовут вас Алексей Ди-ми-трие-витш?

— Да, господин профессор.

— Тогда это — вам.

Алексей читал первое в его жизни письмо из Советской России. Писал тот самый доцент Ефремов, с которым они в бурлящем Петрограде семнадцатого года пытались построить установку для сжижения водорода. В последующие годы Трубников вспоминал об этой работе, как другие о безвременно умершей любимой.

Ефремов писал, что прочтя в «Цайтшрифт» статью, одним из авторов которой является некий «Trubnikoff», он сопоставил эту фамилию, инициалы и тему статьи с возможной траекторией блуждания известной ему эмигрантской семьи. И пришел к выводу, что упомянутый герр и есть тот самый Алешка Трубников, который против замшелых традиций дворянской семьи занялся настоящим делом. Через редакцию журнала Ефремов установил, что автор — студент Высшей Технической Школы. Об остальном догадаться нетрудно.

Профессор Ефремов писал далее, что сам он из России и даже из Петрограда никуда не выезжал, несмотря на запугива-

ние большевиками с их террором. Но было действительно очень плохо. Голодно и холодно. Всё стояло, стыло, ржавело. Но ни его, ни вообще кого-нибудь из тех ученых и специалистов, которые нашли в себе решимость остаться на своем месте, большевики и пальцем не тронули. Более того, насколько это было возможно, оберегали. И теперь он здесь в чести. Один из главных спецов по холодильному делу в СССР. А дело это особенно нужное и перспективное. И для практических нужд, и для науки.

Именно Ефремову поручена организация криогенной лаборатории в составе молодого физико-технического института. Дело это нелегкое. Не хватает средств, почти нет оборудования. Но это будет преодолено. Труднее всего со специалистами. Свои почти все разбежались. Привлекать слишком много иностранцев, как при Петре, значило бы расписаться в своей зависимости от иностранных учителей. Поэтому, не отказываясь от приглашения инспекторов, Советское правительство куда более охотно берет к себе своих – русских. Даже если они из страха перед революцией, обоснованного или ложного, покинули родину.

И пусть он, Алексей Трубников, не будет дураком, а идет в Советское консульство в своем городе и подает заявление о репатриации. Немцам, небось, и своих специалистов девать некуда, а нам они нужны до зарезу.

И пусть не слушает там тех, кто будет пугать его советским режимом. Большевики специальным правительственным декретом давно уже объявили амнистию всем, кто даже активно, с оружием в руках, оказывал сопротивление установлению Советской власти. Права на амнистию лишены только главные руководители и организаторы контрреволюции, список которых помещается на одной странице. Декрет о предании прошлого забвению подписан Лениным, к великому сожалению, уже покойным.

Трубников тепло попрощался с товарищами по работе в лаборатории низких температур. Со многими из них он сжился, насколько это позволила его постоянная необщительность, и теперь расставался с сожалением. Сотрудничество в работавшемся, хорошо организованном коллективе, даже если оно

и не приводит к дружбе, всегда создает чувство товарищества и взаимного доброжелательства.

Но были и такие, которые смотрели на репатрианта с удивлением. Человек добровольно едет в страну, где его класс объявлен вне закона. И где прямое насилие, диктатура откровенно и официально возведены в принцип и основу внутренней политики большого государства. Там, в России, еще разруха, несмотря на объявление какой-то новой экономической политики. У государственного руководства сверху донизу стоят большевики или их ставленники. Почти все они – невежественные, фанатичные люди. Образованность в Советской России считается едва ли не признаком классового врага. Как можно жить в стране, где все нормы общественного и личного существования вывернуты наизнанку?

Всё это Алексей слышал и читал тысячу раз. И не всегда он мог отличить правду от злобного вымысла. Но в ложности и предвзятости суждений о людях труда со стороны тех, кто старался этих людей принизить, он давно уже не сомневался. Эта предвзятость, нередко доходившая до глупости, была понятна в белоэмигрантах и вообще обиженных русской революцией. Но подобные представления были присущи и людям, которые, казалось бы, должны были понимать события более непредвзято и широко. В суждениях некоторых немцев о русских делах нередко ощущался и привкус национального пренебрежения.

Еще студентом Политехнического института, при своей постоянной возне с машинами Алексей часто сталкивался со слесарями, механиками и другими рабочими. И эти люди не только не соответствовали представлению о тупом хаме, но часто поражали его ясностью и простотой мысли. При отсутствии даже элементарного образования они нередко обладали творческой увлеченностью и ярким конструкторским талантом. Правда, механики и лаборанты института были, может быть, и не вполне типичными представителями рабочего класса. Но и на заводах, где Алексею приходилось иногда бывать в связи с заказами института, квалифицированные рабочие казались ему почти такими же.

Эти наблюдения подтвердились и в таллиннский период жизни Трубникова. Но несмотря на, казалось бы, прямое включение Алексея в рабочую среду, у него так и не получилось на-

стоящего сближения с товарищами по работе. Отчасти потому, что места работы приходилось часто менять — Трубников стал специалистом по монтажу и отладке оборудования. Но главное заключалось в том, что он был бароном по происхождению да еще русским. Эстонских рабочих это настораживало и лишало непринужденности в отношениях с ним. А он, вследствие присущей ему нелюдимости характера, хотя и внешней, по сути, также не мог помочь им преодолеть этот барьер.

В последние недели перед отъездом в Советскую Россию, когда все было уже решено, Трубников находился в необычном для него приподнятом настроении. И не только потому, что предстояло возвращение на родину и первая в его жизни настоящая большая работа. Алексей испытывал никогда еще не изведенное им прежде чувство удовлетворения от сознания своей правоты в оценке рабочего класса. Эти люди, которых пытались изобразить тупыми рабами или свирепыми извергами, восстанавливали хозяйство своей страны. И проявляли при этом не разгильдяйство лодырей — теперь, мол, свобода! — а героическое трудовое напряжение, не фанатизм, а политическую терпимость, трезвое предвидение и такт. Его долг русского специалиста — быть с ними. И помогать, насколько хватит его сил, в их великой созидательной работе.

Проявление открытой враждебности к Советской России в тогдашней Германии было не таким модным, как в других европейских странах. И Германия, и Россия находились в особом положении по отношению к внешнему миру, хотя и каждая по-своему. В некоторых экономических и даже политических областях они сотрудничали и были друг другу обязаны. В среде немецких рабочих просоветские настроения были распространены не только среди коммунистов.

Но большинство немецких интеллигентов смотрели на будущее большевизма весьма скептически. Многие считали, что, судя по НЭПу, первое увлечение революцией уже прошло. Большевики, кажется, начинают понимать, что попытка чисто насильственного преобразования общества по марксистским рецептам и схемам терпит явную неудачу. И когда они поймут это до конца, то перестанут быть большевиками. Испытание временем — вот что для большевизма является историческим экзаменом, выдержать который он не сможет.

Другие не верили в возможность перерождения большевиков. Считали, что они будут продолжать свои опыты по социальной вивисекции до тех пор, пока окончательно не погубят подвластную им часть человеческого общества. Или пока какие-то силы извне не уничтожат самих экспериментаторов.

Некоторые пытались объяснить успех большевизма законами социально-исторической психологии. Людская масса, утверждали они, особенно в своей отсталой части, склонна к периодическому увлечению фанатическими и воинствующими религиями. Такими были Христианство и Ислам в период своего становления и победоносного шествия. Таким является коммунизм большевистского толка. Человечество от века страдает падучей болезнью, и сейчас происходит очередной из ее припадков.

Инженер Рудольф Гюнтер был старше Трубникова года на три. Алексей сдавал ему свои первые лабораторные практикумы в Гохшуде. Теперь они работали вместе, хотя Трубников и не состоял еще в официальном штате лаборатории. Гюнтер не разделял полумистических взглядов на большевизм и не утверждал, что политические доктрины Маркса и Ленина непременно обречены на неудачу. Но, убежденный социал-демократ, он считал насильственный путь преобразования человеческого общества чреватым такими страданиями и бедствиями, которые лишают эти преобразования практического смысла. Во всяком случае, для тех поколений, на долю которых они выпадут. Страдания и лишения во имя отдаленного будущего Гюнтер считал проявлением политического юродства и в массовость подобных настроений не верил вообще. Он утверждал, что если и кажется иногда, что целые народы охвачены энтузиазмом подобного рода, то это плод недоразумения или обмана. Только при отдельных стихийных восстаниях, когда эмоции возмущения и злобы на короткое время берут верх над всем остальным, восставшие не думают о политических или экономических выгодах для себя. Большие революции совершаются народами только под знаком надежды на конкретный, непосредственный и положительный результат. И если народная мечта оказывается чаще всего чем-то вроде клока сена на конце дышла для лошади в упряжке, то вина за это лежит не на революционном народе, а на его вожаках, неумных фанатиках

или безответственных политических авантюристах. И когда революция удастся, а массы разочаровываются в своих надеждах и ожиданиях, эти вожаки неизбежно превращаются в погонщиков вольно или невольно обманутого ими человеческого стада. Для вящей убедительности своих воззрений Рудольф прибегал к предпринимательской прозе: «Издержки производства превышают возможную выгоду», «Товар не стоит своей цены».

Теперь он сердился на большевиков еще и за то, что те перетягивают к себе его Алекса. С ним у Гюнтера установился тот вид симбиоза в научной работе, когда сотрудники взаимно стимулируют творческую энергию друг друга. И о результате такого сотрудничества часто можно говорить не как о сумме усилий, а скорее как о произведении этих усилий.

Трубников был огорчен не меньше Гюнтера и обещал ему, что их сотрудничество в виде письменного обмена идеями и опытом непременно будет продолжаться. И так как Рудольф продолжал брюзжать на большевиков, Алексей, неожиданно для себя, начал с горячностью их защищать. Защита получилась не слишком убедительной, так как и марксистское учение, и политическую программу большевистской партии Трубников представлял себе довольно смутно. Единственным результатом этого спора было то, что Гюнтер сказал тогда, сердито махнув рукой:

— Это говорит в тебе ваш исконный монголо-славянский коммунизм! — Он и в самом деле был близок к убеждению, что в каждом русском сидит большевик.

В эту ошибку впадали многие иностранцы, как в те годы, так и десятилетиями позже. Они не понимали, что всякий, кто поносит большевизм, безусловно являющийся продуктом исторической деятельности русского народа, вольно или невольно, в явной или скрытой форме оскорбляет этот народ. В каждом настоящем русском это вызывает протест. И даже если он весьма далек от большевизма, то, не имея возможности отделить его от своего народа, вынужден иногда даже невольно, за него вступиться. При этом обычно происходит не замечаемое спорщиками отождествление и смешение понятий, приводящее к недоразумению и недопониманию.

Мать Алексея приняла его решение вернуться на родину с двойственным чувством радости и страха. И дело было даже

не в новых тяготах переселения и ломке установившейся было жизни. Она все еще побаивалась большевиков. Отделаться от представления о них как о каких-то чудющах было трудно. Но оставаться на чужбине стареющей женщине было еще трудней. Мать не могла, как ее сын, уйти от гнетущей тоски в работу или, как дочь, в строительство собственной семьи. Она могла бы остаться в этой семье. Но именно в ней свою чужеродность, национальную и социальную, Трубникова ощущала особенно болезненно и сильно. Главное же — она нужна Алеше, хотя сам он этого никогда не говорил. Он ведь совсем один, и намерен оставаться одиноким на всю жизнь. Разговоры о женитьбе, если они заводились в его присутствии, Алексей всегда слушал с недоумением, как какую-то дикую фантазию, а потом сердился и уходил. Старуха вздыхала. Кажется, никто из Трубниковых не был вполне нормальным. К Алешиным ненормальностям она относилась и его полное равнодушие к вопросам семьи и продолжения рода. Внуки от дочери у нее скоро будут. Добропорядочная бюргерская семья немыслима без «киндер». Но это будут немцы. Род же Трубниковых искони русский.

И может быть, воздух родины пробудит в Алексее естественные жизненные устремления, приглушенные его маниакальной приверженностью к своей науке? И не только воздух, а и русские девушки, которые, небось, не перевелись там, на Руси, даже при большевиках... Старуха собиралась почти весело.

Родился Алексей в городе Санкт-Петербурге, жил и рос в нем до четырнадцатого года. Выехал в семнадцатом из Петрограда, а вернулся уже в Ленинград.

Общий, неповторимый облик города остался, конечно, прежним. Те же величественные и великолепные архитектурные ансамбли, те же, единственные в своем роде, перспективы мостов и набережных Невы. Но вблизи было видно, что бывшая столица бывшей империи утратила свой былой чинный и чопорный вид. И не только потому, что обшарпанными оставались стены дворцов и покрылись пылью и грязью бесчисленные статуи. Совсем другой внутренний облик городу

на Неве придавали его люди. И если Ленинград от Петербурга отличался только в незначительных деталях, то ленинградцы от петербуржцев рознились едва ли не больше, чем люди разных наций и даже разных эпох.

Общим для них оставался, казалось, только русский язык. Но и в нем появились непривычные, режущие ухо новообразования. Особенно неприятными казались сокращенные и составные слова, часто уродливые и смешные. Так же, как одежда и прически, язык носил на себе следы небрежного, неряшливого отношения.

И все же он был русским. А для Трубникова, долгие годы не слышавшего его звучания как общего языка окружающих, этот язык составлял теперь главную часть ощущения, что он среди своих, соплеменных ему людей.

Трубниковы приехали в конце лета, когда уже совсем погасли белые ночи, но было еще довольно тепло. Ленинградцы постарше были одеты чуть не сплошь в длинные толстовки и измятые брюки. Мужчины при галстуках встречались очень редко. Простенькие платья и блузки женщин были начисто лишены способности хоть сколько-нибудь усилить их привлекательность. Взгляд приезжего из-за границы невольно притягивали к себе головные уборы многих женщин, преимущественно молодых — красные косынки и мужские кепки. Почти все они были коротко острижены, а их кепки и косынки нередко сочетались с кожаной курткой и папиросой в зубах. Многие совсем еще молодые юноши и девушки были одеты в юнг-штормовки, полувоенные костюмы цвета хаки с портупейкой через плечо. И все, старые и молодые, были обуты во что придется, вплоть до спортивных тапочек.

Прохожие с некоторым удивлением смотрели на молодого человека, одетого чуть по-иностранному, но без обязательных признаков интуриста — «Кодака» через плечо и клетчатых штанов-гольф. И бродящего по городу не с табуном таких же иностранцев и что-то лопочущим гидом, а в одиночку. А главное, если этот человек и останавливал свое внимание на чем-нибудь в отдельности, то это был не собор или дворец, а что-нибудь вроде обыкновенной средней школы с трех-

значным номером на вывеске. Не всякий горожанин знал, что это старинное мрачноватое здание, во дворе которого бегают и орут на переменках ребятишки, одна из бывших мужских гимназий. И уж никто из них, конечно, и понятия не имел, что именно в ней учился Алеша Трубников. А вон за теми окнами помещался физический кабинет, где высокий угловатый мальчик в гимназической форме помогал готовить к предстоящим занятиям классные опыты милому чудаку-физику. Где он теперь, этот первый его настоящий учитель? Жив ли он? И куда занес его страх перед извергами-большевиками, не щадящими никого, кто не таскает кули с поклажей, не мостит улицы и знает чуть больше того, чему могли научить в приходской школе? Было известно только, что и он бежал в семнадцатом за границу вместе с буржуями.

Трубниковым предоставили комнату в коммунальной квартире. На общей кухне чуть не круглосуточно гудели примусы и визгливо ссорились хозяйки. Среди перегородок, тупичков и всяких клетушек с трудом можно было угадать первоначальный план квартиры. Наверное, и прежняя квартира Трубниковых, которой они так стыдились когда-то из-за ее тесноты и бедности, вот так же поделена на клетушки, в которых живет полдесятка семей, а на кухне гудят примусы.

Мать и сын ходили посмотреть на дом, в котором жила их семья и в котором родился Алеша. Построенный по-старинному добротно, дом стоял незыблемо. И только его фасад, не слишком веселый и прежде, стал еще угрюмее.

Трубниковы могли, конечно, под каким-нибудь предлогом посетить свою бывшую квартиру. Но они только постояли на противоположной стороне улицы. Сын смотрел с угрюмой задумчивостью, мать украдкой вытирала глаза.

Ефремов обрадовался Алеше так сильно, как не радовался даже библейский отец возвращению блудного сына. Сразу же посвятил его в планы своей будущей лаборатории. В них предусматривалось сооружение установки для сжижения гелия, определение абсолютных значений энтропии, изучение явлений сверхпроводимости и сверхтекучести и многое другое, от чего даже у сдержанного на проявление восторга Алексея захватывало дух. Ну, а в качестве своего главного помощника профессор Ефремов намечал инженера Трубникова.

Через два года Алексей был уже старшим научным сотрудником новой лаборатории и доцентом того самого Политехнического, поступление в который определило его дальнейшую судьбу.

Здесь, как и всюду, мало изменилась внешняя обстановка и неузнаваемо изменились люди. В солидных, мрачных корпусах со сводчатыми длинными коридорами теперь не было студентов и преподавателей в форме, придававшей институту строгий казенный вид. Их и различить-то между собой было подчас трудно, так как кое-кому из студентов перевалило уже за тридцать. Многие из них успели не только потрудиться, но и повоевать в гражданскую. Одевались будущие советские инженеры, конечно, во что придется, но выглядели еще беднее, чем все. Шиком здесь считались кожаные куртки, но ими счастливо обладали очень немногие.

Встречались и девушки, о которых в прежнем Политехническом и речи быть не могло. Почти все студентки-политехнички были острижены, курили папиросы и носили кепки и кожаные куртки. Во всем этом проявлялась психологическая потребность продемонстрировать женское вторжение в исконно мужскую область деятельности. А потребность эта вызывалась, по-видимому, подсознательной неуверенностью в конечном успехе такого вторжения.

Преподавательскую работу Алексей Дмитриевич вел исключительно по необходимости. Нужно было готовить кадры. По-настоящему он интересовался только научной работой. Поэтому когда физико-технический отпочковался в виде филиала в самостоятельный институт, был переведен в другой город и директором этого института назначали Ефремова, Трубников, не задумываясь, уехал с ним. Старенькая мама, прощаясь с городом во второй раз, опять стояла перед хмурым домом, в котором прошла ее невеселая молодость. И снова, прячась от редких прохожих, вытирала глаза.

Криогенная лаборатория в новом институте должна была стать одной из крупнейших в Европе. Ее организатором и руководителем был назначен Алексей Дмитриевич.

Через несколько лет лаборатория уже не умещалась в зданиях института и переселилась в пригород, где был построен целый криогенный городок. Работы сотрудников лаборатории нередко публиковались и за границей, особенно в «Цайшрифт», к которому Трубников навсегда сохранил особую симпатию. Поддерживал он связи и со второй своей альма-матер — Высшей Технической Школой. С Гюнтером, ставшим теперь уже профессором, Алексей Дмитриевич переписывался постоянно.

Нацистский переворот в Германии поставил членов социал-демократической партии вне закона. Гюнтеру, как и многим другим немецким ученым, пришлось бежать за границу. Рудольф оказался в Австрии. Но в этой маленькой небогатой стране не было ни достаточно оснащенной специальной лаборатории, в которой он мог бы продолжать свою работу, ни гарантии, что сюда не дотянется бронированный кулак Третьего Рейха. А Алекс Трубников в письмах из России соблазнял приятными перспективами развития науки в этой, недавно отсталой, стране. Особенно в том институте, которым руководит его старый товарищ и друг, ставший в этом году академиком.

Ефремов добился от советского правительства приглашения в Союз не только Гюнтера, но и ряда ученых старшего поколения. Эти ученые, лишившись родины, потеряли и возможность заниматься экспериментальными исследованиями в привычном масштабе.

Несмотря на множество нерешенных проблем, в Советском Союзе выделялись значительные средства на ведение исследований в фундаментальных разделах физики, хотя тогда никто еще и подумать не мог, какое значение для человечества приобретут эти исследования уже в ближайшие полтора десятка лет. Ученых-физиков, соглашавшихся на принятие советского гражданства, принимали охотно и предоставляли им сносные условия быта и работы.

Здесьшний политический климат новые граждане осваивали с трудом. Многого не понимали. И все же вряд ли кто-нибудь из них поверил бы тогда предсказателю, сумевшему увидеть их недалекое мрачное будущее. Для доктора Гюнтера, приехавшего в числе первых ученых-антифашистов,

неуютность обстановки скрашивалась еще и старой дружбой со своим сотрудником и нынешним шефом.

К этому времени Алексей Дмитриевич остался совсем один. Старушка Трубникова неизлечимо заболела и, промучившись полгода, умерла. Сын, никогда прежде не бывший с матерью не только ласковым, но даже просто внимательным, во время ее болезни проявил исключительную заботу. Он приглашал к ней выдающихся врачей-ученых, добился помещения в лучшую клинику города, часто навещал больную в ее отдельной палате. О неизбежной кончине матери он думал теперь с ужасом и скорбью. С ним произошло то же, что происходит с очень многими по природе честными людьми. Привычное с детства эгоистическое равнодушие к женщине, давшей им жизнь, осознается слишком поздно. Долг перед ней становится очевидностью только вместе с сознанием всей огромности и неоплатности этого долга.

Мать при встречах всегда просила его не тратить времени и средств на безнадежные попытки ее спасти. Свое положение больная хорошо понимала и о близкой кончине думала только как об избавлении от мук. Ее больше волновала судьба сына, который остается один-одинешенек. Кто встретит его теперь в пустой квартире, приготовит обед, постелет постель? Еще больше угнетало сознание, что их род угаснет, если сын так и останется одиноким. Трубникова принадлежала к тому типу женщин — продолжательниц рода, жизнь которых полностью растворяется в жизни семьи и потомства.

За несколько часов до смерти, когда у больных нередко утихают их страдания, а сознание становится ясным, мать попросила вызвать к ней сына. Алексей Дмитриевич приехал сразу, бросив все дела. Держа его крупную, твердую руку в своих, ставших почти прозрачными бессильных руках, умирающая долго смотрела в лицо немолодого сурового мужчины, который для нее оставался все тем же упрямым, несговорчивым мальчиком. Но кроме обычной покорности судьбе в этом взгляде было еще и выражение робкой мольбы.

— Сыночек, обещай мне... — Она с трудом подбирала слова. Даже перед лицом смерти мать не хотела, чтобы они звучали как назойливое повторение.

Сын опустил голову. Он знал, о чем может попросить его умирающая мать. И боялся этой просьбы. Она поставила бы его перед выбором между ложью и жестокостью.

Но мать поняла. И не закончила начатой фразы. Теперь в ее взгляде была не мольба, а горестное сострадание. Как будто не она, а рослый и сильный человек перед ее кроватью стоял на пороге смерти.

— Прости меня, Алеша. Живи, как хочешь... Только запомни мое желание... Последнее, Алеша... Пусть ко мне на могилу... когда-нибудь... придут внуки... Мои внуки, Алешенька... — Последние слова умирающая произнесла едва слышно.

Теперь уже сын держал в своих ладонях холодеющие руки матери. И склонялся к ним все ниже, пока не коснулся лицом. Дрогнули под небрежно накинутым белым халатом широкие плечи. Пожилая сиделка, деликатно отошедшая к окну, услышав глухой, сдавленный звук, вышла в коридор.

— Не надо, Алеша... Мне хорошо... Только пусть они придут... Пусть придут... — Мать пыталась погладить волосы сына.

Через несколько минут она снова впала в беспамятство и, уже не приходя в сознание, умерла.

А через полтора года после ее смерти произошло то, чего никто уже не ожидал. Алексей Дмитриевич женился.

Даже самому себе он не сумел бы ответить, почему он изменил одному из главных и, казалось бы, окончательно принятых принципов своей жизни. Была ли причиной этого охватившая его тоска полного одиночества, не испытываемая им ранее, или повлияла на него предсмертная просьба матери? Но скорее всего поздняя, а потому невероятно сильная и прочная любовь к Ирине при любых условиях преодолела бы все принципы и все зароки...

Но теперь своей жизни без Ирины он представить уже не мог. Простая мысль о том, что встречи с ней могло и не произойти, казалась ему абсурдным, несуразным допущением. Куда более искусственным, чем четвертое измерение или корень из минус единицы.

Такой же нелепой была и мысль о насильственной и, наверное, навечной разлуке с женой и дочерью по чьему-то

произволу, чьей-то злой воле. Но этот кто-то существовал реально, каждодневно и ежечасно действовал. Чувство опасности, нависшей над жизнью их маленькой семьи, угнетало своей беспощадной реальностью, несмотря на протест здравого смысла. Снова получалась нелепость: не замечать того, что происходило вокруг, значило надеяться на чудо, спрятав голову в песок.

Между их квартирой и институтом лежит старое и огромное православное кладбище. Он и Ирина в хорошую погоду ходят через это кладбище на работу и с работы домой. Там за чугунной оградой на простом могильном холмике, густо посаженном цветами, стоит чугунный крест. Летом Ирина часто приводит к холмику Оленьку, и та из детской лейки поливает бабушкины цветы. Пока она еще ничего не знает о горькой правде жизни.

Часы в столовой, едва ли не единственный предмет, сохраненный покойницей-матерью из обстановки их дореволюционной квартиры, мелодично отбивали время. Два удара. Кажется, и сегодняшняя ночь для него пройдет не отмеченная ничем, кроме этой мучительной тревоги.

В одной из свифтовских сатирических сказок о наступлении периода массовых казней народ привык узнавать по особенно настойчивому и громкому возвеличиванию добродетелей и милосердия монарха...

Механизм, уже около столетия отмечающий наступление каждого часа, оповестивший тридцать семь лет назад о наступлении нового века, прозвонил трижды. Но этот звон замер, не проникнув ни в чье сознание. По-прежнему безмятежным сном спал ребенок. Тяжелым и тревожным забылись его родители.

Наступил день, угрюмый и малопродуктивный, как все дни теперь. Большинство сотрудников института были подавлены и испуганы, и лишь некоторые проявляли наигранную бодрость и деловитость. Но были и такие, бодрость которых была неподдельной. Это те, чья дорога к научной карьере

расчищалась теперь от всех препятствий. Их не могли больше зажимать всякие там «бывшие» из своих и наезжие фашисты. Таких теперь непрерывно разоблачают и обезвреживают. А научное наследие врагов народа после самой незначительной ретуши и замены имен на титульном листе достанется бдительным. Это — награда за помощь в разоблачении врагов, такая же общепринятая и законная, как в древнем Риме эпохи императоров получение донощиком части имущества казенного по его доносу.

Вайсберг при встречах с Трубниковым смотрел торжествующе и нагло. Он, как и все, не мог знать, что, собственно, происходит там, в недрах НКВД, где перемалываются людские судьбы. Но то, что угнетало и подавляло большинство коллег, его радовало.

Именно они, все эти талантливые и эрудированные, владеющие русской и иностранной речью, видевшие мир и широко образованные, оказываются вредителями, диверсантами и шпионами. Недаром бывший воспитанник детдома всегда их ненавидел и подозревал. Разве можно доверять тем, кого лишили имений, титулов и всяких привилегий? Или этим немцам, которых Ефремов, Трубников и им подобные пригласили в страну и которые все, как и следовало ожидать, оказались фашистами.

Но их время кончилось. Недолго уже и этому Трубникову исполнять обязанности директора вместо своего друга Ефремова. Скоро у него не будет других обязанностей, кроме, может быть, обязанности толкать тачку. И на диссертацию молодого ученого-большевика, не имевшего возможности учиться в аристократических гимназиях и заграничных институтах, он уже не напишет уничтожающей рецензии. Вайсберг зло смотрел вслед ссутулившемуся, угрюмому и. о. директора. Он никогда не забудет его оценки своей диссертационной работы: «Набор физически абсурдных положений... Попытка с негодными средствами наукообразного изложения вульгарных и безграмотных представлений...» А сам-то этот дворянчик сумел бы быть грамотным, если бы воспитывался не в детской комнате барской квартиры с боннами и гувернантками, а в котлах для варки асфальта, в которых ютились беспризорные? Вайсберг находился во власти крайней

субъективности и узости восприятия, мешавшей ему понять простейшую истину — при отборе на творческую деятельность не может быть скидок ни на какой вид бедности. И в особенности бедности духовной.

Спасительные дневные заботы насильно отвлекали Ирину от тяжелых мыслей. Но когда опять кто-нибудь бесследно исчезал, никакая работа не помогала отвлечься от ужащающей действительности. В последнее время люди исчезали не только ночью. Одному сотруднику позвонили из военкомата и приказали срочно явиться. Другого потребовали в паспортный стол. Оба они — не вернулись.

И все же в сознание Ирины иногда проникала робкая надежда: «А может быть, обойдется?» Но такие мысли возникали только днем. Ночью всё вытесняли тревога и страх, железными обручами сжимавшие сердце и мозг. Противопоставить им она могла только атавистическую веру в силу слов и пожеланий, всплывающую откуда-то из недр подсознания. Лежа на своей узкой кровати в детской или обнимая голову мужа, женщина напрягала волю, пытаясь отогнать черные силы, грозившие разрушить ее гнездо. Это была как бы подсознательная мольба о чуде, мистическое заклинание: «Чур, чур, меня...» Но чуда не произошло...

От лязга дверного засова все, как всегда, проснулись и уставились на вернувшегося с допроса Певзнера. Невысокий, шуплый человек стоял на пороге камеры с таким видом, будто долго бежал и только сейчас остановился, чтобы перевести дух. Он дышал полуоткрытым ртом и обводил собравшихся диковатыми глазами, ни на ком, в отдельности не задерживаясь. Все знали: сейчас будет очередная истерика.

— Ложитесь, Самуил Маркович! — строго сказал староста камеры, пожилой железнодорожник Кочубей.

Но Певзнер не обратил на него внимания. Он обхватил руками голову и со стоном опустился на крышку параши.

— Трусость... Проклятая трусость.

Это повторялось почти каждую ночь, с тех пор как Певзнер на первом же допросе признал себя связным между общегородским центром и террористической группой на предприятии, где он работал до ареста. Кололся бывший главный инженер большой кондитерской фабрики удивительно легко даже для среднего интеллигента-обывателя.

Нащупав благодатную слабину, следовательно непрерывно тряс своего податливого эсера, и список членов певзнеровской организации нескончаемо удлинялся. Соответственно этому возрастали и душевные муки вербовщика – угрызения совести, страх перед приговором и особенно страх перед очными ставками с оклеветанными им людьми.

Драматизм положения усугублялся еще и тем, что Самуил Маркович устроил на фабрику чуть ли не всех своих родственников, в том числе отца и жену. Следствие не преминуло, конечно, потребовать их включения в состав группы.

В этом пункте Самуил Маркович пытался оказать сопротивление, и почти каждый из многочисленных родственников стоил ему очередной порции матерных ругательств, потока угроз, а иногда даже затрещин. Но всё быстро заканчивалось неизменным пополнением списка и последующей сценной самообвинения и самобичевания в камере. Слабодушный и слабонервный Певзнер испытывал редкую и противную потребность в публичном покаянии.

– Успокойтесь! – к Певзнеру подошел Троцкий, бывший студент выпускного курса медицинского института. Арестован он был за троцкистскую агитацию среди студентов. Никакого отношения к своему пресловутому однофамильцу Троцкий не имел, а его понятие о троцкизме было таким же смутным, как и у всех сокамерников. Сначала он думал, что дурацкий каламбур, сломавший ему жизнь, образовался только в результате случайного сочетания слов и что связи между фамилией и его дутым троцкизмом нет никакой. Но затем, в ходе следствия, Троцкий понял, что это не совсем так. Поводом к обвинению в симпатиях к тому Троцкому послужил отказ этого Троцкого переменить свою одиозную фамилию на какую-нибудь другую. Такое требование было ему предъявлено комсомольской организацией еще на втором курсе.

Троцкий попытался отвести Певзнера на его место.

— К чему теперь эти переживания, Самуил Маркович? Постарайтесь уснуть. У всех нас такое же горе...

— Нет, не у всех! — истерически крикнул Певзнер.

— Кто еще из вас отца завербовал? Кто оклеветал жену?.. Брата?.. А я сделал это... Сейчас... Только что!.. — Он кричал уже во весь голос. — Не могу я уснуть! Я жить больше не могу! Не имею права... Я — негодяй, предатель, трус...

Певзнер замычал, раскачиваясь как от нестерпимой зубной боли.

Затем поднял голову и спросил, по-прежнему ни к кому не обращаясь:

— Зачем разрешают трусам любовь и дружбу? Позволяют заводить семью? Трусу не должен иметь на это права... он жить не должен... А-а-а...

Истерику вскочил, шагнул прямо на тела лежащих на полу людей и неожиданно прыгнул по направлению к отопительной батарее под окном, пригнув голову как при прыжке в воду.

— Держите его! — испуганно крикнул Троцкий.

Удержать Певзнера никто не успел. Но и страшного хруста черепа о стальные диски ребристой трубы не последовало. Послышался глухой звук удара о дерево и грохот посыпавшейся жестяной посуды.

Певзнер ударился теменем об угол тумбочки, привязанной чьими-то брюками к верхней из двух труб батареи.

Эта тумбочка была последним предметом, сохранившимся в камере от времени, когда камера была всего двойкой, то есть рассчитанной только на двух арестантов. Выбросить ее совсем было нельзя, некуда было бы ставить посуду. Подвешиванием же тумбочки на ночь увеличивалась на малую долю квадратного метра площадь пола, необходимая для спанья. Попасть при прыжке головой в нижнюю трубу батареи через узкий промежуток между горизонтально расположенной тумбочкой и полом почти невозможно. Тем более что на полу лежал человек. Удар же о дерево оказался не смертельным и даже не очень сильным, так как прыгнувший оттолкнулся от чьего-то податливого живого тела.

— Безобразие! Каждую ночь тут истерики закатывает... Староста, вызовите надзирателя!

Один из «долгоносиков» ругался, потирая ступню, на которую с размаху и в обуви наступил Певзнер. «Долгоносиками» в тюрьме называли тех, кто до ареста работал по заготовке и хранению зерна. Почти всех их с поразительным однообразием обвиняли во вредительском заражении зерна амбарным жучком.

Вызывать надзирателя не было необходимости. Он уже открыл оконце и заглядывал в камеру:

— Что тут у вас за бардак?

Троцкий покрутил у виска пальцем, объясняя происшествие.

— Больной, говоришь?.. Припадок?.. — Надзиратель недоверчиво смотрел на Певзнера, который сидел на полу и стонал, держась за ушибленную голову. — А у нас лекарство есть, полечить можем...

Троцкий продолжал уговаривать дежурного вместе с подошедшим Кочубеем.

— Ладно. Ложитесь все! И чтоб до утра я шороха от вас не слышал.

Кормушка с треском захлопнулась. Дежурный был добрый.

Двое, стараясь не шуметь, укладывали обратно в тумбочку миски и кружки. Троцкий, пощупав вспухающую шишку на голове незадачливого самоубийцы, пренебрежительно махнул рукой и легонько подтолкнул его к месту на полу. Певзнер сразу же лег. Истерическое буйство сменилось робкой покорностью. И только толстые губы продолжали по-детски обиженно вздрагивать, жалко контрастируя с черной щетиной бороды, в которой запутались слезы.

Алексей Дмитриевич не принимал видимого участия в этом незначительном происшествии. Но, как и всякое проявление нищеты и слабости духа, оно вызвало у него чувство горечи и стыда.

В последние годы это чувство посещало его все чаще и чаще. Достойные и, казалось, честные люди, а подчас даже крупные ученые, угодничали и пресмыкались перед такими ничтожествами, как Вайсберг, не замечали при встрече жены

арестованного товарища. Обзывали на собраниях старого друга врагом народа только потому, что этот друг был арестован неизвестно за что. Поведение на допросах многих арестованных Алексей Дмитриевич связывал с общим падением чувства личного и гражданского достоинства, низведенными чуть ли не до нуля.

Душевная горечь, мучающая Трубникова в течение тех пятнадцати дней, которые прошли с ночи ареста, состояла не только из осознания крушения своей жизни и жизни семьи, утраты творческой работы, ощущения грубого насилия и низкой несправедливости. Ко всему этому добавлялось еще и чувство стыда и гражданской обиды за свой многострадальный народ.

Неужели справедлива известная французская поговорка, что каждый народ достоин своего правительства? Неужели в том, что происходит сейчас в стране, не только беда, но и вина народа?

Может быть, и в самом деле были правы те, кто видел в революции одно только зло? Которые утверждали, что насилие, совершаемое даже с наилучшими намерениями, непременно возродит всё то рабское, что культивировалось в нашем народе веками татарщины и крепостничества? Сторонники подобных взглядов добавляли также, что рецидив рабства духа будет особенно злостным еще и потому, что уничтоженная религия уже не сможет проявить своего сдерживающего влияния.

Казалось, что теперь уже нечего возразить против всех этих мрачных утверждений. Но еще труднее было им поверить. Прежде Алексей Дмитриевич старался избегать не только разговоров, но и размышлений на политические темы. И не только потому, что его мозг всегда был до отказа загружен другой работой. Он чувствовал себя в родной стране как бы чужим, принятым в нее хотя и не без расчета, но как бы из милостивого снисхождения. Несмотря на то, что не только делом или словом, но даже помыслами он не участвовал в сопротивлении революции, Трубников никогда не мог полностью отделаться от ощущения своей принадлежности к побежденным. И если победителей не судят вообще, то еще меньше могут судить их те, чье сословие разгромлено, унижено, в подавляющей части

изгнано из страны этими беспощадными победителями. Даже при самом честном стремлении к объективности суждения оно в таких случаях не может быть гарантировано от субъективизма и эмоциональности. И какими бы ошибочными ни казались ему действия Советского правительства, каким догматизмом ни разило бы от идеологических установок, Алексей Дмитриевич старался не думать об этом и молчать.

Но сейчас не могло быть и речи о политической ошибке или даже проявлении догматической тупости. Было очевидно, что совершается гигантское историческое преступление. Механизм беззакония был почти ясен. Он оказался не таким уж хитрым, хотя и был основан, несомненно, на огромном палаческом опыте и точном знании психологии людского большинства. Однако оставались по-прежнему непонятными побудительные причины этого преступления.

Некоторые считают, что производится превентивный разгром потенциальной пятой колонны. Что на случай войны подвергнутся изоляции люди, способные в принципе, в силу своего социального происхождения, на акты шпионажа, предательства и измены. Но даже если отвлечься от юридической и морально-этической незаконности подобных действий, то более чем сомнительным представляется их непосредственный результат. Самый большой вред, который предположительно при каких-то туманных, сомнительных обстоятельствах могла бы причинить некоторая часть арестованных, не шел ни в какое сравнение с реальным вредительством, причиняемым незаконными арестами. Лишаются опытных работников и обезглавливаются армия, промышленность, наука, государственное управление. Колоссально возрастает число обиженных, затаивших злобу людей.

Кроме того, превентивным изъятием чуждых элементов можно объяснить только небольшую часть арестов. Допустим, что чем-то опасен этот Певзнер, отличный специалист своего дела, только потому, что он — сын бывшего нэпмана-кондитера. Что нечто нехорошее мог бы совершить в качестве будущего хирурга Троцкий, утаивший при поступлении в институт, что его отец занимался мелкой частной торговлей. Что никаким другим путем, кроме облыжного обвинения во вредительстве, нельзя было бы обезвредить одного из «долгоносиков»,

бывшего бухгалтера зернового элеватора. Правда, прошлое этого бухгалтера было поярче и побогаче, чем у Троцкого и Певзнера. Он был офицером в Белой Армии.

Но бухгалтеру уже за шестьдесят. Кроме того, еще в начале двадцать третьего года он бежал в Советский Союз из лагеря врангелевцев на Галлиполийском полуострове. С еще двумя белогвардейцами, один из которых, балаклавский грек, был в прошлом рыбаком, бывший врангелевский поручик пересек в углой лодчонке Черное море. Теперь он написал на себя, что целью этого опасного плавания в темную штормовую ночь было пополнение рядов организуемого на территории СССР тайного «Союза русских офицеров». Конечно же, этот «Союз» ставил целью организацию против советской власти восстаний и мятежей. Впоследствии, говорилось в показаниях бухгалтера, бывшие офицеры перестали гнушаться также и вредительством, вроде пресловутого заражения зерна жучком.

Согласно подобным же признакам, к категории потенциально опасных должен быть отнесен и он, Трубников.

Но как объяснить аресты людей, происхождение и прошлое которых, с советской точки зрения, безупречно? Вот этого Кочубея, члена большевистской партии с первых дней революции, машиниста, водившего в гражданскую войну красные бронепоезда? Кочубей уже признавался, что, будучи начальником паровозного депо, вредительски ремонтировал локомотивы.

В углу сидел бывший профессор Ветеринарного института, показавший, что он искусственно распространял эпидемию. До революции за участие в марксистском студенческом кружке он был сослан в Сибирь. На протяжении всей гражданской войны служил в красной кавалерии ветврачом. Затем кончил курс уже в советском вузе, стал ученым, заведовал кафедрой.

Признался во вредительстве и членстве в удивительной троцкистско-бухаринской организации и бывший директор совхоза «Красный партизан», закончивший рабфак и сельскохозяйственный институт.

Авторы теории превентивной полицейской войны против пятой колонны полагали, что такие люди арестованы

случайно, в результате спешки и невиданной массовости производимых изъятий. Но слишком уж велик был процент брака. И оставалось необъяснимым то упорство, с которым и этим случайно арестованным пришивали выдуманные преступления.

Среди пытавшихся осмыслить действия НКВД были и такие, которые считали, что у верховного руководства этим комиссариатом стоят перерожденцы, изменники, которые своими действиями хотят подорвать мощь и престиж Советского государства, расчистить путь военному вторжению.

Однако подавляющее большинство арестованных смутно верило, что так быть не может. Что политическая и юридическая нелепость должна непременно и скоро изжить себя. Даже делались попытки обосновать эту туманную надежду.

Сталин и Ежов введены в заблуждение провокациями международной контрреволюции, говорили они. Им подсовывают подложные документы, создающие паническое представление о каком-то грандиозном контрреволюционном заговоре в СССР. В результате начались массовые репрессии. Но эти провокации непременно раскроются, и впавшие в заблуждение вожди опомнятся.

Такой вариант предполагает в наших вождях чрезмерную эмоциональность и совершенно неправдоподобную глупость, возражали другие. Если, конечно, эти вожди пребывают в здравом уме. Но ведь и они не гарантированы от психического расстройства, например, шизофрении. И тогда в основу политической свистопляски внутри СССР может быть принят любой вариант, вплоть до галлюцинаций и повелений свыше.

Сторонники обеих гипотез сходились на том, что неизбежно должно наступить либо прозрение, либо крушение существующей власти. И то и другое означало бы восстановление справедливости и возвращение свободы всем незаконно арестованным.

По мнению Трубникова, эти теории придумывались людьми, ищущими в них не столько объяснения происходящего, сколько оснований для надежды, которая как-то оправдала бы низкое соглашательство с бандитским, разнузданным следствием. Надо выиграть время, любой ценой выжить физически. А потом все уладится. Так потворствуют диким

требованиям опасного сумасшедшего в надежде на его скорое обуздание.

Малодушие подсказывало большинству оптимистов, действительных или деланных, слишком свободное толкование принципа непротивления на допросах. Надо не только пережить безвременье, но и свести к минимуму оскорбительную следовательскую брань, угрозы, не говоря уже о побоях и карцерах. Пусть даже ценой самого унижительного соглашения, даже свободы других людей, в том числе и близких. Все это временные меры, вынужденная тактика. Потом все уладится и будет понято.

Алексей Дмитриевич не строил никаких теорий. Точнее, его ум ученого, привыкший оперировать логическими категориями и точными данными, оказывался бессильным разобраться в хаосе противоречивых фактов и их бессмысленности. Но если он и раньше угадывал в политике репрессий чью-то твердую злую волю и чей-то последовательный, хотя и низкий, ум, то сейчас в их существовании Трубников более не сомневался. Вакханалия беззакония, несомненно, имеет своего разумного дирижера. И все его действия направлены на достижение какой-то темной и определенной цели.

Главный практический вывод из этого положения состоял в том, что всякая надежда на обратный ход событий является иллюзорной. Дирижер, несомненно, обладает громадной властью. Нет ни малейших оснований думать, что существуют силы, способные заставить его изменить проводимую в стране политику.

Значит, не должно быть места и для надежды, которая есть не что иное, как ощущение возможности, что желаемое совершится. Если же это ощущение заведомо ложно, то надежда не более как самообман слабых духом, извечная мать дураков. Прежняя догадка сменилась теперь положительным знанием, что выйти отсюда, спасти себя, даже ценой любых уступок ежовскому следствию — невозможно. Но можно думать, что при правильном поведении, дело ограничится потерей нескольких лет жизни, после которых все опять войдет в какую-то приемлемую колею.

Некоторые товарищи по камере говорили Трубникову, что как известный ученый он менее других должен опасаться

не только своего физического уничтожения, но даже сколько-нибудь длительного отстранения от научной работы. Даже независимо от того, будет он выпущен на свободу или нет. Приводили как пример пресловутого профессора Рамзина с его партией. Ефремов оказался тогда едва ли не единственным известным Трубникову старым специалистом, избежавшим ареста и привлечения к делу контрреволюционной «Промышленной партии».

Тогда были арестованы почти все инженеры и ученые, работавшие в области техники и экономики. Все они признались в подготовке и совершении вредительских актов, имеющих целью расшатывание экономики молодого Советского государства. И все были осуждены, многие даже приговорены к расстрелу. Но затем, за исключением самого Рамзина и еще немногих главных руководителей Промпартии, их всех помиловали с возвращением гражданских прав и назначением на ответственные посты. Ибо, как было сказано в специальном постановлении Правительства, «Советское государство не мстит бывшим врагам, которые осознали свои преступления и выразили искреннее желание загладить их самоотверженным, честным трудом».

Со многими из амнистированных Трубников был знаком лично, постоянно сталкивался с ними по работе. Сам он не считал деликатным спрашивать бывших промпартийцев, что, собственно, они тогда совершили или намеревались совершить. Но другие — чаще это были родные и близкие прощенных вредителей — пытались спрашивать. Однако эти попытки всякий раз наталкивались на яростный отказ отвечать и категорическое требование никогда больше к этому вопросу не возвращаться.

Прежде Алексей Дмитриевич почти не сомневался в реальном существовании Промпартии, хотя и не думал, чтобы она могла иметь тот размах и те масштабы, до которых ее раздули органы ГПУ и советская пресса. Но теперь, узнав повадки НКВД, он уже не верил в нее совсем. Однако кому и для чего надо было разыгрывать этот грандиозный спектакль?

Председатель ЦК Промпартии, директор Всесоюзного теплотехнического института профессор Рамзин был осужден

на десять лет заключения. Но уже через два года был освобожден и награжден орденом за разработку парового котла особой конструкции, названного котлом Рамзина. Этот котел был объявлен едва ли не революционным событием в теплотехнике. Куда более важные изобретения не вызвали и сотой доли того внимания, которым была окружена работа Рамзина. Было очевидно, что дело не в самом изобретении. Нужен был повод, чтобы подчеркнуть: гнев сменен на милость по отношению к ее автору. Милость же Рамзин заслужил своим поведением на суде. Он проявил тогда предельное усердие в саморазоблачении и готовности выдать всех и вся. Главный обвиняемый был буквально упоен своей ролью кающегося грешника и предателя по отношению к товарищам по заговору. Этим была проникнута его речь, что выглядело странно и отвратительно, даже если принять, что Рамзин полностью разочаровался в самой основе своего заговора и в мотивах, его оправдывающих.

Выходило, что он — либо предатель и трус, если Промпартия существовала, либо — провокатор и клеветник, если она такая же выдумка, как и те бесчисленные заговоры, которые плодятся на бумаге в стенах нынешнего НКВД.

Некоторые считают, что поведение Рамзина оправдывается его стремлением сохранить себя для науки. Но каким самоумнением или какой податливой совестью надо обладать, чтобы с готовностью заплатить за свое спасение жизнью и свободой тысяч людей!

Трубников не сомневался, что и ему будет предложено оклеветать своих товарищей и друзей за возможность продолжить научную работу.

Ефремов, Гюнтер и другие арестованные раньше него сотрудники института, вероятно, отрицают свою виновность, как и надлежит честным и принципиальным людям. Если он станет на путь помощи следствию, то его заставят уличать их и называть тех, кто еще находится на свободе. Кое-кто тут, в камере, уговаривает других поскорее становиться на этот путь и не губить себя напрасным сопротивлением. Алексей Дмитриевич и думать не мог прежде, как непрочен у большинства людей панцирь моральной стойкости и внутренней честности.

Один из сокамерников уверяет, что ежовские следователи получают с головы. Иначе и в самом деле трудно объяснить их жадность и неразборчивость в пополнении списков участников выдуманных контрреволюционных организаций.

Не забудут энкавэдэшники и о жене Трубникова. Тем более что она не только его жена, но и ближайший сотрудник, через которого шла почти вся институтская переписка с границей. К тому же социальное происхождение Ирины весьма сомнительно с точки зрения НКВД. И над ней повис дамоклов меч. И возможно, что прочность той ниточки, на которой этот меч держится, полностью зависит от его способности выдержать предстоящее испытание угрозами, провокациями, а может быть, и пытками. И только в этом заключается надежда, что у его дочери останется мать.

Алексей Дмитриевич на мгновение представил себе, как глубокой ночью по его навету Ирину отрывают от дочери, подвергают всем унижительным процедурам приобщения к миру отверженных, униженных и оболганных людей и втискивают в камеру женского отделения этой же тюрьмы. Как неделей-двумя позже он на очной ставке уличает мать своего ребенка в злостном запирательстве и лжи. Почувствовав омерзение и презрение к этому предполагаемому клеветнику и предателю, Трубников скрипнул зубами и сжал могучие кулаки.

Среди его далеких предков был стрелецкий голова, казненный Петром Первым. Наверное, и его, как и тысячи других, пытали на дыбе при розыске знаменитой грамоты Софьи. Но эту грамоту ведь так и не нашли.

Трубников придирчиво проверял свой актив в предстоящей схватке с насилием и ложью. В этом активе было полное неверие в то, что правительство и ежовское НКВД опомнятся, как и полное безразличие к жизни, если для ее сохранения надо будет потерять честь и уважение к себе. И также была абсолютная уверенность в отсутствии страха перед следовательским кулаком. Даже трубниковский бес, которым он тяготился всю жизнь и проявлений которого постоянно опасался, сегодня был в его активе. Он поможет, если понадобится, вести себя так, как и подобает мужчине из рода, в котором были и безрассудные, и неистовые, и даже сумасшедшие люди, но никогда не было предателей и трусов.

Да, он свободен от необходимости обдумывать свою тактику при первой встрече со следователем, над чем мучительно ломают голову многие другие.

Всё сводится к решительному «нет», несмотря ни на какие посулы и угрозы. А если полезут с кулаками — очень хорошо! Алексей Дмитриевич почувствовал в мышцах рук и в сжатых кулаках ноющее, похожее на зуд ощущение.

Нет, он не будет изобретать для себя несовершенных преступлений, угадывать под следовательские понукания своего вербовщика...

Тут Алексей Дмитриевич поймал себя на том, что уже давно и мучительно пытается этого вербовщика угадать. Опытные арестанты, сопоставив служебное положение товарищей Трубникова по институту, историю их взаимосвязей, последовательность арестов и другие признаки, утверждают, что его вербовщиком должен быть Ефремов. Даже в мыслях это казалось оскорбительным по отношению к старому другу. Николай Кириллович всегда был прямодушным и честным человеком, хорошим товарищем и верным другом. Но и Певзнер, наверное, был хорошим товарищем, любящим мужем и почтительным сыном.

Щелкнуло оконце кормушки. Несколько человек сразу же подняли голову.

— На «тэ»! — сказал надзиратель.

— Троицкий? — спросил тоже бодрствующий студент.

— Нет.

На «тэ» в их камере был еще только Трубников.

Пронин был молодым начинающим чекистом. Мобилизованный немногим более полугода назад в следовательский аппарат НКВД, он в справедливости действующих догм и указаний сомневался не более, чем янычар в святости Пророка и законности султанских повелений. Молодой следователь принадлежал к тому многочисленному типу людей, которые всегда стоят за ту Власть, которая у власти. Даже для времени, когда доносительство, инквизиторский догматизм, политическая и идеологическая нетерпимость были объявлены высокими гражданскими добродетелями, Пронин мог

служить эталоном идеального типажа фискала и догматика. В формировании этого типа участвовали, вероятно, и врожденные свойства его характера и психики, и условия развития будущего чекиста с ранней юности, и официальная мораль времени.

Отец Пронина, рабочий-грузчик, не вернулся с гражданской войны, на которую ушел с красными частями. Мать, выбиваясь из сил, кормила четверых ребят, работая уборщицей и подрабатывая стиркой белья. Отчаянно пытаясь как-то облегчить тяжелую вдовью жизнь, она решила заняться тайным изготовлением самогона для продажи. Но, строго наказуемая в те времена, незаконная фабрикация и торговля продолжались недолго. Старший сын, пионер, донес на мать в милицию. При обыске он показал место, где она хранила самогонный аппарат и готовую продукцию.

Мать, конечно, посадили в тюрьму — тогда она называлась ДОПром — домом принудительных работ, — а доносчика и трех остальных ребят растыкали по приютам для беспризорных детей. Будущему чекисту было тогда четырнадцать лет, и он учился уже в седьмом классе школы-семилетки.

Свою жизнь в детдоме Пронин начал в ореоле героя, рыцаря пионерского долга. Скоро его стали выдвигать в вожаки сначала пионерской, а затем и комсомольской организации. Но Пронин очень удивился бы, если бы ему сказали, что настоящим вожаком он никогда не был. Его действительная роль и положение в среде товарищей были совсем иными. Он рано раскусил, чем может быть силен человек, не проявляя ни особых усилий, ни больших способностей. И начал повсюду высматривать, вынюхивать и доносить на товарищей, чтобы получить за это очередное поощрение. Но нарушения закона совершались не так уж часто, а главное, его нарушители не были к Пронину так доверчивы, как родная мать. Фискал приуныл было, но вскоре обнаружил, что есть беспредельная для его таланта и весьма благодатная область — наблюдение за состоянием умов и нравов. Начав с доносов на курящих в уборной ровесников, он постепенно стал прислушиваться к разговорам товарищей, следить за их встречами, выпытывать сведения о родственниках. Оказалось, что чуть не в каждом можно обнаружить недостаточную твердость веры

в социализм, недовольство голодным и холодным существованием, а также недостаточность классовой бдительности. Если же комсомолец оказывался почти безупречным, то будущий чекист пытался узнать о его происхождении с особой тщательностью. И нередко обнаруживалось, что особо рьяный ортодокс — сын кулака или попа.

Окончив кое-как семилетку, учиться дальше Пронин не захотел. Карьера казалась обеспеченной и без особой образованности. Интеллигенты же относились к предпоследнему общественному слою, ниже которого стояли только торговцы и кустари. К ним проявлялось постоянное недоверие и настороженность. При бесчисленных чистках интеллигенты чаще других вылетали из соваппарата. При приеме в учебные заведения их детям предоставлялись наименьшие шансы. Почти все вредители на судебных процессах принадлежали к интеллигенции. На карикатурах специалисту-интеллигенту в шляпе и очках — нытику, хлюпику, вредителю — противопоставлялась мужественная фигура рабочего, который хватал его за шиворот, давал коленкой под зад, утирая образованному растяпе нос.

Но быть настоящим рабочим тоже не было смысла. Пронин не поехал ни на строительство Магнитки, ни на Донецкие угольные шахты, ни на работу в деревню. Он знал, за что именно его ценят и что обеспечит ему неограниченную карьеру. Он был выпущен из детдома и ремесленной школы со специальностью слесаря. Но это было чистой формальностью, так как реально его прочили на профессиональную комсомольскую работу.

На заводе, куда поступил бывший детдомовец, он только несколько дней простоял за верстаком. И поработав немного на технической работе в заводской комсомольской организации, Пронин ежегодно стал избираться комсоргом разных заводских цехов, год от года всё более крупных. Возможность при помощи нескольких слов, переданных куда надо, устроить кому-нибудь грандиозную пакость радовала его, как иного вооруженного дурака радует возможность убить, слегка нажав на спусковой крючок.

Повзрослев, Пронин обнаружил немало горьких истин. Он понял, что его ненавидят и презирают даже те, кто из

трусости и подлости перед ним заискивает. Впоследствии он открыл для себя, что и необразованность всё меньше считается обязательной в комплексе признаков пролетарского происхождения. И что сама эта необразованность отнюдь не способствует больше продвижению по партийно-комсомольской линии. Обнаружилось, что дальше секретаря захудалого комсомольского райкома ему не пойти, хотя в партию его уже приняли.

Конечно, было совсем еще не поздно заняться самообразованием или поступить на рабфак, но горький хлеб настоящей работы его не устраивал.

Из кризиса Пронина вывела вовремя подоспевшая мобилизация в органы НКВД. Повсюду теперь были расклеены плакаты Б. Ефимова, изображавшие «ежовскую рукавицу». Рука в колючей рукавице сжимала горло издыхающей змее с длинным раздвоенным языком — внутренней контрреволюции. Пронину очень импонировало сознание, что и он теперь — одна из колючек этой рукавицы, и притом ядовитая.

Досадно, правда, что чины в органах звучат менее значимо, чем в Армии. При тех же знаках различия они на два ранга ниже, чем у армейцев. А вот понятие «отделение», когда речь идет о звании, толкуется здесь в армейском смысле, хотя следовательское отделение — это большой отдел Управления, возглавляемый чекистами высокого ранга с большим опытом.

Само же следовательское дело оказалось удивительно простым. И напрасно Пронин побаивался сначала, что законченных семи классов не хватит для его освоения. Изучать пришлось лишь систему документации и делопроизводство. Некоторое время Пронин проходил стажировку в качестве помощника следователя. Он присутствовал на допросах с применением мер воздействия, участвовал в инсценировке пыток за стеной для взятия подследственного «на бога», дежурил при пытках бессонницей — конвейером. Приходилось ему участвовать и в групповых избиениях допрашиваемых.

Пронин прошел стажировку успешно — ничто в его душе не воспротивилось этой работе. Более того, он убедился, что в подавляющем большинстве люди — мразь и слякоть, и что страхом из них можно выбить решительно всё. Он сделал парадоксальное наблюдение, что чем образованнее и культурнее

были подследственные, тем, как правило, они быстрее глупели от страха и отчаяния. Это открытие доставило ему особое наслаждение и злобное удовлетворение.

Если бы Пронин умел мыслить критически, то, наверное, задал бы себе вопрос: почему же многие из этих людей в трудном строительстве советской индустрии, в не такой уж давней гражданской войне и революции проявляли столько мужества, самоотверженности и стойкости? Почему эти враги, на протяжении многих лет состоявшие в заговоре против советского государства, проявившие в течение этих лет непостижимую выдержку и конспиративность, так малодушно ведут себя при аресте и готовы разоблачить и выдать всех своих товарищей?

Но Пронин не хотел, да и не умел думать. На это есть вожди! Те, кто разрабатывает тактику борьбы с внутренней контрреволюцией.

Это были, несомненно, великие знатоки психологии людских масс. Знание повадок человеческого стада позволяло им теперь использовать эти повадки в своих целях, чтобы направить значительную часть этого стада в пропасть.

Для этого необходимо лишить обреченных людей сознания своей принадлежности к Обществу и своей ценности для этого Общества. Тогда исчезает надежда на защиту Общества, а лишенный его поддержки, ломается и моральный хребет человека.

Надо также, чтобы обреченный на отлучение от Общества, на гражданскую или физическую смерть, не мог понять, кто и с какой целью обрекает его на это. И сделать это так, чтобы он осознал и почувствовал, что абсолютно безнадежно искать выход, что не существует ни моральных, ни юридических законов для его защиты. Он отрезан от всего, что осталось по ту сторону тюремной стены. И не только потому, что в этих стенах человек физически изолирован от мира, но и прежде всего потому, что он навсегда извергнут из Общества как враг народа, официально им проклят и заклеямен.

И еще надо, чтобы в толпе таких, как и он, выброшенных за борт жизни, человек был духовно одинок. И в своих товарищах по судьбе не нашел бы ни духовной поддержки, ни даже объяснения происходящего.

Тогда в девяноста девяти случаях из ста он останется безоружным и беззащитным не только против чинимого над ним произвола, но и против собственных животных инстинктов, чувства самосохранения и страха. Окажется жалким, забытым полуживотным. Превратится в аморфный, податливый материал, из которого проины и им подобные будут лепить жалкие уродливые фигурки политических преступников в меру своей глупости, невежественности и фанатизма.

А тот единственный процент, который может оказаться неподатливым, будет просто сломлен и сброшен со счетов. На конечном результате деятельности грандиозной фабрики злокачественной лжи это почти не отразится.

Уже седьмой месяц сидел Пронин на проклятом ширпотребе. Правда, ширпотреб был неизбежной стадией, которую проходили все начинающие следователи НКВД. Но потом на нем оставались только те, кто не смог доказать своей способности к ведению более важных, а следовательно, и более благодарных дел.

Пронин считал, что доказал эту способность не в меньшей степени, чем те, кто поступил в органы вместе с ним, но давно уже ведут дела об организациях, тогда как он все еще возится с болтунами. Чем лучше его, например, Митрохин, бывший студент-технолог, который из своих директоров и инженеров за три месяца уже две организации угрожал и второй кубик получил. Попробовал бы он заработать этот кубик на всех этих захудалых полах, базарных торговках, кулацких делях и прочей антисоветской мелюзге!

И хотя Пронин оформляет их дела артистически и умеет придавать им такое освещение, что крестники только ахают, подписывая протоколы допросов, всё это начальнику их отделения как будто «до...» и он продолжает подсовывать молодому следователю мелкую антисоветчину, на которой сдохнешь с одним кубиком!

«Кошей» — так прозвали в отделении его начальника, который был одним из немногих работников, сохранившихся в НКВД со времен Менжинского. Кошей служил при Ягоде и при двух уже расстрелянных начальниках этого управления.

Не ему бы сдерживать продвижение молодых коммунистов, пришедших в органы по зову Партии и любимого наркома!

Правда, в таких сильных выражениях о начальнике отделения пока можно только думать. Из нового пополнения начальник явно недолюбливает одного только Пронина, хотя и со всеми другими не менее резок и строг. И относится к его усердию с каким-то обидным пренебрежением.

Вот и сейчас Кошей, подчеркивая что-то в показаниях священника Крестовоздвиженского, улыбается по-своему — одними только углами рта. От этого его сухое костистое лицо становится еще угрюмее. Правда, пометку о закруглении дела по 206-й начальник сейчас сделает. Но Пронин знал, что настоящего удовлетворения от этого он не получит, хотя и провел следствие в соответствии со всеми указаниями.

Видно и место, которое подчеркнул начальник отделения. Но не красным, что нацелило бы составителя обвинительного заключения, а простым карандашом, как бы для себя: «...в своих проповедях в церкви, давая понять молящимся, что под пришествием Антихриста разумею победу Советской власти...» Кошей знал, что в доносе на престарелого кладбищенского попа сообщается только, что тот сожалел о дореволюционных временах. А пункт об антихристе — явный результат прониинской редакции показаний священника, которая обойдется тому в три-четыре лишних года лагерей. Старому чекисту похвалить бы усердие молодого подчиненного, а он улыбается черт-те как! И так вот всегда...

Начальник отложил довольно пухлую папку с делом Крестовоздвиженского и открыл последнюю из принесенных на доклад. В отличие от других она была совсем тощая. Пронин заранее поморщился. Это было дело Синьковой. Черт бы ее побрал! Работавшая до ареста подсобницей на небольшой фабрике, Синькова упорно не признавалась, что в пылу кухонной свары кричала соседке: «Кабы не красная книжка, так твоего не то что в завмаги, в золотари не приняли бы!» Свидетелей, которые могли бы подтвердить сообщение доносчицы — она же оскорбленная, — не было. Бабы ссорились на кухне с глазу на глаз. Не удалось взять на бога и саму Синькову. На обещания, если не признается, сгноить ее в карцере, запороть или пропустить через нее электрический ток, бабенка только

причитала в голос и разводила страшную сырость. Когда же она поняла, что всё это только угрозы и осуществить их следователь не может, дело и вовсе зашло в тупик. Вот если бы Синькова обвинялась в диверсии или шпионаже, она у него через полчаса заговорила бы...

— Сколько вы будете возиться с этим делом? — брюзгливо спросил Кощей. — Пустяковой-то не бывает.

Ну, конечно. Не скажет спасибо за десяток отлично проведенных дел, а непременно придерется к малейшей заминке.

— Чем пустяковее, тем труднее, товарищ старший лейтенант!

Начальник взглянул на подчиненного исподлобья. Дерзит малый. Недоволен, что сидит на ширпотребе.

— Синькова — дочь раскулаченного. Тут есть сведения, что она выражает недовольство очередями, нехваткой товаров и вообще трудностями жизни. Разрешаю оформить по нелояльности, если уж не умеете лучше.

Оформить по нелояльности — значит найти еще одного-двух свидетелей, которые бы подтвердили антисоветский характер настроения арестованной. И тогда ее сошлют по литеру АСА — антисоветская агитация. В отношении кулацкой дочери это дело обычное.

Но было задето самолюбие. «Если не умеете лучше!» Вот сволочь! Будто не знает, что Пронин едва ли не лучше всех умеет оформлять дела по тому поводу, по которому они начаты. И при этом всегда развивает обвинение. Кипела обида. Начальник достал из сейфа несколько новых дел, еще более тощих, чем дело Синьковой, и протянул их следователю:

— Вот, ознакомьтесь с новыми поручениями.

Конечно, опять ширпотреб. Пронин обиженно стоял с папками под мышкой, ожидая разрешения удалиться. Сегодня о более интересных поручениях он даже и не просил. Что толку? Да и нельзя после замечаний по делу Синьковой. Но старший лейтенант достал еще одну тоненькую папку:

— Вот дело такого рода, о котором вы меня несколько раз просили. Оно не из нашего отделения. Дело организации в целом ведет отделение Котнарковского. У них завал, просят помочь. Ознакомьтесь, — начальник протянул папку

Пронину, – и можете либо принять поручение, либо отказаться от него, если чувствуете себя недостаточно подготовленным. Я не настаиваю...

Это было неожиданно. Может быть, Кошей нарочно подsunул что-то, на чем можно срезаться? Щуплый, узкогрудый парень с мордочкой хорька, одетый в форму НКВД, вытянулся по-военному и даже щелкнул каблуками. Вчерашнему детдомовцу и ретивому комсомольцу казалось, что это у него получается не хуже, чем у того киноактера, который изображал подпоручика в недавно увиденном фильме.

– Слушаюсь, товарищ старший лейтенант. Разрешите идти.

– Идите, – начальник сухо кивнул.

В дело вредительской и шпионской организации физико-технического института (ФТИ) Пронин вник насколько это возможно и нужно. Связался он и со следователем из группы Котнарковского, ведущего дело в целом. Этот следователь немногим моложе Кошей, хотя в органы переведен уже при нынешнем наркоме откуда-то из гражданской прокуратуры, считается в Управлении тяжелой артиллерией. Разговаривал он с Прониным почти как Кошей, с оттенком пренебрежения. Похоже, что недоволен его подключением к делу. Ну и черт с ним!

От Пронина требуется только, чтобы он как можно быстрее добился от Трубникова признания, что тот является главным звеном связи между учеными-контрреволюционерами ФТИ и германской разведкой.

В особо тонкие детали научного вредительства НКВД вообще не собирается вникать. Самое важное в этом деле – выявление всех замешанных. Это было куда проще. Первоначальный страх Пронина перед сложностью дела почти рассеялся, и в своем полном успехе он уже не сомневался. Задание казалось ясным, почетным и совсем не трудным. То, что главный следователь по этому делу смотрит на него косо, даже хорошо. Тем эффектнее будет впечатление от успеха сегодняшнего допроса. Карьера Пронина напрямую зависела от этого успеха.

Больше всего он думал сейчас о первых минутах встречи со своим подследственным. Очень хотелось продемонстрировать презрительный сарказм победителя. Холодно и небрежно ловить дворянского последыша на лжи, припереть к стенке, наблюдать, как будет извиваться ужом этот недавно пользовавшийся в своем мире таким уважением человек. Пронин узнал об этом из материалов дела, разговоров с коллегами и сексотами из ФТИ. Но, к большому сожалению Пронина, такой вариант развития событий был из области фантазий. Всё это было бы возможно, обладай он хотя бы минимальным объемом знаний из курса физики. Он не сможет пользоваться не только специальными терминами, но даже разговорный язык этого ученого не всегда будет ему понятен. И насмешливое пренебрежение к бывшему профессору, как бы жалок и принижен он сейчас ни был, может обернуться неловкостью для самого следователя.

Можно поступить иначе. Разыграть неудержимую ненависть человека из рабочего класса к подлому предателю и шпиону. Скажем, спросив фамилию, сразу же ударить преступника по лицу. Это один из обычных, но сильных приемов психологического оглушения. Однако для этого случая он не подходит. Интеллигентик, наверное, и так дрожит от страха. А если его чересчур перепугать, то, пожалуй, и слова вымолвить толком не сумеет.

Правильная тактика находится, скорее всего, где-то посередине. Вначале Пронин будет с бывшим профессором презрительно сух. Он покажет этому ученому индюку, что тот для молодого следователя – самый заурядный контрик. На робкое «Здравствуйте» Пронин не ответит. Не взглянув на вошедшего, занят-де, ткнет рукой по направлению к стулу, стоящему у стены. И только потом оторвется от бумаг, отрывисто спросит: «Фамилия?» – и, разыскав нужное дело в стопке папок, холодно и внимательно посмотрит на оробевшего арестованного. Затем с выражением усталости и скуки начнет допрос отрывистым, брюзгливым тоном.

Пронин взглянул на часы, снял с телефонного аппарата трубку и сказал: «Начинайте». В соседней комнате раздался громовой мат, хлесткие удары чем-то вроде плети или палки и отчаянный вопль. Это ему по задуманному сценарию

помогает сосед со своим помощником, умеющим удивительно подражать крикам от боли. Один ведет роль палача и хлопает линейкой по голенищу сапога, другой кричит истошным голосом. Даже если знаешь, что разыгрывается комедия, и то мороз по коже. Действует на подследственных, особенно новичков, здорово. Иные трясутся от страха, обмирают как слабонервные дети, даже просят воды. Давать воду, между прочим, сразу не следует. Вообще нужно делать вид, что крики за стеной – не более чем привычный рабочий фон.

Но напугать – не значит расколоть. Многое зависит от того, как будет задан первый вопрос. Можно тем же тоном, каким спрашивал фамилию и год рождения, спросить: «В какой контрреволюционной организации состояли?» и если в ответ начнется обычное невнятное бормотание, что вопрос непонятен, удивленно поднять брови: «Никак вы запыряться собираетесь?», зачитать показания однодельцев, показать их подписи. И только после этого переходить к угрозам, ругани и, может быть, рукоприкладству.

Впрочем, все это вряд ли потребуется.

В дверь постучали. После отрывистого «Да, да!» подследственный вошел, но ожидаемого «Здравствуйте» не последовало. Прошло добрых полминуты.

Это было непривычно и странно. Может быть, вошедший так испугался, что и слова произнести не может?

Пронин повернул голову и наткнулся взглядом на угрюмые и насмешливые глаза худого, заросшего щетиной человека, похожего больше на машиниста или портового рабочего, чем на профессора. Что за черт? Тот ли это?

– Фамилия? – спросил Пронин, но не резким и брюзгливым голосом, как следовало, а как спрашивают удивившиеся и даже несколько растерявшиеся люди.

– Моя фамилия – Трубников, – ответил арестованный, продолжая смотреть все тем же насмешливым и неприязненным взглядом.

– Садитесь! – От растерянности Пронин едва не добавил «Пожалуйста», а жест, которым он показал на стул, был почти вежливым.

Даже уткнувшись для вида в бумаги и вывода на бланке допроса какие-то каракули, он чувствовал на себе тяжелый,

ненавидящий взгляд человека, сидевшего напротив. Полное отсутствие страха в его глазах пугало, сбивало с толку. А тут еще визг этого артиста за стеной, от которого только и проку, что взгляд Трубникова наливается какой-то опасной свирепостью. Пронин пожалел, что и слышать не захотел о помощнике.

Он уже видел однажды такие глаза. Они были у агронома, которого хотели заставить признать, что он входил в состав центра повстанческой организации. Следователи и их помощники скопом избивали этого человека несколько ночей подряд, пока он не умер от сердечного приступа, так ничего и не показав. Участвовал в этих избиениях и Пронин. Но тот — бывший петлюровский вояка, а это — ученый, профессор... Интеллигентов Пронин представлял себе только мягкотелыми.

Мелькнула мысль, что Кошей нарочно подсунул ему Трубникова, зная, что на нем молодой следователь срежется. Но такое предположение сразу же отпало. Не только его начальник, но и следователи из отдела Котнарковского не предполагали в этом подследственном ничего подобного. Пронину просто не повезло. И очень крупно. Если сегодняшняя беседа с Трубниковым кончится ничем, значит, Пронин не умеет допрашивать арестантов такого ранга. И оставят его на осточертевшем ширпотребе.

Воздействовать на этого человека криком, бранью и угрозами — дело явно бесполезное. А пинки и пощечины были бы даже опасны, когда они находятся в кабинете только вдвоем. Можно, конечно, действовать увещеванием. Наобещать Трубникову всяких поблажек, если признается, и пугать усилением наказания и жестокими мерами, если будет упрямиться. Но верят в реальность посулов только наивные или поглупевшие от страха люди. А тут ни наивностью, ни глупостью, ни страхом и не пахнет.

Представление в соседней комнате окончилось. Но и наступившая относительная тишина не помогла Пронину что-нибудь придумать. А допрос надо было начинать.

— Имя и отчество, Трубников? — это было произнесено уже обычным, освоенным специально для допросов скрипучим голосом. Особенно противно звучало обращение — Трубников.

Алексею Дмитриевичу очень хотелось крикнуть: «Как вы смеете, мальчишка!» – но он сдержался и ответил.

– Год рождения?

Пронин задавал вопросы, не поднимая головы от бумаги и излишне тщательно записывая ответы. Он тянул время, как не подготовившийся к экзамену ученик.

По тону ответов он чувствовал, что допрашиваемый держится по-прежнему непочтительно и почти вызывающе. Другому бы это дорого обошлось. А тут приходилось терпеть. И перейти к главному вопросу по существу дела.

– В какой контрреволюционной организации состояли, Трубников?

Пронин задал этот вопрос в прежнем тоне и так же не подымая головы от бумаги. В отрицательном ответе он был почти уверен, как и в том, что такой ответ будет означать неудачу в деле, на которое он возлагал столько надежд. И все же, как школьник, наобум отвечающий на вопрос экзаменатора, он чувствовал что-то вроде робкой надежды – а что как угадал?

– Ни о каких организациях я понятия не имею!

Было ясно, что Трубников решил заператься и дерзить. Такое поведение, как правило, подследственным не прощается. Нельзя допустить, чтобы он, вернувшись в камеру, рассказал там, как независимо вел себя на допросе. Но тут дело обстояло еще серьезней. Этот недобитый аристократ, шпион и вредитель, наглым образом отвечающий следователю НКВД, даже и не знает, какую свинью подложил своему следователю! Но он за это заплатит! Пронин испытывал даже какое-то удовлетворение от того, что провал его дебюта стал уже очевидным фактом и терять ему теперь нечего. Досаду и растерянность быстро вытесняла обычная ядовитая злоба и желание отомстить за уязвленное самолюбие.

Стоит нажать кнопку под столом, и ребята, ожидающие таких вызовов в дежурке, сделают из этого спесивого белогвардейца отбивную. Но Котнарровский и ведущий следователь этого не одобряют и сочтут только лишним доказательством непригодности Пронина к ведению важных дел. «Грязная работа», – скажет ведущий следователь, а Кошей скривит губы: «Я же вас предупреждал...»

Будет лучше, если Трубников первый поднимет руку на следователя. Но нужно, чтобы спровоцировал его на это не сам допрашивающий, а кто-нибудь другой. Сводить счеты с ненавистными людьми без всякого риска для себя давно уже стало неосознанным принципом, второй натурой Пронина.

Он незаметно нажал кнопку два раза. Это означало вызов только одного человека.

— Значит, вы отрицаете свое участие в организации заговора в ФТИ? — Холодная злоба помогала теперь Пронину переносить даже взгляд Трубникова. Он сидел выпрямившись и уже не смотрел в бумаги, хотя удавалось ему это не без усилия над собой.

— Да, отрицаю. И организация эта — ваша выдумка!

— А вам известно, что вас уличают ваши же сообщники?

— Все это — провокация и ложь!

В кабинет без стука вошел широкоплечий, приземистый парень в куртке-спецовке и голубой майке. Очень хорошо, что именно этот. Богун был самым сильным, но и самым неспособным из всех мобилизованных в НКВД рабочих-комсомольцев, проходящих сейчас следовательский стаж. Из-за чрезмерной тупости и малограмотности его никак не могли аттестовать.

В присутствии помощника Пронин сразу почувствовал себя увереннее. Разыгрывая возмущение, он крикнул:

— Как вы смеете оскорблять советское следствие? Говорите, как называлась организация, в которой вы состояли?

— Если вы будете на меня кричать, я отказываюсь отвечать вовсе!

Пронин взглянул на Богуна: «Видал?» Тот подошел к Трубникову и стал, подбоченясь, прямо перед ним.

— Ты чего тут раскричался? А ну, встань!

Он хотел приказать подследственному стать к стене «на стойку». Это был самый обычный прием, которым подчеркивалось униженное положение допрашиваемого. Иногда «стойка» продолжалась часами и даже сутками, и тогда она превращалась в пытку.

Трубников продолжал сидеть.

— Встать, проститутка фашистская! — Богун сильно ударил Алексея Дмитриевича по ноге носком тяжелого ботинка.

Гримаса боли на лице оскорбленного человека сменилась через секунду выражением такой ярости, что Пронин вскочил со стула и схватился за пистолет. Богун попытался и тоже сунул руку в карман своей робы. Но выхватить пистолет он не успел. Удар кулаком в невыразительное, широкое лицо оскорбителя и насильника разрядил давно уже требовавшую выхода энергию ненависти. Она накопилась за месяцы тревоги перед арестом, за недели, проведенные в тоске и безвестности в душной камере, в эти последние полчаса, когда наглость вымогателей завершилась актом хулиганского насилия. Была в нем и неосознанная месть за горе Ирины, сиротство Оленьки, за всю бессмысленность и бесчеловечность происходящего, за которое, в сущности, не мог отвечать этот жалкий подручный палача.

Богун отлетел на несколько шагов и ударился о крепкую одностворчатую дверь кабинета, открывавшуюся вовнутрь. Пытаясь удержаться за ее ручку, он осел на пол. Пистолет Богунa, описавший вместе с его рукой широкую дугу в воздухе, ударился о паркет и полетел под шкаф.

Трубников находился в том состоянии почти звериной ярости, которая проявляется иногда в современном человеке как один из видов атавизма. Мышечная сила удесятеряется. Все реакции становятся до предела быстрыми и точными. Чувства боли и страха как бы выключаются вовсе.

Сквозь красный туман, застилавший глаза, вспыхнула оранжевая точка. Человек с лицом, перекошенным от злобы и страха, и от этого еще больше похожим на мордочку хорька, стрелял в Трубникова, стул которого оказался над головой этого человека. Звук выстрела слился с треском дерева, сломавшегося от удара о голову следователя. Прежде чем выпасть из рук рухнувшего на пол Пронина, пистолет выстрелил еще раз. Застекленный портрет Ильича на стене покрылся сеткой лучистых трещин.

Узкая дверь приоткрылась под напором нескольких человек из коридора, распахнутая полностью ей мешал сидящий и все еще оглушенный Богун. Теснясь в проеме,

ворвалась группа людей в форме и в штатском. Почти одновременно Трубников получил два или три удара револьверной рукояткой по голове и размашистый удар сапогом в живот.

Лицо и майка Богуна были залиты кровью из разбитого носа и губ. Теперь он сидел на стуле, пытаясь удержать кровь прижатыми к лицу руками. Пронин лежал на диване, и по его бледной щеке стекала узенькая струйка крови. Окружив лежащего на полу Трубникова, несколько человек свирепо избивали его ногами.

— Пре-кра-тить! — Голос начальника отделения звучал зычно и повелительно. И все же один из избивавших то ли не слышал приказа, то ли прикинулся неслышащим. Со зверской методичностью, расчетливо выбирая места для удара, он бил лежащего носком подкованного сапога, пока его силой не оттащили в сторону.

Вбежал человек в белом халате.

— Сюда, доктор, — позвали его к дивану, на котором лежал Пронин.

Взбунтовавшийся арестант продолжал лежать неподвижно — одна рука выброшена вперед, другая — неловко подвернута. Резко контрастируя с седыми висками, кровь лужицей растекалась на полу возле его головы.

Начальник отделения подошел к столу и взглянул в раскрытое дело. Против последнего вопроса на допросном листе стояло: «Свое участие в организации отрицает». Под бланком был другой лист, весь испещренный бессмысленными каракулями. Кошей усмехнулся углами рта, взял папку и вышел из комнаты. Врач, перевязав Пронина, подошел к Трубникову.

Ржавчина из скрытых труб, по которым подводилась вода к стенам «мокрого» карцера, задерживалась в порах бетона, образуя множество разнообразных по форме пятен и потеков. Неодинаковыми были и оттенки ржавого цвета, от светло-рыжего до бурого, на грязно-сером фоне мокрого цемента.

Вода лениво выступала из толщи стен и так же лениво каплями скатывалась вниз. Со сводчатого потолка капли звонко шлепались в лужи на бетонном полу, над которым

возвышались две продолговатые плиты. По форме и размерам эти возвышения сильно напоминали надгробия, отличаясь от них тем, что с одного края их поверхности были скошены наподобие больничных топчанов. Плиты служили кроватями заключенным карцера.

Одна из них была пуста. На другой сидел человек, в котором вряд ли даже близкий знакомый узнал бы сейчас профессора Трубникова. Один его глаз заплыл совершенно. Другой тускло блеснул сквозь припухшие веки, оставляя только узкую щель. Ссадин и кровоподтеков на лице не могла скрыть даже густая щетина седеющей бороды. Сквозь грязную повязку на голове проступали бурые пятна. Алексей Дмитриевич сидел на своей каменной кровати с той стороны, где на полу было меньше воды, подложив под себя свернутое валиком почти мокрое пальто. Он часто менял позу, опираясь на валик то одним бедром, то другим. Мучила боль, особенно в левом колене. Иногда он вставал и ковлялся по своему каземату, обходя лужи, скопившиеся в углублениях пола.

Вот уже три дня, как Трубников ведет точный учет времени. С того утра, в которое его сознание сделалось почти устойчивым. И этот каменный мешок стал доказанной реальностью, а не одним из постоянно меняющихся видений. На соседней плите он обнаружил только две карцерных пайки-трехсотки и две маленькие кружки воды. Тюремщики были точными.

Вчера кроме обычной трехсотки он получил еще и миску горячей баланды. Такая роскошь полагалась узникам карцеров один раз в пять суток. Значит верно, что он здесь уже шестой день.

Несмотря на боль, голод и жажду — она мучила его в этом мокром царстве едва ли не сильнее всего остального, — Трубников страдал сейчас не больше, а пожалуй, даже меньше, чем в камере до вызова на допрос. Как и всякий физически сильный человек, он быстро слабел от недоедания. Само же ощущение голода переносил сравнительно легко. Помогало привычное пренебрежение к еде.

Зато душевные переживания утратили свою остроту. Многое из того, о чём он прежде не мог думать без острой душевной боли, воспринималось теперь спокойно. Почти утихла

негодование и гнев, душившие его в камере. Частично они разрядились этой бешеной вспышкой у следователя. Но главной причиной усмирения гнева было голодное обескровление мозга. И всё же душевная анестезия голодом и слабостью не могла полностью заглушить горечь осознания потерь.

О себе как об ученом Трубников думал теперь в прошедшем времени и в третьем лице, как бы глядя на себя со стороны. Пытался определить и взвесить, насколько велика для науки потеря такого ученого? Но делал это пристрастно, стараясь доказать самому себе, что такая потеря совсем невелика. Что он — всего лишь один из армии чернорабочих науки, которым если иногда и удается что-нибудь не совсем рядовое, то исключительно за счет времени и пота.

Эта мысль нередко возникала у него и раньше, вызывая чувство бессилия и отчаяния. Но теперь он пытался утвердить ее в себе и развить. Трубников уподоблялся человеку, пытавшемуся убедить себя, что в потерянном им кошельке не было ничего особенно ценного. Если же память бестактно подсказывала ему, что ценности были, и притом настоящие, он пытался отогнать эту память или опровергнуть ее, что давалось ему с трудом.

«Ты необъективен и несправедлив, — уличала его правдолюбивая память. — Вспомни замечательные изобретения, которые ты делал еще мальчишкой-студентом, свои объяснения сложных явлений, остававшихся непонятными даже для корифеев Гохшуле, выдвинутые тобой удачные теории и поставленные тобой эксперименты!» Но Трубников не хотел верить собственной памяти и высоким самооценкам. Приводил обратные примеры. Сравнивал себя с другими учеными, великими физиками.

Иногда доказать свою научную неполноценность ему как будто удавалось. Тогда становилось легче. Но снова в памяти всплывали неопровержимые факты крупных научных удач, чужие непредвзятые мнения о себе, и острая боль утраты жизни в науке вспыхивала снова.

Еще слабее действовала анестезия при мысли о жене и дочери, потерянных, видимо, навсегда. Так же как после смерти матери он терзался сознанием, что при ее жизни был равнодушным и неблагодарным сыном, Алексей Дмитриевич

мучился теперь сожалением, что почти такое же отношение он проявлял и к милой, любящей жене. Мягкая и терпеливая Ира никогда не роптала видя его в иные недели только по ночам, утомленным и равнодушным ко всему, кроме каких-то теоретических или опытных задач. Она никогда не настаивала ни на одном из своих маленьких прав, естественных для молодой и привлекательной женщины. Прежде он принимал это почти не задумываясь, как должное. И только теперь понял всю глубину терпения и самоотречения своей жены. И если в отношении творческой работы помогала мысль, что тоска по ней может быть зачеркнута простым уходом из жизни, то горечи крушения семьи эта мысль заглушить не могла. В первом случае действовала возможность приведения к нулю субъективного восприятия. Человек для Общества, для Науки, для Истории — всегда единица из множества, исчезающе малая величина в подавляющем большинстве случаев. Но для своих близких он — часть их самих. И его потеря для них невосполнима. Мысль о возможности ухода не могла принести утешения, так как его смерть не облегчила бы участи дорогих для него людей, оставшихся в холодном, неприютном мире.

Но если в общей камере мысли всегда были только мрачными, то здесь, в силу того же психологического парадокса, вызванного притуплением душевных страданий, Алексей Дмитриевич нередко вспоминал и светлые страницы своего прошлого.

Вот день, когда он впервые увидел Ирину. Этот день вспоминался теперь так ярко, как никогда прежде на воле. Библиотечный зал института, в который профессор Трубников заходил не так уж часто. На месте референта-библиотекаря, в обязанности которого входили переводы, подборка литературы по темам и даже аннотации из иностранных источников, сидела новая сотрудница. Несмотря на привычное невнимание к женщинам, Алексей Дмитриевич заметил, что она молода, внешне очень приятна и одета с каким-то особым изяществом и в то же время скромностью. Может быть, именно это и привлекло его внимание, так как в те годы редко

одевались со вкусом. Перед ней стоял старший научный сотрудник одной из лабораторий, пожилой ворчливый человек, и что-то сердито ей выговаривал. Новый референт слушала его внимательно и смущенно.

— Сменили кукушку на ястреба, — сказал этот сотрудник Трубникову, садясь рядом с ним. — Полюбуйтесь переводом из «Архив фюр электротехник». Например, это: «Черезземельное сопротивление». Хороша переводчица!

Алексей Дмитриевич улыбнулся и искоса взглянул на библиотекарку. Она стояла, обернувшись к застекленной книжной полке, и украдкой вытирала слезы. Его веселость сменилась сочувствием.

Через несколько минут он подошел к ее столику и протянул руку:

— Трубников.

Она встала и ответила на рукопожатие:

— Ирина.

— А дальше?

— Николаевна. Но это слишком пышно для меня, Алексей Дмитриевич.

Она знает, как его зовут. Каким образом?

Это просто. Проработав здесь хотя бы несколько дней, нельзя не узнать, что есть в институте такой важный и знаменитый профессор Трубников, которого зовут Алексеем Дмитриевичем. Только она представляла его себе совсем не таким.

— А каким же?

Ирина с видом озорного мальчишки взглянула в сторону сердитого ученого, сидевшего к ним спиной, сделала постное лицо и показала руками пышную, окладистую бороду. Алексей Дмитриевич невольно опять улыбнулся. Она только что плакала! Что это? Легкомыслие или удивительная живость характера?

— Вот что, — сказал он негромко, — не «черезземельное сопротивление», а «сопротивление заземления». Вам надо знать научную и техническую терминологию.

И опять ее выразительное лицо опечалилось.

— Да, — Ирина вздохнула, — боюсь, что из-за этой терминологии я проработаю здесь только до конца испытательного

срока. А затем меня уволят как профессионально несоответствующую. Я неплохо знаю языки, но никогда прежде не делала технических переводов... — Она кусала губы, стараясь не заплакать.

Теперь сочувствие к ней было до странности глубоким и активным.

— Я помогу вам, — сказал Алексей Дмитриевич неожиданно для самого себя.

Так началось это знакомство, которое уже через три месяца привело к изменению строя жизни немолодого ученого.

Когда-то в юности Алеша Трубников дал зарок целиком посвятить себя науке. И чтобы служение ей навсегда осталось безраздельным, никогда не обзаводиться семьей. Тогда, конечно, это было проявлением мальчишеского энтузиазма и стремления к подвижничеству. Но и в зрелом возрасте Трубников нередко убеждался, что такой принцип не лишен действительного основания — при всей своей социальной неприемлемости. Очень многие научные работники, отдавшие поначалу все свое время, помыслы и стремления избранной науке, женившись, превращались в преданных мужей и заботливых папаш, которых вечно ждет семья и поглощают заботы о ней.

Но Ирина не только не помешала ему, но и стала незаменимым помощником в работе. Она была одной из тех редких женщин, которые, сами обладая ярко выраженной индивидуальностью, талантливостью и работоспособностью, умеют как бы растворить свою жизнь в жизни любимого человека. Она жила его интересами, его удачами и разочарованиями. И подчиняла этим интересам свои, далеко не всегда совпадавшие с тем замкнутым и однообразным характером семейного быта, тон которому с подсознательным эгоизмом задавал он. Теперь, вспоминая и анализируя многие мелочи из прошлого, Алексей Дмитриевич понимал, что давалось это ей не всегда легко.

Воспоминания о прошлом имели одну особенность. Все, что происходило до ареста, казалось лишенным ретроспективы, как бы лежащим в одной плоскости. Получалось так, вероятно, потому, что его сознание уже делило жизнь

на «до» и «после» ареста. И всё, что было «до», казалось уходящим в бесконечность. Тепло воспоминаний неизбежно сменялось холодом и безнадежностью действительности. Проснувшаяся боль и сырая мгла мокрого бетонного мешка гасили свет дорогих образов, вытесняя их.

Чтобы не сбиваться на мрачные мысли, Алексей Дмитриевич пытался поначалу загрузить рассудок отвлеченными теоретическими размышлениями. Прежде от них трудно было избавиться. Он сбивался на них со всех других мыслей, подчас даже во время обычного разговора. Но теперь мозг почти мгновенно утомлялся даже от незначительного усилия, как бы тупел. К тому же здесь не было необходимых в таких случаях справочников и пособий. Не на чем и нечем было даже нацарапать формулу.

Выручала проявившаяся здесь и постепенно обострившаяся способность к созданию образов, чего Трубников не замечал в себе раньше. Это была игра, которой часто развлекаются досужие люди, наблюдая за кучевыми облаками и строя из них замки, горы и всевозможные чудища. Здесь же материалом для творчества, вернее, канвой для него служили ржавые пятна на стенах, освещенные тусклым светом лампочки, лепившейся под самым потолком и забранной под ржавый решетчатый колпак.

Начало этому фантазированию положили бредовые видения первых двух суток в карцере. Тогда эти видения часто путались с явью. Они накладывались на явь, дробились и смешались во времени и пространстве. В состоянии такого полубреда и создавались сюжеты, которые впоследствии либо оставались совершенно устойчивыми, либо, если и менялись, то в пределах ограниченной темы. К устойчивым относился вон тот «водяной». Бурое чудище вылезало из серого озера, в воду которого ниспадали прямые космы — потеки его бурой бороды. Примером изображений второго рода были фантастические всадники: кузнец Вакула на черте, ведьма на метле, Хома Брут на ведьме. Эти видения по-разному варьировались и сменяли друг друга, но мотив коня и всадника всегда сохранялся.

Были и традиционные, облачные сюжеты: замки, пейзажи, горы. Большая часть этих изображений менялась

произвольно. Но и среди них попадались упрямые, погасить или изменить которые было нелегко. Для этого требовались значительные усилия воображения и воли.

Драгоценным предметом, во много раз ослабившим пытку мокрым карцером, было пальто. Оно оказалось здесь, вероятно, одновременно со своим хозяином. Это могло произойти только по специальному приказу следственного отдела. Лишение не только пальто, но и верхней одежды было одним из обязательных правил содержания в карцерах. И воды здесь было сейчас меньше, чем обычно. По рассказу бывшего белогвардейского офицера, долгоносика, попавшего сюда за то, что он обозвал своего следователя сопляком и щенком, вода покрывает поверхность пола сплошь, оставляя непогруженными только островки-кровати. Значит, кто-то заботится о сохранении жизни подпытошного. Так бы его называли во времена Московской Руси, когда лицемерных условностей было меньше. Трубников усмехнулся распухшими губами. Ему, конечно, еще предстоят вызовы, беседы со следователями, вымогательства и пытки.

Но обо всем этом он думал теперь почти равнодушно. Чем могут его запугать сейчас? У него нет больше ни реальной связи с прошлым, ни будущего. А настоящее — безразлично. Решительное «нет» на допросах — вот все, что он может предложить своим палачам-вымогателям.

Но он не хочет думать об этом. Куда лучше вернуться к своей картинной галерее на стенах карцера, которая всегда к его услугам. Часто, даже больше, чем нужно. Многочисленные образы в ржавых пятнах были способны надоесть, утомить, стать источником назойливого кошмара.

Тогда нужно смотреть на тоже ржавый, но совершенно пустой прямоугольник железной двери. Такой способ умирения разбушевавшейся фантазии надежнее, чем просто закрыть глаза. Этот прямоугольник да еще ржавый чугунный цилиндр параша в углу — единственные здесь устойчивые геометрические фигуры. Только они напоминают об объективности формы вообще. Все остальное в этом погребе — непостоянно, зыбко и неотделимо от большой и измученной человеческой психики.

Среди изображений на стенах, отдельно от других, совершенно особой жизнью живет портрет Льва Толстого, великого писателя земли Русской. Он расположился под маленьким, проделанным почти под самым потолком и в сущности бесполезным оконцем. Кроме частой, толстой решетки это оконце закрывает снаружи даже не козырек, а глухой железный колпак.

По бурой рубахе Льва Николаевича раскинулась серая борода. Угадывается поясок с засунутыми под него руками. Насупленные под седыми бровями глаза глядят сурово и укоризненно. Почему так строг Лев Николаевич? Разве он, Трубников, и все ему подобные труженики науки виноваты, что зла в мире так много и становится все больше? Они преданно и честно работали на благо науки, а значит и на общее благо...

Алексей Дмитриевич и гениальный чудак продолжали давно начатый неторопливый спор. Им обоим спешить было некуда. Один был узником, другой — лишь тенью.

— Виноваты, — отвечал Писатель. — Разве не был я прав, утверждая, что в прогрессе науки и техники нет избавления от зол, гнетущих Человечество. Наоборот. Они постоянно вооружают это зло, непрерывно его усиливают. Разве все чудеса вашей науки сделали жизнь людей и их самих лучше? Разве не на истребление и угнетение людей направляются они прежде всего?

Ученый возражал, что злоупотребление наукой происходит не по ее вине. Металлы, например, полезность которых не станет отрицать и Лев Николаевич, Человечество обратило, прежде всего, на изготовление оружия. Прогресса науки нельзя задержать, как и прогресса самой жизни. Наука — неотъемлемая часть развития человеческого Общества, присущая ему органически.

— Люди должны понять, — продолжал Толстой, — что рост знаний бесконечно опережает их духовное развитие. По недомыслию используя эти знания для совершенствования средств истребления и разрушения, они рискуют уничтожить даже то немногое, действительно полезное, чего добились за многие тысячелетия. Чем ярче пламя факела в руках пьяного дикаря или сумасшедшего, тем оно опаснее.

— Но почему Человечество всегда должно оставаться пьяным дикарем? — хотел возразить Алексей Дмитриевич. — Оно может и обязательно излечится от извечных недугов национального, классового и личного эгоизма. И тогда все производительные силы, в том числе и силы науки, пойдут ему только на пользу. — Но он вспомнил, что люди, являющиеся воинствующими сторонниками именно такого взгляда на развитие Человечества, на практике творят зло, которое ничем нельзя не только оправдать, но и объяснить. И что сам он — одна из бесчисленных жертв этих людей.

А Писатель продолжал:

— Для познания радости бытия и величия Природы человеку нужен минимум жизненных благ и совсем не нужна наука. И сколько бы камешков ни достал человек со дна океана истины, все равно этот океан, такой же безбрежный и непонятный, будет расстилаться перед его взором вечно.

И снова Алексей Дмитриевич мог бы возразить, что наука не ставит своей целью абсолютное познание, которое невозможно, да и не нужно. Ее обязанность — познание Мира до наивысшего возможного в данное время предела. И хотя с расширением этого предела еще быстрее расширяется и область непознанного, это должно не угнетать, а радовать людей. Разве может огорчить неисчерпаемость реки как источника живительной влаги тех, кто живет на ее берегах?

Но спор утомил Трубникова. Он сделал усилие, и борода Толстого превратилась в серый тусклый водопад в угрюмом ущелье среди бурых скал.

В двери с лязгом открылось оконце. «Получай!» — сказал надзиратель. Алексей Дмитриевич с трудом поднялся и проковылял к кормушке. Небольшой кусок плотного, тяжелого хлеба почти утонул в его ладони. Другой рукой он осторожно принял жестяную кружку с водой и сразу же поднес ее к губам. Но напряжением воли тут же заставил себя ее опустить, стараясь не расплескать — рука сильно дрожала; понес воду к своей каменной кровати.

Мучила жажда, причиной которой было голодание и нервное истощение. Тусклый блеск воды в лужах и звон ее капель постоянно напоминали о жажде, усиливая ее. Но пить воду из стен было нельзя — она отдавала тухлятиной.

Трубников поставил кружку на край плиты, сел рядом и начал свой единственный за сутки прием пищи. Он отламывал крохотный кусочек хлеба, осторожно проталкивал его в разбитый рот и запивал маленьким глотком воды, держа кружку обеими руками. На стене опять появился Толстой. Старик держал руки за опояской и хмуро думал свою вековечную думу. В разговор он не вступал. Его собеседник был занят.

Чтобы не сбиться со счета времени — это казалось почему-то очень важным, — Трубников придумал способ отметки дней. Параша примыкалась к стене толстой цепью с замком. Трением звеньев о цемент стены он очистил их с одной стороны по числу дней, которые провел здесь, и делал это теперь каждое утро. Со стороны замка зачистки успели снова заржаветь, но последняя, девятая, сделанная сегодня, еще только начала подергиваться ржавым налетом.

Днем сегодня приходил фельдшер. Парень с красной физиономией и тремя треугольничками в петлицах под грязноватым белым халатом. Сменил марлю под повязкой, но грязный окровавленный бинт оставил прежний. Осмотрел йодного цвета кровоподтеки на груди и боках и, кажется, ухмыльнулся. Затем приставил к груди стетоскоп и сказал: «Здехни!» Это, видимо, здешняя шутка. Пока фельдшер осматривал заключенного, дверь карцера оставалась открытой, и на ее пороге стоял надзиратель.

А голодание делало свое дело. Мысли становились все более вялыми и медленными. Обессилилось и воображение. Большая часть пятен на стене стала теперь просто пятнами. Остался только водяной портрет Толстого. Но споров с ним Алексей Дмитриевич уже не вел. Трудно было различить, где говорит Писатель и что думает он сам. Так было и сейчас. Чьими были эти медленные, тягучие и печальные мысли — его ли или доброго великого и все же наивного чудака-философа?

«Разве изменились застенки со времен византийских императоров? И разве бетон лучше известняка или гранита? И не прежними ли остались потемки и сырость казематов? И что изменилось в практике тиранического правления за многие тысячелетия? Во времена Торквемады людей под пыткой заставляли клеветать на себя и потом сжигали на кострах во имя милосердного бога. Но следователи и судьи инквизи-

ции все же верили в этого бога, хотя, вероятно, даже не замечали его злобности и лицемерия. А во что верят насильники из всемогущей полиции социалистического государства?»

Трубников лежал на своем мокром бетонном топчане. В коридоре по-обычному длинно прозвенел звонок отбоя. Неожиданно открылась кормушка. «Собирайся на выход!» — сказал надзиратель и сразу же распахнул дверь. В коридоре за ним стоял выводной.

Алексей Дмитриевич брел, припадая на левую ногу. Неужели его опять встретит этот мальчишка с мордочкой хорька? Трубников старался припомнить, насколько сильно он хватил его стулом и вероятно ли, чтобы этот следователь мог опять приступить к своим многотрудным обязанностям? Но, как и всегда, было очень трудно вспомнить, что происходило после появления в голове красного тумана. Вот разве что уж очень легким, почти невесомым показался ему стул. И что его ножка отлетела при ударе о голову следователя, хотя он бил рамой сидения. Вероятно, в нее попала пуля из следовательского пистолета. Впрочем, из разговоров более опытных сокамерников Трубников уже знал, что после решительной неудачи при попытке добиться от арестованного нужных показаний, а тем более — после скандала с ним, следователя обычно меняют. Меняют, как правило, и методы следствия. Говоря попросту — способы выбивания показаний.

Но всё это сейчас было ему безразлично, как будто касалось не его, а кого-то постороннего. Ни страха, ни ненависти Алексей Дмитриевич почти не испытывал. Было только чувство сожаления, что сейчас он уже не сможет повторить подобную гневную вспышку, даже если подвергнется новым оскорблениям. Теперь Трубников воспринимал это как проявление слабости, хотя прежде всю жизнь тяготился своей склонностью к срывам. И именно ее считал недостойной слабостью, едва ли не врожденной болезнью нервов. Но болезнь и голод, кажется, обуздали врожденную склонность к буйству.

На это, конечно, и рассчитывают его палачи. Повидимому, он им действительно необходим для дачи показаний, и притом непременно собственноручных. И пока что

нельзя допустить, чтоб он умер. От фетишизации личных признаний обвиняемых несло средневековым юридическим догматизмом. Без такого признания инквизиционный суд не мог отправить на костер еретика или ведьму. Виновость замученных во время пыток считалась не установленной. Но в двадцатом веке всё это было чуждо здоровой логике, казалось чудовищным анахронизмом.

Да, теперь вряд ли он взорвется, как в прошлый раз. Но физическая слабость не означает еще моральной податливости. О том, что от его стойкости зависит его собственное уважение к самому себе, жизнь и свобода многих друзей и товарищей, свобода жены, судьба дочери, он помнит, помнит...

Конвоир не понукал арестованного. Он даже позволил ему на лестнице держаться иногда за перила, обвязанные веревками для крепления сетки. Они миновали этаж, в который его ввели в прошлый раз. Значит, кабинет, во всяком случае, будет не тот. Это подтвердил и номер на двери, которую толкнул конвоир после разрешения войти.

За столом сидел немолодой уже человек в штатском. Он не изображал никакой особой занятости и сразу же оказал: «Садитесь!» Лицо следователя казалось умным и совсем не злым. И только взгляд был неприятен из-за избытка какой-то особой, профессиональной пристальности.

— Трубников Алексей Дмитриевич, если не ошибаюсь? — Таким тоном мог обратиться к посетителю вежливый хозяин любого служебного кабинета.

— Да. — Алексей Дмитриевич неожиданно почувствовал удовольствие от того, что он находится в сухой и светлой комнате, сидит на стуле и имеет возможность разговаривать с другим человеком. А вежливый тон и почти участливый взгляд этого человека вызывали к нему чувство невольной благодарности и расположения. Но Алексей Дмитриевич тут же спохватился. Похоже, к нему приставлен редкий в нынешнем НКВД тип следователя. Значит, надо быть особенно осторожным.

А тот, задавая вопросы в прежнем корректном тоне, заполнял формальную часть допросного бланка. Всё, видимо, начиналось с нуля.

Покончив с писаниной, следователь отложил ручку, выпрямился в кресле и сочувственным взглядом оглядел Трубникова.

– Плохо вам пришлось, – сказал он. – Но, согласитесь, что и вы вели себя не совсем как подобает арестованному на следствии.

Алексей Дмитриевич шевельнулся и только тут заметил, что стул прикреплен к полу. Он почувствовал что-то похожее на веселость и промолчал.

– Надеюсь, Алексей Дмитриевич, – продолжал интеллигентный энкавэдэшник, – вы поразмыслили там у себя, – он чуть кивнул головой в сторону коридора, – о бесполезности сопротивления нам.

В последних словах и тоне, которым они были произнесены, Трубникову послышалось палаческое хвастовство. Уже с некоторым раздражением он ответил:

– Мне не над чем было размышлять. Я невиновен.

– Значит, вы отрицаете свою принадлежность к контрреволюционной организации, действовавшей в вашем институте?

– Один раз я уже ответил на этот вопрос, и достаточно ясно. Я не верю в существование подобной организации.

– Так... – следователь рылся в каких-то папках. – А в каких отношениях вы находились с Ефремовым, бывшим директором института?

– В самых дружеских.

– И как давно?

– С ранней молодости. Я его ученик.

– А с профессором Гюнтером?

– Также. Мы знакомы с ним со времени моего обучения в Высшей школе в Германии.

– Так вот. Эти ваши друзья показывают, что в физико-техническом институте действовала вредительская и шпионская группа, в состав которой входили вы. Надеюсь, вы не будете утверждать, что они делают это по ошибке или из злых побуждений к вам лично?

– Я утверждаю, что вы меня провоцируете. Почему я должен вам верить?

– Вам знаком этот почерк? – Следователь перелистывал многостраничную рукопись, держа ее перед глазами Трубникова, но не выпуская из рук. Это был почерк Ефремова. Сомнений быть не могло, хотя строчки были неровными, неряшливыми и нервными. Но, может быть, в показаниях Николая Кирилловича написано совсем не то, что утверждал этот провокатор? Следователь не стал дожидаться требования дать проверить написанное.

– Слушайте, – читал он выдержки из показаний: – «...остался в революционном Петрограде для организации контрреволюционных группировок из студентов и распространения среди них неверия в способность рабочего класса восстановить хозяйство и культуру России...» – Наткнувшись на злое недоверие в глазах Трубникова, следователь повернул к нему страницу. – Можете убедиться. Я не отступаю от текста.

Да, всё было правильно. Ефремов писал именно так. Алексей Дмитриевич почувствовал тоскливое ощущение полного бессилия перед чем-то страшным, еще более злым и могущественным, чем он представлял себе это до сих пор.

«...В первые годы Советской власти всеми средствами мешал развитию науки в своей области, пользуясь доверием к себе, как к лояльному специалисту. Закупал за границей устаревшее и негодное оборудование для научно-исследовательских лабораторий и промышленных установок... Мешал росту отечественных научных и инженерных кадров и привлекал из-за границы иностранных специалистов и белоэмигрантов с целью увеличить численность враждебно настроенных элементов в среде технической интеллигенции. Впоследствии из этих же элементов вербовал вредителей и шпионов...»

Все здесь было поставлено с ног на голову. Все было диаметрально противоположно истине, и все было написано рукой самого Ефремова. Трубников помнил, сколько труда, хитроумной выдумки, бессонных ночей было положено инженерами и рабочими, чтобы заставить работать действительно негодное, почти списанное в лом, оборудование. На приобретение другого не хватало средств.

«... В числе других, пострадавших от Октябрьской революции специалистов, организовал возвращение из Германии

инженера Трубникова. Мне было известно, что к тому времени он был уже завербован в германскую разведку своим товарищем по работе инженером Гюнтером, сотрудником тайной полиции...»

Ефремов сообщал дальше, что Трубников получил от разведывательных органов Германии все необходимые инструкции и шифры для ведения тайной переписки под видом научной и деловой. С помощью этих шифров он передавал за границу секретные данные о научных и конструкторских работах в Советском Союзе и получал оттуда дополнительные указания. В частности, после установления в Германии власти национал-социалистов, Трубников получил приказ: при появлении в эфире радиосигнала быть готовым к выполнению крупных диверсионных актов.

Здесь следователь поднял голову, чтобы взглянуть на своего слушателя. Но сдержанно торжествующее выражение на его лице сразу же сменилось на почти испуганное. Трубников сидел, подавшись всем корпусом вперед и вцепившись ногтями в колени. Его обезображенное лицо было страшно. От бешеной, сумасшедшей ярости приоткрылся даже его разбитый, невидящий глаз. Своей кроваво-красной полоской этот глаз усиливал мрачное выражение другого, сверкавшего сквозь узкую щель распухших век.

Следователь сделал невольное движение корпусом, чтобы почувствовать успокоительную тяжесть пистолета под пиджаком. Очень не лишней предосторожностью оказалось и прикрепление стула!

Так они смотрели друг на друга с минуту. Но затем у обоих выражение лица стало меняться. Вспышка яростного негодования у Трубникова оказалась непродолжительной, и его напряженная поза сменилась усталой. Потух сверкающий мрачным огнем видящий глаз, и снова закрылся невидящий. Даже измятая одежда еще больше обвисла на исхудавшем теле. Обессиленный организм не мог долго питать энергию физического протеста даже против этой фантастической, противестественной лжи. А главное, этот протест не мог иметь теперь определенной направленности. Так или иначе, но участником клеветы против него был и старый, казавшийся непоколебимо верным друг.

А вызванный неожиданностью испуг следователя уступил место удивлению и выражению профессионального интереса: откуда у этого истерзанного человека такая нервная сила? Вряд ли она возможна при том состоянии психики, которое принято считать нормальным.

— Я понимаю, Алексей Дмитриевич, — голос звучал мягко и как будто сочувственно. — Вы не ожидали, что ваш сообщник и друг будет так откровенен с нами. Но он и сам уличен. Кроме того, у нас есть средства заставить говорить каждого.

Опять это палаческое хвастовство, исключающее истинную интеллигентность, какими бы убедительными ни казались другие ее проявления! Стиснув зубы, Трубников молчал. Следователь перелистал дело, нашел нужное место и продолжал чтение.

Ефремов писал, что он и Трубников организовали в своем институте контрреволюционную группу, в которую вошли почти все ведущие ученые и инженеры ФТИ. Трубников оказался последним, кто был арестован из этого длинного списка. «...Позже в нашу группу влились немцы-иммигранты. Все они получили вредительские и шпионские задания еще при отъезде из Германии. Немецкую группу возглавил Гюнтер, которого раньше всех остальных удалось вызвать в Советский Союз под видом преследуемого гитлеровцами социалиста...»

Теперь следователь наблюдал за Трубниковым исподлобья. Но тот казался совсем потухшим и опустошенным. Он слушал внешне безразлично, опустив голову и упершись руками в колени. Наступило спасительное притупление реакции, хотя тоскливое ощущение бессилия оставалось. Голос следователя казался теперь монотонным и бесцветным.

— Гюнтер в своих показаниях, — бубнил этот голос, — подтверждает все, сообщенное НКВД Ефремовым. В том числе и существование ваших давних контрреволюционных связей. Вот собственноручные показания профессора Гюнтера.

Трубников поднял глаза. Немецкий текст, несомненно, был написан рукой Рудольфа. Это был его острый почерк, характерный для тех, кто учился в немецкой школе, когда там обучали еще готическому письму.

С вялым, автоматическим любопытством Алексей Дмитриевич прочел несколько строк, показанных ему издали. В них Гюнтер писал о своем, якобы инсценированном участии

в сопротивлении фашистскому перевороту. Эта инсценировка была ему нужна, чтобы разыграть потом роль преследуемого, ищущего спасения на территории СССР. В конце каждой страницы показаний Гюнтера и Ефремова стояли их подписи. Энкавэдэшники щеголяли безукоризненным оформлением материалов.

— Как видите, мы располагаем достаточными данными, чтобы осудить вас и без вашего признания, — сказал следователь, закрывая папку, — и это далеко не всё, что мы можем собрать против вас.

— Зачем же вам еще и мои показания?

— Чтобы исключить возможность даже самой маловероятной ошибки.

Алексей Дмитриевич посмотрел в лицо следователя, ожидая увидеть на нем выражение насмешливого издевательства. Но его не было. Инквизиторское лицемерие стало, вероятно, второй натурой этого человека. Мучительно непонятна и вся эта возня, изматывающая, видимо, и самих энкавэдэшников. Часть неудобных режиму людей они ссылают и казнят, почти не разыгрывая кощунственную и мрачную комедию следствия и суда. Не проще ли было бы поступить так и в отношении всех остальных?

Но если Трубников не прочел насмешки на лице следователя, то следователь в выражении лица Трубникова ее заметил. Он поднялся из-за стола. Нервно прошелся по комнате. Остановился перед стулом, на котором сидел допрашиваемый.

— И главное, — он старался смягчить слишком очевидный алогизм своего ответа, и его голос зазвучал почти доверительно, — мы хотим иметь повод для смягчения вашей участи. Не только сохранить вам жизнь, но и вернуть к научной работе. Может быть, не сразу..

Трубников молчал. Всё разыгрывалось, как по нотам. Алексей Дмитриевич знал и об этом варианте унылого и не очень умного спектакля. Научная работа — приманка для таких как он.

— Вот бумага. Садитесь и пишите! — Следователь положил несколько листов на столик недалеко от двери, на котором стояла чернильница и лежала ручка с пером.

– Мне нечего писать!

Шаги по кабинету стали более нервными. Выдержка, видимо, давалась следователю уже не без труда.

– Послушайте, Трубников, – в его голосе проскальзывали теперь и жесткие нотки. – у нас есть средства заставить заговорить даже таких, как вы. Но это может стоить вам здоровья и трудоспособности. А они еще нужны нам в профессоре Трубникове.

Последние слова прозвучали опять почти вкрадчиво. И особенный акцент был сделан на слове «профессор».

Любопытная логика у современных инквизиторов! Чтобы спасти работоспособность схваченных ими людей, от них требуется самоклеветание. А сделать это они должны под угрозой лишения жизни или, по крайней мере, работоспособности. Единственный глаз Трубникова смотрел на следователя с нескрываемой иронией. А тот шагал по кабинету, круто поворачиваясь на каблуках. Он явно терял терпение.

– Вы думаете, я не могу приказать отобрать ваше пальто сегодня же? – голос звучал теперь жестко и зло. – Вы знаете, во что превратится тогда для вас ваш бетонный топчан? И каким станет ваш карцер, когда он будет залит водой сплошь, как и полагается? Вам известно, что у четверых из пяти заключенных «мокрого» за две недели развивается острый ревматизм? В условиях тюрьмы это означает инвалидность или мучительную смерть. А мы можем держать вас в карцере столько времени, сколько найдем нужным. Сидите! В этом отношении нас никто не ограничивает...

Насчет времени, положим, он врет. Этим обожателям буквы закона зачем-то нужны его показания в том же духе, что показания Ефремова и Гюнтера. И притом как можно скорее. Иначе зачем бы нервничать этому раблезианскому пушистому коту? Но его угрозы усилить режим карцера вызывают тоскливое предчувствие безысходного и медленного страдания. Угроза избиением или расстрелом звучала бы куда менее страшно. Но Трубников сказал:

– Нет, я ничего не буду писать!

Сквозь досаду и раздражение на лице следователя проступило профессиональное любопытство. Так, вероятно, опытный вивисектор смотрит на свою жертву, поведение которой

не соответствует установившейся норме. Он смотрел на Трубникова, что-то соображая, затем собрал со стола все бумаги, сунул их в железный шкаф, запер его и вышел из комнаты.

Когда открывалась дверь, гул голосов из коридора был слышен особенно явственно. Там полным ходом шла работа конвейера лжи, как выразился в камере неглупый парень Троицкий. Камера с ее обитателями казалась теперь почти такой же далекой, как и воля.

А не за мордобойной ли командой пошел следователь?

Нет, конечно. Это явная чепуха. В кабинете есть телефон и сигнализация. А главное, вряд ли этот интеллигентный заплечных дел мастер будет повторять приемы хорька. От него следует ждать чего-то худшего...

Следователь вернулся почти сразу. Снова достал свои бумаги и уткнулся в них. За стеной, в соседнем кабинете, как заведенный, убого варьируя слова и интонации, следователь выкрикивал одну и ту же фразу: «Говорить будешь? Будешь говорить?..» В ответ слышалось невнятное бормотание.

В дверь постучали. Вошел высокий, совершенно седой старик с потухшими глазами на землисто-бледном лице. Старик казался совсем больным и дряхлым. Неужели это — Николай Кириллович Ефремов?

Вошедшего тоже, по-видимому, удивило и насторожило присутствие здесь второго арестованного, да еще такого пугающего вида.

— Здравствуйте! — он переводил испуганный и удивленный взгляд с Трубникова на следователя.

— Здравствуйте, Николай Кириллович!

Ефремов вздрогнул. На его постаревшем лице отобразилось смущение, сострадание, острая душевная боль и мучительный стыд.

— Алеша! Бедный вы мой...

Они смотрели друг на друга, почти не узнавая, хотя эти люди еще несколько недель назад вместе работали и рядом жили.

— Садитесь, Ефремов! — Приказ звучал грубо, почти как окрик.

Старик, шаркая ногами — прежде этого не было, — направился к одному из стульев под стеной.

– Не туда! – Следователь поставил стул посреди комнаты, почти напротив Трубникова.

Ефремов сел, понурясь и глядя в пол. Он уже понял, зачем его сюда привели. Следователь перелистывал свои папки.

– Я не стану тратить время на вопрос, знаете ли вы друг друга, – сказал он после короткого молчания, – и приступаю сразу к делу. Вот вы, Ефремов. Подтверждаете ли вы показания, собственноручно написанные вами вот здесь? – Следователь приподнял пухлое дело.

Ефремов понурился еще более, втянул голову в плечи, как бы ожидая удара, и молчал.

– Я вас спрашиваю! – Следователь крикнул повелительно и грубо.

– Подтверждаете ли вы свои показания о том, что сидящий перед вами Трубников был членом контрреволюционной организации ФТИ? – Ефремов вздрогнул и беззвучно пошевелил губами. Следователь хлопнул по папке ладонью.

– Не мямлите! Подтверждаете или нет?

– Говорите, Николай Кириллович, – сказал Трубников. – Мне теперь все равно...

– Подтверждаю... – Это скорее угадывалось по движению губ старика, чем слышалось. Он нервно дрожал. Совершенно белая голова подергивалась. Глаза остекленело глядели куда-то сквозь стену.

Не верилось, что еще недавно это был пожилой, но жизнерадостный и остроумный человек, с живыми глазами, которые казались еще веселее от контраста с пышной седой шевелюрой. Возмущения против его малодушного предательства больше не было. Оно сменилось острой, щемящей жалостью.

Следователь писал, видимо, вел протокол очной ставки.

– А вы, Трубников, признаете уличающие вас показания Ефремова?

– Нет!

– Значит, он клеветает на вас?

– Он говорит то, что вы заставили его говорить!

Глаза следователя недобро сверкнули:

– Вам известны слова Максима Горького: «Если враг не сдастся, его уничтожают»?

Не знать этого было нельзя. Эти слова постоянно повторялись, примелькались на газетных полосах, лозунгах и плакатах.

— Мы не будем уничтожать Ефремова потому, что он прекратил сопротивление следствию и даже помогает нам.

«Стал на путь», — промелькнуло в голове у Алексея Дмитриевича.

— Он, вероятно, опять будет академиком. А вот вы, Трубников, своим упрямством лишаете нас возможности вас спасти. Возня с вами не может продолжаться до бесконечности. Скорее всего, уже завтра мы не примем от вас показаний, даже если вы будете умолять об этом. Вы уличены. И только полное признание вины может еще спасти вас. Признаете, что состояли в контрреволюционной организации?

Алексей Дмитриевич смотрел на жалкую, съжившуюся фигуру своего старого учителя и друга. Этот человек спасал себя. Но даже если допустить невероятное, что ему удалось сохранить год-два своей жизни, то сделал он это ценой бесчестья перед самим собой, моральной смерти и постоянных укоров совести.

— Нет, не признаю!

Следователь раздосадованно взглянул на Трубникова, нажал кнопку вызова выводного и стал дописывать протокол.

— Подпишите, Ефремов!

Тот, сгорбившись, подошел к столу, взял ручку и царапнул свою подпись в том месте, где следователь держал палец. Охранник уже вошел в комнату и ждал у двери.

— Идите в камеру!

По-прежнему сгорбившись и с трудом волоча ноги, Ефремов направился к выходу. Но когда охранник уже взялся за ручку двери, чтобы открыть ее перед ним, старик обернулся и низко-низко, с почти поясным поклоном склонился перед Алексеем Дмитриевичем.

— Прости меня, Алеша... Не думай плохо... Прощай.

— Прощайте, Николай Кириллович.

Следователь недовольно вскинул глаза. Охранник подтолкнул арестованного к двери: «Иди, иди...» Дверь закрылась с легким щелчком, как бы зафиксировав уход одного человека из жизни другого. Даже физическая смерть Ефремова

не смогла бы унести из памяти Трубникова светлый образ его старшего друга, учителя и честнейшего человека. Таким был прежде для него и Гюнтер, вдумчивый философ на свой чуть особый, немецкий лад, честный и немного наивный. Теперь эти образы изуродованы, отравлены. А вместе с ними отравлена и вера в силу доброго начала — даже в очень хороших людях. Вспомнилась глубокая тоска, застывшая в семитских выразительных глазах Певзнера: «Что толку в любви и дружбе труса? Зачем они?..»

Но малодушие тысяч и тысяч людей, попавших в сети НКВД, не может быть объяснено только трусостью. Мужество многих из этих людей доказано их предыдущей жизнью. Тем не менее, едва ли не все кончают соглашательством с бесчестным и преступным насилием. Может быть, он, Трубников, единственный на всю эту тюрьму, современный Дон Кихот, ведущий безнадежную войну с неодолимой силой неправды и бесчестия? Ну и что ж? Величие Дон Кихота, пусть немного смешное, в том и заключается, что он вступил в борьбу с силами зла, реальными или созданными его большим воображением, не выясняя, есть шансы на победу или их нет совсем.

— Подпишите, Трубников!

Алексей Дмитриевич проковылял к столу, пробежал глазами протокол, в котором было записано, что он отрицает обвинения Ефремова, и подписал бумагу. Он вернулся на свое место, сел и почувствовал вдруг такую усталость, физическую и нервную, что с трудом удерживался на стуле, чтобы не упасть.

Следователь смотрел на него нахмурясь, задумчиво и пристально. Раздражение смешивалось в нем с недоумением мастера, наткнувшегося на странный, не поддающийся обработке материал. Даже у него, лучшего следователя из самой сильной в Управлении группы Котнарковского, ничего пока не получается с этим упрямым и непокладистым фанатиком честности. А его еще поручили молокососу Пронину. Этот болван сумел вызвать ненужный эксцесс, и Трубникова, от большого ума, чуть не убили. В результате — потеряно почти десять дней.

Дело ФТИ, в общем очень стройное по замыслу и неплохо продвигающееся, может получиться совсем нескладным, если признание Трубникова не будет получено. Он, как

фальшивящая скрипка, расстраивает весь оркестр. А дело это надо заканчивать срочно. Оно необходимо для выполнения общего плана по раскрытию контрреволюционного вредительства в советской физической науке. Высшее начальство понукает и нервничает.

Усилить средства физического воздействия на Трубникова — дело почти безнадежное, а главное — опасное. Психическое состояние этого подследственного вызывает опасение, что он может совсем сорваться. Его психика вообще принадлежит, несомненно, к тому типу, который может сломаться, в любую минуту взорвавшись изнутри. И уж давно — в том состоянии, в котором она сейчас находится. А это будет означать крупный дефект, почти брак в ведении важного дела, к оформлению которого наверху будут особенно придираться.

Тюремный фельдшер, по приказу которого надзиратели ведут наблюдение за Трубниковым в карцере, докладывает, что его поведение весьма подозрительно. Заключение часто разговаривает с кем-то, кто будто бы находится в стене. Разглядывает стены и потолок своего погреба с таким видом, словно они расписные.

И следователь, и фельдшер имели немалый опыт наблюдения за тем, как здесь ежедневно лишались рассудка здоровые и общественно полезные люди. Если средневековые палачи часто бывали лучшими анатомами, чем их современники-хирурги, то нынешние — нередко могли поспорить с психиатрами в понимании больной человеческой психики. Во всяком случае той, которая ими же была изувечена.

Следователь опять нервно зашагал по кабинету. Такие, как Пронин, рассчитывают и умеют воздействовать почти исключительно на слабые стороны своих подследственных: малодушие, трусость, недалекость, моральную нестойкость... Как правило, этого достаточно. Но случается, что ни одного из этих качеств в подследственном нет. Тогда нужно, как это ни парадоксально, искать слабые места в сильных сторонах человеческого характера. Правда, ставка на одну из них — приверженность Трубникова науке — бита. Честность и принципиальность Гражданина оказались в этом человеке сильнее страсти ученого-исследователя.

Многие сильные и непугливые люди сдаются, когда угроза распространяется на их семьи. Но Трубников, по сведениям, к своей семье довольно равнодушен. Женился он в сорок лет на молоденькой библиотекарше, имеет маленькую дочь. Но ни хорошим мужем для своей жены, ни папашей-семьянином он, по-видимому, не стал.

Эта библиотекарша и сама по себе на примете у органов и подлежит аресту как посредница в тайной переписке мужа с границей. От признания Трубникова тут ничего не может измениться по существу. Но дело не в аресте Ирины Трубниковой, а в том, какое впечатление произведет угроза этого ареста на ее мужа. Способность к жертве во имя правды у фанатичных по натуре людей нередко доходит до преодоления даже дружеских и родственных чувств. Но очень редко во имя любви. Сексоты же докладывают, что этот фанатичный ученый сухарь влюблен только в свою науку. Однако нельзя оставить не испробованными и банальные средства. Следовательно остановился перед Трубниковым.

— Мучая сейчас себя и меня... — он слегка запнулся. Арестант устало и иронично усмехался своим единственным глазом и разбитыми губами: «Вот как! Не я один тут, оказывается, мученик...», но такую иронию надлежало не замечать, — вы думаете, наверное, что, махнув рукой на собственную судьбу, отведете беду от своих друзей и близких. Бойтесь, что мы заставим вас их вербовать. Обещаю вам, что не буду требовать от вас этого. Признайте только верность показаний Ефремова и Гюнтера.

И опять ироничный глаз! «Зачем? Ведь не я их, а они меня обличают...» Не замечать, не замечать иронии...

— В их судьбе это уже ничего не изменит, а вашу может облегчить. Моральной ответственности по отношению к своим бывшим товарищам вы более не несете. Я не искажил ни одного слова в их показаниях, а Ефремова вы видели сами. Они обличают, топят вас...

— Мне моя судьба теперь безразлична!

— А судьба ваших близких?

— Ответственность за нее только усиливает необходимость быть честным.

— То есть упорствовать в сопротивлении следствию.

— Да, если вы называете следствием вымогательство клеветы.

Следователь резко обернулся к Трубникову. Но от едва не сорвавшегося ругательства воздержался и снова, почти вплотную, подошел к заключенному.

— Вот что, Трубников! — По фамилии он обратился к Алексею Дмитриевичу впервые. — Мы исчерпали все средства заставить вас давать показания и вынуждены прибегнуть к последнему. Если вы не начнете писать их немедленно и, конечно, в соответствии с показаниями других участников вашей организации, ваша жена будет арестована сегодня же ночью.

— За что?!

Опытный слух следователя уловил в этом возгласе тревогу и испуг, которые проявляются только в тех случаях, когда опасность угрожает самым дорогим для них людям. Скрывая торжество — удача намечалась с неожиданной стороны, — следователь ответил равнодушно-назидательным тоном:

— За что, Алексей Дмитриевич, — это, так сказать, вопрос технический. Органы обладают неограниченными возможностями в этом отношении. А на вопрос почему, я вам уже ответил.

Трубников смотрел на своего мучителя с прежним выражением растерянности и внезапного испуга. Его глаз мрачно, угрожающе вспыхнул и почти сразу погас. Что-то надломилось в измученном человеке, и он снова поник. Но теперь его поза выражала не безразличие и усталость, а отчаяние. Не поднимая головы, Трубников спросил сдавленным, хрипловатым голосом:

— А если я напишу то, что вы требуете от меня, где гарантия, что моя жена останется на свободе?

— Я говорил не о гарантии свободы для нее, а о неизбежности ее немедленного ареста, если вы сейчас же не признаете своей вины.

Трубников сидел в мучительном раздумье. Угроза была чудовищной, сверхбеззаконной. Но закона здесь не было и в помине. Работники государственной охраны откровенно щеголяли, хвастались этим. Очевидно, инициатором произвола были не они, а кто-то на самом верху государственной власти.

«Сегодня же ночью». Мысль, и без того обессиленную, путала, сбивала с логической колеи эта угроза, которую ее правовая противоестественность делала еще более страшной. Оглушенный человек поднялся с трудом, будто преодолевая безмерную тяжесть, и поплелся к столику у двери. На столике услужливо стояла чернильница-невывливайка с простой ученической ручкой и лежала стопка бумаги.

Алексей Дмитриевич сидел на крышке параша в своей прежней камере, ожидая, пока надзиратель принесет из карцера его пальто. Измятая и местами разорванная одежда висела на исхудавшем теле, как на вешалке. Голова, повязанная грязным окровавленным бинтом, упала на грудь. Когда же Трубников с усилием поднял ее, чтобы взглянуть на сокамерников своим единственным открытым глазом, они увидели его обезображенное лицо.

Среди удрученно смотревших на него людей уже не было Кочубея и бывшего белогвардейского офицера. Их перевели в общую тюрьму ждать суда. Но накануне в камеру втиснули нового арестанта — бывшего главного режиссера городского драматического театра. В белоснежной еще сорочке и с бледным, но чисто выбритым лицом, режиссер лежал у самой параша и, как загипнотизированный, не сводил испуганных глаз от лица Трубникова.

— Дайте воды! — Алексей Дмитриевич принял кружку обеими руками. Но руки дрожали, и вода расплескивалась. Жадно, большими глотками он выпил ее всю.

Принесенное пальто Троцкий, ставший теперь вместо Кочубея старостой камеры, стелил узенькой полоской на месте Трубникова, отмеченном узелком с его вещами. Украдкой от хозяина он давал соседям потрогать пальто. Оно было насквозь мокрое и пахло плесенью. Люди подобрали ноги, и староста помог Алексею Дмитриевичу пробраться к его постели. Трубников заснул почти мгновенно, как будто впал в обморочное состояние. А когда спустя всего два-три часа продребезжал звонок подъема, Трубников, как автомат, почти не просыпаясь, уже стоял на поверке, получил и сразу же съел свой хлебный паек, лег и снова уснул. Следовательно

обещал ему разрешение спать в камере днем. По-видимому, это обещание он сдержал, так как надзиратель, часто посма- тривавший в волчок двери, ничего не говорил.

Состоянию Трубникова не удивлялся никто. Оно бы- ло обычным для тех, кто сдавался после упорного сопро- тивления.

Невдалеке сидел Певзнер. Его теперь постоянно та- скали на очные ставки. Но Самуил Маркович истощил, по- видимому, весь запас своей суетливой энергии. Он больше не устраивал истерик, всё время молчал и страшно исхудал. От этого его и без того большие глаза и нос стали особенно за- метными, придавая лицу выражение испуганной птицы.

Трубников протяжно застонал во сне.

— Скажите, — неожиданно обратился Троицкий к бывше- му режиссеру, — это вы постановщик «Очной ставки» в нашем театре?

— Да, я... — Режиссер смотрел на старосту настороженно, с испуганным выражением. Судя по его молчанию и неохот- ным, односложным ответам на обычные вопросы, он, видимо, считал себя здесь случайным и временным человеком. Такие первое время всегда боятся своих товарищей по камере и не доверяют им. А Троицкий продолжал, ни к кому персонально не обращаясь.

— У нас на нее культпоход был... Всем курсом. Со скид- кой, конечно. Интересная пьеса...

Режиссер по-прежнему, настороженно молчал. Он уже заметил, что староста камеры — подковыристый парень, и ждал, куда это он клонит. В «Очной ставке» почти обязатель- ной к постановке во всех театрах страны, доблестные чекисты ловят, конечно, при помощи честных и бдительных советских граждан матерого немецкого шпиона. В последнем акте этот шпион, прижатый к стенке неопровержимыми уликами, не отрицает более, что он — иностранный разведчик. Но реши- тельно отказывается давать показания: «Можете меня пытать, я не боюсь...»

— Там у вас следователь говорит шпиону: «Энкавэде не гестапо. У нас никого не мучают и не бьют». Так, кажется?

Теперь режиссер имел совсем уж испуганный вид и ви- новато мигал. Его выручил бывший директор элеватора.

– Да что ты пристал к человеку? Это авторов пьесы хорошо бы посадить сюда... Для практики...

В обед Троицкий отдал Трубникову баланду режиссера, который еще не мог ее есть, и почти половину его хлеба. И опять Алексей Дмитриевич делал все машинально, как автомат. Съел все, что ему дали, выпил много воды. Все это молча. И снова уснул.

Ночью на шелканье кормушки, вызовы, хлопанье дверью он даже не просыпался. Во всяком случае, ни разу не поднял головы и не проявил к происходящему никакого интереса.

В этом состоянии полузабытья и какого-то свинцового бездумья прошло два дня. Истерзанный организм несколько окреп. Восстановилась и работоспособность мозга. Но она не несла с собой ничего, кроме новой душевной пытки. Чем больше размышлял Трубников о своем признании, которое он сделал под гипнозом страха за судьбу своих близких, тем больше приходил к выводу, что совершил непоправимую, роковую ошибку. Он не только не спас свою жену от ареста, но, кажется, сделал этот арест неотвратимым.

Как ни туманно представлял себе Алексей Дмитриевич механизм выхватывания людей органами, он знал теперь, что форма при этом неукоснительно соблюдается, как некий обязательный ритуал. На арест должно быть чье-то формальное постановление, прокурорская санкция. Должен быть ордер. Все это вовсе не означает соблюдения истинной законности, а представляет только ее видимость. Но эта чисто формальная процедура исключает для следователя те возможности, ссылки на которые подействовали на Трубникова как представленный к горлу нож. Теперь становилось ясным, что этот нож – бутафорский.

Если ордера на арест Ирины не было, он и не мог бы появиться только по хотению следователя в ту же ночь. Если же этот ордер уже существовал, то он был выписан вне связи с поведением на следствии Трубникова. И тогда уже ничто не могло приостановить его действия.

Лживость следовательской угрозы была очевидна, лезла теперь в глаза. Только полной утратой способности к логическому мышлению можно объяснить его поведение в ту ночь. Но может быть следователь, преувеличив свои возможности,

сгушал краски, представляя дело так, будто за упрямство мужа можно арестовать жену, пускай через какое-то время, необходимое для соблюдения формальностей? И опять трезвое размышление приводило к выводу, что такая санкция может быть мыслима только как акт мелкой мстительности со стороны следователя. Но сам он не имеет права на производство арестов. А со стороны тех, кто этим правом обладает, арест жены с целью усиления воздействия на мужа лишен логического обоснования. Такой прием мог быть полезен, имей он демонстративный, откровенный характер. Но тогда беззаконие надо было бы назвать своим именем. А это делается только иногда, с глазу на глаз с подследственным, неофициальным образом. И очередному упрямцу опять ничего нельзя будет предъявить, кроме голословной угрозы. Но для такой угрозы вовсе не нужно реального ареста близкого человека.

Не может быть арест таких людей и условным: «Признаешься – выпустим твою жену, отца, мать, не признаешься – сгноим в тюрьме». Этого нельзя сделать, во-первых, потому, что такая условность также означала бы официальное признание полного отсутствия закона, и потому, во-вторых, что аресты носят необратимый характер. Судьба подлежащего аресту человека решена окончательно. Даже пробывших здесь самое короткое время отпустить нельзя. Они успевают узнать слишком много.

Выходило, что Трубников был сбит логически совсем слабым ударом, нанесенным, правда, после рассчитанного подавления его мысли и воли. И при этом не только нарушил принцип – соблюдать честь, жертвуя всем остальным, но ничего и никого не спас.

Более того. Сопоставление фактов подтверждало вывод, что аресты жен и близких людей находятся не в обратной, а в прямой зависимости от податливости арестованных на следствии. Алексей Дмитриевич знал, что жены многих его сотрудников по институту арестованы именно после того, как их мужья стали на путь помощи следствию. Та же фрау Марта, жена Понтера. Он знал ее еще миловидной белокурой фрейлин, забегавшей к своему Рудольфу в лабораторию Гохшуле.

Но, может быть, еще есть возможность спасти Ирину, решительно отказавшись от уже данных показаний? Заявив

об их вынужденной лживости, чего бы такое заявление ни стоило. Но подобное заявление имело бы смысл при условии, что отказ от прежних показаний был бы зафиксирован в следственном деле, приложен к нему в виде письменного документа. Бумаги же включаются или не включаются в эти дела только по усмотрению самого следователя. Если даже допустить, что следователь вызвал бы к себе подследственного по его просьбе и позволил бы тому написать свой отказ, то потом он эту бумажку попросту уничтожил бы. Говорят, что когда-то в таких случаях вызывали прокурора. Но теперь НКВД прокуроров и на порог не пускает. Разве что в качестве арестованных.

Логическая машина мозга, отказавшая в ночь допроса, работала теперь безостановочно со всё возрастающей отчетливостью. Сжимая сознание в тиски отчаяния от чувства непоправимой ошибки, она часто ставила рассудок на самую грань крушения.

Шли дни. Трубников ни с кем не делился своим горем. Угрюмо и молчаливо он целыми днями сидел под стеной на скатке из своего пальто, упершись локтями в колени и подперев руками голову. Только Троцкий иногда украдкой поглядывал на него, горестно покачивал головой, да Певзнер печально смотрел своими тоскливыми глазами.

Через неделю Трубникова вызвали в следственный корпус в дневное время. Это могло означать только подписание двести шестой — акта об окончании следственного дела.

Оформлял этот акт молодой следователь с приятным лицом и каким-то сочувственным взглядом. На форменном бланке значилось, что Трубников, Алексей Дмитриевич, привлекается к уголовной ответственности по статье 58, пункты 1-а, 9, 6, 11 и 7. Алексей Дмитриевич уже знал, что они означают. Он обвинялся в участии в контрреволюционной организации, шпионаже, диверсии и вредительстве. Недоумение вызвал только неизвестно откуда взявшийся пункт 1-а — измена Родине.

— Я не подпишу этого документа! — сказал Трубников.

— Почему? — спросил следователь.

— Потому, что я дал ложные показания и хочу отказаться от них.

— Это надо делать на суде, — тихо сказал следователь и громко добавил: — Этот документ означает лишь, что следствие по вашему делу закончено. Его подписание или не подписание ничего не меняет.

Похоже, этот чекист прав. Трубников поставил на бланке свою подпись.

— А какой суд будет рассматривать мое дело?

— Вероятно, Военный трибунал, — ответил молодой человек.

Алексей Дмитриевич ухватился за эту мысль. Конечно же! Он должен решительно и громко заявить на суде о лживости своих показаний. Каким бы ни был этот суд и какими бы ни были последствия. Теперь он хотел, чтобы суд над ним состоялся как можно скорее.

Однажды днем открылась дверь камеры и вошел человек, не похожий на обычных, только что арестованных новичков. Он был худой, заросший, но с наголо остриженной головой. Одет в рваный ватник, телогрейку и такие же ватные штаны. На ногах у арестанта было подобие каких-то опорок. Стоя на пороге с небольшим грязным мешком в руках, человек снял с головы изжеванную шапку-треух и сказал без обычной растерянности тюремных новоселов:

— Здравствуйте, товарищи!

— Здравствуйте, — ответили ему почти хором.

— Место свое я знаю, — сказал вошедший, садясь на крышку параша.

На вопросы он отвечал охотно и обстоятельно. Прежде всего, он не с воли, а из лесного лагеря под Архангельском. По специальности — инженер-силикатчик. Осужден за вредительство в промышленности строительных материалов почти год назад на пять лет ИТЛ. Писал многочисленные жалобы во многие инстанции. Наконец пришел ответ Верховного Суда: «Приговор отменить за мягкостью. Начать дело повторно со стадии предварительного следствия».

— Теперь лет пятнадцать влупят, — неожиданно заключил свой рассказ лагерник почти равнодушным тоном, будто речь шла о постороннем человеке.

— Значит, вы только навредили себе своими жалобами, — заметил кто-то.

— Не думаю, — ответил инженер. — Разве что ускорил пересмотр. Всех, кто был осужден до постановления об увеличении сроков, вызывают теперь под всякими предлогами на переследствие. Или шьют новое дело.

Все знали о правительственном постановлении, в котором сроки наказания за большую часть видов контрреволюционных преступлений увеличивались от десяти до двадцати пяти лет включительно.

— Но закон не имеет обратной силы, — сказал режиссер, поднаторевший в юридических вопросах при постановке «Очной ставки». Кое-что начал понимать и он, и уже меньше чурался товарищей по камере.

— А она и не нужна — эта обратная, — ответил лагерник. — После повторного следствия производится и повторное осуждение уже по новым законам.

Наступило молчание.

— Их и левая, их и правая... — нарушил его через минуту всегда молчавший немолодой колхозник, привезенный откуда-то из области.

— А как жизнь в лагерях? — опросил молодой инженер, специалист по радиотехнике. Он уже подписал двести шестую, ждал перевода в общую тюрьму, суда и отправления в лагерь. Радиотехник видел фильмы и спектакли о советских местах заключения, читал сообщения о досрочном освобождении многих тысяч строителей канала и помнил о процессе Промпартии. Парень рвался в ИТЛ, чтобы заработать себе свободу в суровых, но не лишенных своеобразной романтики условиях северных необжитых краев.

Вопрос о лагерях принудительного труда остро интересовал всех.

— А что именно товарищи хотят знать о лагерях? — Опытному, выдавшему виды каторжанину явно импонировало внимание почтительной аудитории. — Как кормят? Да приблизительно так же, как в этой тюрьме, если, конечно, заключенный выполняет норму на лесоповальных работах.

– Как? Такое питание при выполнении нормы! А если заключенный ее не выполнит?

– Тогда штрафной паек и штрафная баланда.

– А можно выполнить норму?

– В принципе, да. Конечно, если не стар, здоров, хорошо питаешься и имеешь навыки физической работы.

– А если какого-нибудь из этих условий нет?

– Тогда – штрафная баланда.

– Позвольте, – сказал профессор-ветеринар, – получается какой-то заколдованный круг. Выполнить норму можно только хорошо питаясь, а питаться хорошо можно только выполняя норму..

– Я не сказал, что на одном лагерном питании можно выполнить норму, – понизив голос, сказал инженер.

– Но кто-нибудь же ее выполняет?

– Некоторые... Некоторое время...

– А потом?

– Штрафной паек.

– Ну, а потом, потом?..

Лагерник оглянулся на дверь и пожал плечами. Снова наступило удручающее молчание.

– Ну, а вы как же?.. – спросил радиотехник. Он очень хотел уличить рассказчика в сгущении красок. Фильм «Аристократы» казался таким убедительным.

– Почему я жив? – инженер усмехнулся. – Потому, что я – придурок. Когда лагерю понадобился кирпич для печей, меня нашли уже в бараке доходяг. И поставили работать по специальности – обжигать кирпич в напольных ямах.

– А что такое доходяги? – Это спросил уже режиссер.

Рассказчик усмехнулся и, не вставая с места, показал движениями туловища и рук, как бредет еле живой человек.

– Которые, значит, доходят, – понял колхозник.

Вопросы сыпались бесконечно. Можно ли на барачных нарах лежать на спине? Тепло в бараках или холодно? Запираются ли на ночь их двери? Был даже вопрос, в любое ли время можно ходить по нужде или для этого, как в тюрьме, отведены специальные часы?

Прислушивался к ответам лагерника и Алексей Дмитриевич. Если он выйдет из тюрьмы живым, то только туда, в болотистую тайгу, заснеженную тундру или пустынные пески. Но он думал не о себе. И спросил у бывалого арестанта, видел ли он в лагерях женщин?

Конечно! Он их видел, и очень близко. И на пеших этапах, и на пересылках. Женское отделение есть и в том лагере, откуда его сейчас привезли. Даже на примитивном кирпичном заводе вместе с ним работали женщины. Кто они? Да как и все заключенные нынешних лагерей. Частично уголовницы, блатнячки. Официально такие называются бытовичками. Это — воровки, проститутки, содержательницы притонов, даже убийцы. Но такие сейчас в меньшинстве. Большинство составляют женщины, осужденные за контрреволюцию, враги народа, но большей частью не сами «враги», а ЧСВН.

— Это еще что такое?

— Члены семей врагов народа. То есть жены, матери, дочери осужденных. Иногда их сестры. Все те, кто подпадал под действие закона от 1 августа. Уголовницы называют контричек Марьями Гандоновнами и здорово их обижают, особенно на этапах и пересылках. Грабят, отбирают даже хлебные пайки. В этом отношении они хуже уголовников-мужчин.

Что такое закон от 1 августа? Вновь прибывший взглянул на спросившего со снисходительным осуждением. «Плохо газеты читаете!» И напомнил, что 1 августа 1935 года советским правительством был издан закон, широко тогда опубликованный и даже проиллюстрированный наглядными примерами по его применению. Согласно этому закону, близкие родственники человека, бежавшего за границу или не возвратившегося оттуда, подлежат заключению в далеких лагерях на сроки от пяти до восьми лет. Безо всякого суда и независимо от того, знали они о совершенном преступлении или нет.

Что-то тяжелое и мутное шевельнулось в сознании Алексея Дмитриевича. Ведь и в его деле непонятным образом фигурирует пункт 1-а, хотя он и не убежал за границу. Скорее наоборот. Он изменил за границе ради Родины. Варварский закон о заложниках должен иметь всё же ограниченное применение. Трубников опросил об этом нового сокамерника в арестантских опорах.

– Первоначально, да – ответил тот. – Но затем этот закон получил расширительное толкование. Безусловно репрессируются родственники тех, кто осужден по пунктам 1-а и 1-б, и почти всегда – жены шпионов. Очень часто можно встретить жен и матерей диверсантов, террористов, вредителей.

Цепляясь за смутную надежду на свой отказ от прежних показаний, Алексей Дмитриевич высказал предположение, что для применения закона от 1 августа все же нужно, чтобы приговор основному преступнику был уже вынесен.

– Как вам сказать? – пожал плечами умудренный опытом заключенный. – НКВД не сомневается в осуждении тех, кого удалось хорошо оформить на следствии. И берет их родственников, просто когда это удобно оперативному отделу. – Он не мог знать, какой едкой солью были его слова для душевных ран спросившего.

Снова загремел засов, и открылась дверь. За ней вместе с коридорным стоял дежурный по тюрьме.

– Выходи! – сказал надзиратель новоприбывшему.

Тот без особой торопливости надел свой треух и взял мешок.

– Спасибо этому дому.. До свидания, товарищи.

– До свидания! – Некоторые даже встали.

– Ишь ты, – буркнул Троцкий, когда дверь закрылась. – По ошибке, значит, его сюда сунули... и поторопились убрать, чтобы не просвещал таких как мы, лопухов...

Дни тянулись медленно и мучительно. Снова терзало чувство непоправимой ошибки. Нарастало сомнение в возможности ее исправить, воображение рисовало невыносимые картины расправы энкавэдэшников с его женой и дочерью. Чувство самообвинения вытесняло все остальное, превращаясь в маниакальную идею. Его не удавалось ослабить никакими доводами, никакими попытками самооправдания: «Ты, только ты виноват в полном сиротстве Оленьки, если ее мать арестована!» Напрасно Алексей Дмитриевич пытался внушить этому неумолимому внутреннему обвинителю, что даже самое худшее могло произойти независимо от его признания, что показать на Ирину по указке НКВД мог любой из арестованных сотрудников института. «Она не нужна им сама по себе, – твердил обвинитель, – и только по твоей глупости

и из-за твоего малодушия они могут применить к ней закон от 1 августа!» Трубникову временами казалось, что он стоит на грани сумасшествия. Что вот-вот механизм мысли и воли потеряет управление, пойдет вразнос, превращаясь в груды обломков.

И вот наступил момент, когда надзиратель распахнул дверь и произнес: «Собирайся с вещами!»

Был ранний вечер. Через небольшую дыру в ржавом железе козырька виднелись отсветы заката на холодно-синем небе ранней осени. С пальто и узелком Алексей Дмитриевич остановился на пороге камеры.

— Ну, до свидания, — сказал он, неловко обернувшись к товарищам.

— До свидания! — ответило несколько голосов, и только Троцкий сочувственно пожал ему руку.

— Прощайте Алексей Дмитриевич...

Во дворе стоял закрытый автомобиль для перевозки хлеба. На его стенках слово «хлеб» несколько раз было повторено вычурными буквами и для чего-то на нескольких языках. Постоянно встречая прежде такие автомобили на улицах своего города, Трубников давно уже привык не удивляться этой неумной выдумке работников торговли. Но для чего он здесь?

Вопрос разрешился, когда открылись задние воротца автомобиля-вагона. Вместо стеллажей для хлеба внутри был узенький коридорчик, по обе стороны которого тянулись двери крохотных клетушек-боксов. По шесть с каждой стороны. Назначением такого устройства могла быть только изоляция заключенных друг от друга при их перевозке. Но это имело бы какой-то смысл при поодиночной загрузке боксов. А сейчас их будущие пассажиры — более двадцати человек разношерстных небритых людей в измятой одежде и с узелками в руках — стояли тесной кучкой и с удивлением смотрели на автомобиль. Так вот для чего предназначаются эти, с виду такие безобидные, хлебовозки!

— Кабинок-то всего двенадцать! — вполголоса заметил кто-то.

— В НКВД нет предельщиков, — возразил ему другой.

— Разговоры! — рявкнул дежурный по тюрьме, сдававший арестованных начальнику конвоя.

Пределышки! Трубников вспомнил, что года два назад газеты были заполнены статьями о борьбе с ними на железнодорожном транспорте. Так обзывали специалистов, противившихся превышению установленных норм скорости движения и нагрузки транспорта. С ними победоносно боролся, конечно, при помощи тюрем и расстрелов, нарком железнодорожного транспорта Каганович. Он, как и Ежов, получил неофициальный титул «сталинского железного наркома». Потом пределышками оказались энергетики, не желавшие ломать перегрузкой агрегаты, и технологи в металлургическом и машиностроительном производствах. Слово «предел» приобрело почти контрреволюционное звучание.

Здесь проблема предела решалась просто. В каждый бокс запикивали по двое, хотя в нем было тесно даже одному человеку нормального роста. Конвоиры не могли не видеть, с каким трудом взбирается по лесенке Трубников со своей больной ногой. Но и к нему был втиснут второй пассажир, по счастью, небольшой и худенький человек в железнодорожной форме. Боксы из коридора запирали на задвижки. Те из них, в которые были посажены более крупные или толстые люди, конвоирам пришлось запирать, нажимая на дверь плечами. Было слышно, как лязгнул засов двери коридорчика. Машина тронулась.

Алексей Дмитриевич сидел на узенькой доске-перекладине, служившей скамейкой. Его спутник, чтобы не садиться к нему на колени, что было бы нормальным размещением пассажиров бокса, делал отчаянные усилия, упираясь локтями в стенки кабинки и стараясь удержаться в стоячем положении. Было совершенно темно. Светились только мелкие дырочки в небольшом железном колпаке, установленном над каждым боксом. Это были вентиляционные отверстия, без которых пассажиры тюремного фургона неизбежно бы задохнулись. Уже стемнело, и через маленькие отверстия был виден свет уличных фонарей, то яркий при приближении к ним, то совсем почти меркнувший.

Там, за тонкой деревянной стенкой, была улица. По ней шли, торопились по своим делам люди, не обращая внимания

на обыкновенную хлебовозку, испещренную затейливыми надписями: «хлеб», «хлеб», «брэд», «брот». Может быть, среди прохожих есть знакомые и близкие тех, кого везут в замаскированном тюремном автомобиле. Может быть, прошла Ирина...

Автомобиль сильно трянуло на выбоине мостовой. Маленький спутник Трубникова не удержался и плюхнулся к нему на колени. Алексей Дмитриевич вскрикнул от острой боли в разбитом коленном суставе.

— Эх, чертов собачник! — зло выругался железнодорожник. — Выдумала же его какая-то энкавэдэшная б...! Не могли обыкновенного ворона замаскировать, раз уж так людского глаза бояться...

Автомобиль круто повернул и остановился. В дырочках ярко вспыхнул свет фонаря. Через минуту машина снова тронулась, и свет померк.

— Ворота проезжаем, — сказал железнодорожник.

— В спецкорпус! — крикнул кто-то снаружи.

Опять короткая остановка под фонарем, снова ворота, и мотор заглох. Очевидно они прибыли к месту назначения. Было слышно, как вышли из машины конвоиры и один из них пошагал куда-то, наверное, с документами на прибывших. Предстояло ожидание приемки.

Товарищу Алексея Дмитриевича уже не нужно было удерживать себя в неудобном положении. Очевидно очень словоохотливый человек, он снова вернулся к теме о воронах и собачниках. Трубников узнал, что собачником называется на арестантском языке тот тип тюремного автомобиля, в котором они сейчас находятся. И что не все эти собачники замаскированы под хлебовозки. Есть и такие, на которых написано — «мясо».

— Приписать бы — живое, — хмуро сострил рассказчик. — Есть даже подделки под автобус. Снаружи все как следует. Окна с занавесками, надпись «служебный». А внутри такой же коридор и боксы.

— Откуда вы все это так хорошо знаете? — поинтересовался Алексей Дмитриевич.

Спутник охотно объяснил. Оказалось, что до конца следствия он сидел не во внутренней, а в железнодорожной тюрьме, расположенной на окраине города. И оттуда его много раз

возили на допросы в НКВД. Ну, а теперь, в связи с подписанием двести шестой, прямо от следователя привезли вот в эту общую – центральную городскую тюрьму. Железнодорожник вздохнул.

– Теперь, наверное, никогда уж больше окон своей квартиры не увижу... – и пояснил, понизив голос: – Я эти окна видел, когда меня на допрос в вороне везли. Дом, где я жил, как раз на той дороге пришелся.

Ворон – это старый и обычный вид тюремного автомобиля. Безо всякой маскировки и боксов. Общая коробочка со скамейками и даже оконцами, хотя, конечно, зарешеченными и непрозрачными. А главное достоинство ворона в том, что на его крыше установлен большой вентиляционный колпак с довольно крупными отверстиями. Через них видны окна вторых и третьих этажей.

К сожалению, воронов мало. Основным видом тюремного транспорта является собачник с его паскудной маскировкой и никому не нужными клетушками. И все же один раз рассказчика везли в вороне. Пришлось это на вечернее время, когда в его квартире горела электрическая люстра, переделанная из затейливой керосиновой лампы. Это означало, что семья железнодорожника пока проживает в прежней квартире. Потом, может быть, ее выселят, но жену, слава богу, не арестовали. И, наверное, уже не арестуют. Если НКВД считает, что семью надо ликвидировать, то старается сделать это срезу, не ожидая судебных решений и прочей формалистики.

Удивительно много, оказывается, может дать мимолетный взгляд на освещенное окно своей бывшей квартиры! Дорого бы дал Алексей Дмитриевич за такую возможность. Его квартира тоже во втором этаже.

Когда его увозили, Трубников смотрел через заднее стекло автомобиля. Золотистый свет в детской выделялся ярким прямоугольником в ряду неосвещенных окон. А на стене, поверх занавески, были видны зеленоватые тени от расписанного Ириной абжура. Этот светящийся прямоугольник остался последней отметкой в памяти о жизни по ту сторону черты, проведенной арестом. Он узнал бы его среди тысяч других.

Но зачем думать об этом! Тюремные маршруты лежат в стороне от их Технологической улицы. И надо, чтобы везли

обязательно в вороне и непременно не поздно вечером, когда в домах еще горит свет.

А название – ворон – происходит, конечно, от сокращенного – черный ворон, названия черной тюремной кареты...

Возле их машины послышались голоса. Подошли какие-то люди. Раздалось щелканье задвижек и приказ «Выходи!» Трубников с трудом спустился по вертикальной лесенке без перил. Сильно болело колено.

Прямо перед ним возвышался грязно-белый пятиэтажный корпус. И без того унылый фасад обезображивали бесчисленные ежовские намордники, нахлобученные почти на все окна. Небольшой, вымощенный неровным булыжником двор окружала невысокая кирпичная стена с крытыми площадками для часовых наверху и глухими железными воротами. И ворота, и небольшая железная калитка в них были закрыты. За стеной стояли другие корпуса, поменьше и без козырьков на окнах. В отдалении виднелась высоченная, казавшаяся белой от яркого, направленного вдоль нее света прожекторов, главная стена тюрьмы. Это и был, конечно, спецкорпус – тюрьма в тюрьме.

Костю Фролова привезли в том же собачнике, что и Трубникова. Но он был старый, бывалый арестант, и не удивлялся ни фальшивой хлебовозке, ни спецкорпусу, ни огромности Центральной, поразившей большинство остальных арестованных. Фролов уже сидел однажды в этой тюрьме, ездил в собачниках и даже предстал перед судом Военного трибунала. Но в своих показаниях на предварительном следствии загнул такую штуку, что Трибунал не стал судить Фролова и отправил его дело на передоследование. Теперь оно закончено, и Костю снова привезли в Централку ожидать нового суда.

Все это худенький подросток успел вполголоса сообщить окружающим, пока энкавэдэшники в фуражках с красными околышами совещалась о чем-то в сторонке с людьми в черной тюремной форме. На негромкие разговоры арестованных ни те ни другие не обращали внимания. Это обстоятельство Костя особо подчеркивал, вероятно, чувствуя себя здесь кем-то вроде ветерана, старожила и знатока здешних мест.

Костя очень гордился своим отцом, полковником Фроловым, и отцовским орденом Красного Знамени, и его именным оружием. Но и орден, и оружие забрали в ту же ночь, что и отца. Спустя два месяца была арестована и Костина мать. Его маленькую сестру сразу же поместили в детский дом, а Косте сказали, что он тоже будет воспитываться в детском доме, но не здесь, а в другом городе. А пока пускай несколько дней поживет один в прежней квартире — большой уже. И пусть не трогает печатей на шкафах, куда сложили описанное имущество Фроловых для конфискации. И в школу нужно продолжать ходить до отъезда в другой город. Учеба в седьмом классе — дело серьезное и пропускать ее не следует.

Вот в один из этих дней Костя Фролов и вступил на уроке истории в политический спор с учительницей. Рассказывая о генеральной линии Партии и о левом уклоне, учительница поносила Троцкого как отщепенца и предателя. Слово «троцкизм» взрослые произносили понизив голос, либо с проклятиями выкрикивали его с трибуны. На вопрос, что же это такое, они испуганно отмахивались и требовали прекратить подобные разговоры. Для любознательного Кости вопрос о троцкизме приобрел особенно мучительную остроту после ареста отца. Теперь всякий, кто хотел Костю обидеть, мог сказать: «А твой отец — троцкист!» В поисках ответа мальчик листал даже красные томики собрания сочинений Ленина, стоящие у отца в кабинете, стараясь извлечь оттуда все возможные сведения о Троцком.

И почти все запомнил, хотя вопрос о троцкизме оставался для Кости совершенно непонятым и очень болезненным. Он попробовал получить от учительницы истории сколько-нибудь внятные разъяснения о конкретных преступлениях Троцкого. Возмущенная до глубины души учительница, как истинная патриотка, немедленно сообщила «куда следует», что Костя Фролов, видимо, достойный сын своего отца и что яблоко от яблони недалеко падает. И уже через два дня Костя оказался в одной из камер следственной тюрьмы.

Но несмотря на ужас первых дней заключения, мальчик довольно быстро справился с отчаянием — помогли молодость, здоровая нервная система и неистребимая юношеская тяга к приключениям. Когда после первого допроса

у следователя Костя понял, чего от него хотят, он разыграл целый спектакль о своем участии в контрреволюционном заговоре. Следователь, видимо крайне неумный и малограмотный новобранец, быстро склеил «дело», даже не пытаясь разобраться что к чему. Он был очень доволен, что не пришлось долго возиться, и передал дело в суд. Но там более опытные товарищи быстро разобрались, что написанное — «сон сивой кобылы в летнюю ночь», это выражение часто употреблял Костин отец. И дело было отправлено на передоследование.

Так называемое доследование было просто пересоставлением Костиных показаний. Следователь теперь был другой и очень торопил Фролова, видимо для того, чтобы не дать ему времени сочинить новую каверзу. Придираясь к написанному по разным поводам, он заставлял его менять текст, перечитывая этот текст так и этак. И все-таки не мог избавиться от подозрения, что тут опять что-то не так. Уж очень хитрая физиономия у этого паршивца.

А интересного в тюрьмах немало. Хотя бы этот корпус. Межэтажных перекрытий внутри него нет. Они есть только у наружных стен, к которым примыкают камеры заключенных. Получается высоченный, на пять этажей зал, освещенный сверху застекленным фонарем, как в производственных цехах. На высоте каждого этажа тянутся металлические галереи с длинными рядами узких массивных дверей. Перила галерей и железных лестниц, которыми они соединены, обиты желтой медью. И на уровне каждой галереи по горизонтали натянута огромная веревочная сетка. Здорово!

— Фролов! — крикнул человек в черном, вызывая по списку новоприбывших. Костя в этом списке был первым.

— Константин Сергеевич! — ответил он звонко и привычно отошел в сторону. Именно на такое расстояние, как надо: ни далеко ни близко.

Затем новоприбывшие сидели на своих узлах в большой пустой камере и ждали санобработки. Костя объяснил новичкам, что сейчас им будут стричь машинкой волосы и бороды. Бритв здесь не полагается. А вещи арестованных будут пропаривать в огромных автоклавах. Они называются гелиосами. И все вши от этого подохнут.

После стрижки и мытья в душевой разбирали вещи, вываленные из гелиоса. От сваленной в кучу верхней одежды вперемешку с бельем, грязными носками и портянками поднимался вонючий пар. Все белье стало теперь еще грязнее и покрылось разноцветными разводами от полинявших цветных тканей.

Из камеры-ожидалки — Костя сообщил, что она здесь называется барахолкой, — очередное пополнение многотысячного населения Центральной разводили по камерам, вызывая одновременно одного-двух человек. Фролов и Трубников были вызваны вместе.

Высокий хмурый мужчина и сероглазый хрупкий подросток шли рядом по рифленому железному настилу одной из галерей огромного зала, чем-то напоминающего не то завод, не то корабль.

Мальчик украдкой поглядывал на взрослого, на стриженной голове и лице которого теперь ещё яснее были видны знаки страшных побоев. Он много раз видел следы избиения на своих взрослых товарищах по тюрмам. Да и его самого следователь угрожал отлупить резиновым шлангом, если будет запирается на допросах. И даже вынимал кусок такого шланга из письменного стола. Обыкновенная кишка, из которой дворники поливают улицу.

Косте вдруг пришло в голову, что, может быть, и его отец вот так же избит. А может быть и мама...

Надзиратель нашел нужный ключ в огромной связке и открыл толстую грязно-зеленую дверь с глазком и кормушкой. За ней была камера-двойка. Но сейчас на каждой из ее двух откидных коек спали по двое. По человеку было и под койками. Еще один лежал под задней стеной камеры напротив двери.

Однако по сравнению с перенаселенной внутренней тюрьмой здесь было просторно и комфортабельно. Кроме коек, о которых во внутренней уже и думать забыли, в стене под окном был вделан маленький железный столик на кронштейнах и по его бокам — два таких же сиденья. Правда, зарешеченное окно в нише полутораметровой глубины — стена была очень толстой — было меньше, чем во внутренней. Но,

как и там, оно было закрыто снаружи намордником. Разница в размерах окна была поэтому почти несущественна.

Новые жильцы камеры расстелили на бетонном полу свои легкие пальто и легли рядом.

— Пост по охране врагов народа сдал! — отчетливо и громко прокричал молодой голос наверху тюремной стены. Одна из ее сторожевых вышек пришлась почти напротив окна камеры.

— Пост по охране врагов народа принял! — ответил второй голос. Там происходила смена часовых.

Лицо мальчика и поза, в которой он уснул, были почти детскими. Только сейчас Алексей Дмитриевич рассмотрел его лицо. В ожидалке и еще раньше во дворе тюрьмы Костя Фролов показался ему излишне суетливым и даже немного вихляющимся подростком. Но теперь, впервые с тех пор как за ним захлопнулись двери тюрьмы, он ощутил удивительно теплое чувство почти отеческой нежности и сострадания к этому ребенку.

Бытовые условия здесь были гораздо легче, чем во внутренней тюрьме НКВД. Днем на полу в камере никто не сидел, так как хватало места для всех на койках и железных стульях под окном. По тюремным правилам койки на день должны были примыкаться к стене и запирались на замок. Но ввиду нынешней перенаселенности это правило не соблюдалось.

От двери до столика под окном можно было поодиночке прохаживаться, строго соблюдая очередь. Заключение всей камерой выводили на ежедневную прогулку в один из прогулочных двориков — небольших квадратов, обнесенных высокими обшарпанными стенами. На целых десять минут!

Но это некоторое смягчение внешних условий не могло бы само по себе умерить душевных страданий. Тюремный опыт показывал, что случалось скорее наоборот. Отвлекающее действие голода и физической боли Трубников испытал на себе и в мокром карцере. Здесь же неожиданное облегчение принесло его общение с заключенным подростком.

После первой же утренней поверки и прочих тюремных процедур Костя начал пытливо всматриваться в лица своих

товарищей по камере и осторожно выпытывать у них, кто они «по воле». Делал он это не из пустого любопытства. Он хотел понять, насколько и в какой области данный человек может быть ему полезен в качестве источника интересных сведений и знаний.

Самыми бесперспективными в этом смысле казались двое из его нынешних сокамерников: ксендз, бывший до ареста настоятелем местного польского костела, и уличный чистильщик обуви – ассириец по происхождению. Ксендз – худой седеющий человек, никогда и ни с кем в камере не разговаривал. Он казался страшно подавленным и всё время о чём-то мучительно думал. Прижимал к груди сцепленные пальцы рук, иногда с такой силой, что пальцы белели и хрустели в суставах, а священник вздыхал с выражением беспредельного отчаяния: «О, Езус, Матка Боска, цо его робыть, цо робыть?..» Коричневый, как будто насквозь прокопченный «ассур» был совершенно неграмотным и едва говорил по-русски.

Были еще два учителя, обвиняемых в принадлежности к повстанческой организации. Один – уже пожилой школьный преподаватель пения, бывший церковный регент. Другой – молодой еще парень довольно простоватого вида, «выкладывавший», как он сам выражался, «українську мову» в сельской семилетке. Иногда учителя вполголоса, но довольно хорошо, пели народные песни. Вряд ли это нарушение тюремного режима осталось незамеченным надзирателями на галерее, но они на него не реагировали, так же как и на негромкие разговоры заключенных. «Общая» действительно была гораздо покладистой, чем «Внутренняя».

С точки зрения Кости, гораздо интереснее учителей был немолодой колхозник, привезенный сюда из отдаленного района. В начале двадцатых годов он служил в кавалерийских погранвойсках в Средней Азии и принимал участие в войне с басмачами. Бывший кавалерист охотно делился своими воспоминаниями с товарищами по камере. Его рассказы напоминали Косте рассказы его отца о гражданской войне. Только склонить отца к таким воспоминаниям удавалось не часто – он был вечно занят.

Уже к концу дня для Кости оставался совершенно неразгаданным только его хмурый товарищ по вчерашнему этапу из

Внутренней. Перед ним мальчик робел из-за его угрюмости, несклонности к разговорам и этих страшных кровоподтеков и шрамов на худом лице с глубоко запавшими глазами.

Костя и здесь, конечно, не преминул похвастаться своей ловкой выдумкой, которой он так здорово разыграл НКВД и Военный Трибунал. Бывшему пограничнику и молодому учителю она очень понравилась. Улыбался в усы и старый регент. Безразличными к Костиному рассказу остались только ассириец и ксендз. Один его просто не понял, другой вряд ли даже слышал, занятый своими горестными думами.

А вот вчерашний товарищ по этапу не только слышал, но и как-то по-особенному воспринял этот рассказ. Мальчишка заметил это по выражению теплого участия в глазах Трубникова. Стало ясно, что этот хмурый человек по-настоящему злым быть не может. И хотя не без некоторой опаски, Костя решился задать ему вопрос: «А кем вы были на воле, товарищ Трубников?» Обращение по имени и отчеству было, по его понятиям, пока недопустимым ввиду отдаленности знакомства. Страшноватого вида арестант не одернул его и даже не нахмурился. Глаза Трубникова улыбались, когда он ответил любопытствующему: «Профессором физики, товарищ Фролов».

Это было не совсем точно. Алексей Дмитриевич был специалистом по одному из разделов технической физики. Но он приспособливал свой ответ к уровню Костиного понимания.

Костя открыл рот от неожиданности и восторга. Он давно уже мечтал о грамотном консультанте по вопросам технической фантастики, на которые ни от кого не мог получить толкового ответа. Была забыта даже диктуемая законом вежливости подготовка к более близкому знакомству. Вопросы посыпались сразу. Большею частью они были наивны, выявляли плохое преподавание физики в школе, где учился мальчик, надерганность и незрелость почти всех его представлений. Но в них сквозил пытливый и беспокойный ум.

Можно ли получить температуру ниже абсолютного нуля? Трубников невольно улыбнулся. Вопрос был прямо по его специальности. Когда люди полетят на Луну? Правда ли, что Земля в середине состоит из чистой платины? Можно ли

и в самом деле сделаться невидимым, как герой уэльсовского романа?

Объяснения по этому вопросу Костя старался понять по возможности глубже. Разочарованно хмурился и кусал губы — ему очень не хотелось верить в отрицательный ответ.

Приключенческой и фантастической литературой Костя зачитывался давно и нередко во вред школьным занятиям. Но с жанром фантастики в те времена дело обстояло вообще плохо. Жюльверновские произведения устарели, а хороших новых почти не было. Зато немало было издано плохих, способных только засорить мозги подросткам. Пробовал он читать и научно-популярные книжки. Но делал это беспорядочно, редко дочитывал их до конца и многого не понимал. В голове у него образовался порядочный сумбур.

Алексей Дмитриевич с несвойственным ему терпением пытался теперь привести в некоторый порядок хаотические Костины представления. Пояснения приходилось делать с большими отступлениями, приспособляясь к пониманию аудитории, которая состояла не из одного только Фролова. Лекции Трубникова слушали еще молодой учитель и бывший кавалерист.

Возможно, что главной причиной симпатии необщительного ученого к мальчику были те качества Костиного характера, которые напоминали Трубникову характер его жены. Та же непосредственность и трогательная доверчивость, которые привели когда-то к быстрому сближению Алексея Дмитриевича с Ириной. Строгий, а нередко и резкий с людьми Трубников терпеливо слушал наивные рассказы подростка. Большое место в этих рассказах занимало описание подвигов его отца. Многие из них были, вероятно, сильно преувеличены восторженным воображением сына. Костя часто занимался неумным и беспочвенным фантазированием. Изобретал давно уже изобретенные писателями-фантастами экраны, освобождающие предметы от силы земного тяготения, упорно возвращался к излюбленной идее — придать тканям человеческого организма абсолютную прозрачность. Целью всех этих размышлений, тайно поведал он своему другу, является изобретение надежного средства побега из далекого лагеря, в который его скоро зашлют.

Когда же Трубников с прозаической трезвостью доказал изобретателю полную абсурдность его идей, прожектёр тяжело вздохнул и решил заняться чем-нибудь попроще. Однажды он изложил проект воздушного шара типа монгольфьеровского, сшитого из оленьих шкур. Тоже, конечно, на предмет побега из будущих мест заключения. А как-то, понизив голос до шепота и наклонившись к самому уху Алексея Дмитриевича, Костя сказал:

— А я и в новые показания для энкавэдэшников сюрпризик заложил!

Трубников взглянул на своего юного приятеля неодобрительно.

— Что это за мальчишество, Костя? Ты глупо дразишь своих судей и только даешь им повод увеличивать тебе срок!

Костя обиженно насупился. Никакое это не мальчишество! Он даже не собирается сообщать суду, что скрыто в его новой филькиной грамоте. Заявление об этом он сделает потом, когда ему очень уж надоест там, в далеком лагере. Это вызовет новое следствие, для которого его опять привезут в родной город. По крайней мере, в одну из его тюрем, и он будет знать, что где-то рядом находятся знакомые улицы, стоит дом, в котором он родился и жил с родителями и сестренкой. Его бывшая школа с множеством знакомых ребят...

Алексей Дмитриевич должен был выждать, пока отступит сжавший горло комок, делая вид, что обдумывает новые Костины планы.

— Следователи к твоим писаниям относятся, конечно, настороженно, и уже сейчас смогут расшифровать эту твою... анаграмму...

Нет, Костя этого не боялся. Куда им! Второй его следователь крутил им написанное на все лады. И из первых букв строчек пытался слова составлять, и из последних. Даже кверху ногами бумагу держал. Но так и не допер. А буквы-то надо брать с начала каждой нечетной строки и с конца третьего слова каждой четной, и тогда получится фраза, которая написана на длинном полотнище, украшающем фасад Костиной школы. Мальчик оглянулся на занятых разговорами соседей и прошептал, почти касаясь губами ушной раковины Трубникова: «Спасибо товарищу Сталину за счастливое детство».

Затя мальчишки была серьезнее, чем можно было предполагать. Главной побудительной причиной всего этого опасного фокусничества оставалась его склонность к эффектам. Алексей Дмитриевич пытался внушить подростку, что платить за подобные эффекты новым сроком заключения просто безрассудно. Но Костя плохо понимал разницу в больших отрезках времени. Тюремные сроки в пять, десять или двадцать пять лет казались ему одинаково бесконечными, а следовательно, и безразличными.

Трубников ловил себя на том, что и сам относится к длительности срока, который ему неизбежно будет вынесен, с каменным равнодушием. Он старался объяснить себе это равнодушие концом своей жизни в науке. Для юнца же число загубленных лет должно быть сведено к возможному минимуму.

О самом себе Трубников думал все меньше. Судьба казалась окончательно решенной. И хотя часто вспыхивало острое желание снова побывать у своих приборов и установок, вдохнуть воздух лаборатории, пережить страстное чувство ожидания результата поставленного опыта, Алексей Дмитриевич почти научился его подавлять. А вот тревогу за судьбу своих близких он подавить даже и не пытался. Угнетало мучительное чувство ответственности за их судьбу и опасение, что он сам погубил жену и лишил матери малолетнюю дочь. Трубников пытался привести в порядок свои теперь значительно уточнившиеся представления о возможных последствиях для них того помрачения разума, которое овладело им в ту проклятую ночь.

Он знал теперь, что непризнавшихся, устоявших перед запугиванием и пытками судят только заочно. И ссылают в лагеря не по пятьдесят восьмой статье, а по одному из литеров. И к семьям таких упрямцев не применяют закона от 1 августа. Его невольное предательство по отношению к жене, совершенное им именно из желания ее спасти, теперь уже не подлежало сомнению.

Арестовать Ирину Трубникову могут, конечно, и безо всякой связи с его признанием. НКВД в таких случаях заводит самостоятельное дело. Но тогда это было бы только вероятностью. Теперь же ее арест сделался почти неизбежным.

Но чем меньше Трубников верил в вероятность спасения Ирины, тем больше цеплялся за возможность, что каким-то чудом она останется на свободе. Получалось, что его надежда питается не столько верой в благополучное развитие событий, сколько страхом перед их неблагоприятным исходом. А Трубников чувствовал и понимал — известие об аресте жены уничтожит его, морально убьет. И все же он стремился узнать правду, пусть самую страшную, хотя это было почти невозможно. Изоляция арестованных от внешнего мира соблюдалась строжайшим образом.

Вспоминался железнодорожник с его люстрой. Действительно, было бы достаточно одного взгляда на освещенные окна своей бывшей квартиры, чтобы решить вопрос, живет ли еще в ней его семья.

Выселение Ирины из квартиры или ее уплотнение были неизбежными. Но Трубников теперь знал — это произойдет только после окончательного решения его дела в суде. А вот для ареста Ирины по закону от 1 августа завершение его дела было совершенно не обязательно. Опытные арестанты объяснили Алексею Дмитриевичу, что для простого выселения должна быть ссылка на решение суда, тогда как причины ареста НКВД никому объявлять не обязано.

Но возможность взглянуть на окна своей квартиры оставалась только мечтой, пока однажды Костя не заметил вскользь, что теперь трибунал помещается в здании штаба Военного округа. Трубников, слушавший до этого рассеянно, встрепенулся. Он этого не знал.

— Штаб — это здание на площади Петровского?

— Да.

— А ехать отсюда на эту площадь надо по Технологической улице?

— Нас и везли по Технологической. А что, Алексей Дмитриевич?

— А в какой машине везли?

— В воронке. А что?

Трубников вскочил и взволнованно прошелся по камере, хотя очередь ходить была не его. Костя смотрел на него с удивлением. Что особенного сообщил он Алексею Дмитриевичу? А тот продолжал возбужденно шагать.

Выходило, что возможность взглянуть на окна своей квартиры не исключена и для него. Правда, пока только теоретически. Необходимо соблюдение ряда условий. Судить его должен непременно Трибунал. В отличие от Военной коллегии этот суд заседает в дневное время. Значит надо, чтобы с суда его везли непременно не поздно вечером и непременно в воронке. Пока что из всех этих условий Алексею Дмитриевичу казалось почти гарантированным только первое.

Костя подтвердил, что через вентиляционные отверстия тюремного автомобиля можно видеть все, что находится между первым и четвертым этажами. Вообще-то это зависит от ширины улицы, но окна вторых этажей видны во всех случаях. Он тоже смотрел в эти дырочки. Так просто, чтобы что-нибудь увидеть. Их дом совсем в стороне, да и смотреть там теперь нечего. Костя закусил губу и умолк.

Алексей Дмитриевич подождал немного. Грусть мальчика была как всегда недолгой.

— А на Технологической ты что-нибудь заметил?

— На Технологической? А что в ней особенного? — Вот разве фигуры здоровенных дядек, налепленные на фасад здания, в котором помещается гастроном. Он их видел.

Дом, в котором жил Трубников, находится очень близко от бывшего Елисеевского магазина и по той же стороне улицы.

— Вот что, Костя...

Взрослый и подросток серьезно и деловито обсуждали практическую возможность для Алексея Дмитриевича увидеть окна своей бывшей квартиры. Получалось, что шансов не так уж мало. Повезут непременно в обыкновенном тюремном автомобиле. Костя в этом был совершенно уверен из соображения удивительно простого и умного. Автомобиль останавливают и выводят из него арестантов во внутреннем дворе штаба. Замаскированный собачник показывать там нельзя. Тех, чье дело назначено для рассмотрения в Трибунале, отвозят в штаб обыкновенно с утра. Там у них есть подвал с камерами для подсудимых. Но при этом строго соблюдается принцип: однодельцев ни в один вагон, ни в одну камеру до осуждения не сажают. Поэтому воронок, когда едет туда, делает довольно много рейсов. Зато обратно он забирает всех за один-два раза.

Об изоляции осужденных друг от друга тюрьма нисколько уже не заботится. Теперь их разделят только на контриков и бытовиков. Да и то только до большого этапа в лагеря.

Обратные рейсы от Трибунала до тюрьмы делаются обычно, когда у трибунальчиков заканчивается их рабочий день, но до вечерней поверки в тюрьме. Сейчас уже осень. Темнеет рано. Очень, очень возможно, что Трубникову удастся увидеть окна своей бывшей квартиры именно тогда, когда они будут освещены.

Большую часть этих соображений высказал Костя. Деловито и толково он давал советы, как ориентироваться через дырочки вентиляционного колпака по различным приметам, расположенным на уровне второго и третьего этажей. Такими ориентирами были дома не совсем обычной архитектуры, скульптуры, мосты. Помогали ориентировке и просветы на месте пустырей и недавно разбитых садилов.

Итак, возможность решить мучительный вопрос была вполне реальной. Если золотистый свет всё еще горит в окне Олиной комнатки, его луч останется маяком в черноте жизненной ночи ее отца. Если же там нет более этого света...

От этого второго «если» Алексей Дмитриевич мог умолкнуть на полуслове, сникнуть и подолгу сидеть, обхватив голову руками. В такие минуты умолкал и Костя, стараясь не потревожить старшего друга даже неосторожным движением.

Через несколько дней Алексея Дмитриевича вызвали в помещение дежурного по тюремному корпусу.

— Трубников? Прочти это и распишись! — сказал ему угрюмый, давно не бритый человек в черной форме и с двумя шпалами в петлицах.

На тонких слипающихся листах папиросной бумаги было отпечатано обвинительное заключение по группе ФТИ. Это была тенденциозная трактовка ряда показаний, в том числе Ефремова, Гюнтера и Трубникова. Всё здесь сгущалось до крайней степени, искажалось и преувеличивалось. Упоминание о каком-нибудь лопнувшем баллоне превращалось в несостоявшуюся диверсию, неудача опытной конструкции — в запланированное вредительство.

Стало понятным и происхождение пункта 1-а. Один из инженеров института написал на себя, что, находясь в заграничной командировке в качестве приемщика оборудования от иностранной фирмы, всячески затягивал приемку, придираясь к небольшим недоделкам. А делал он это потому-де, что хотел войти в контакт с антикоммунистическими организациями на предмет невозвращения на родину. Искомое контакта он тогда не нашел и на родину вернулся. Потенциальный изменник поведал обо всем этом в порыве безудержного раскаяния. Вскользь инженер упомянул и о том, что затягивать приемку ему помогала требовательность профессора Трубникова, для лаборатории которого предназначалось заказанное оборудование. Отсюда составитель заключения сделал вывод, что Трубников сознательно помогал несостоявшемуся изменнику.

Об этом и о многом другом, что было написано в обвинилровке, Алексей Дмитриевич узнал только сейчас, читая этот документ. И тем не менее, в конце было написано, что во всех перечисленных преступлениях Трубников виновным себя признал, как, впрочем, и все остальные обвиняемые.

Ткалась липкая паутина лжи, окутывающая его всё плотнее. Она составлялась из многих и разных кусков. Но самым прочным был тот, который был сделан на основе его признания. Пауки из НКВД не преминут использовать его для удущения Ирины.

– Быстрей читай, Трубников!

Самым главным и самым существенным для Трубникова в заключении было то, что дело передавалось на рассмотрение Военному Трибуналу.

– А как же я останусь без вас, Алексей Дмитриевич?

В глазах Кости появилась несвойственная ему тоска. Грустил и Трубников. Оба знали, что после суда, независимо от его исхода, арестованных не возвращают в их прежние камеры. Первым вызвали мальчика. Незадолго перед раздачей обеда загремел засов двери. За ней стоял дежурный по корпусу с бумажкой в руках.

– Фролов!

– Есть! – Костя, совсем детским движением, схватился за рукав Алексея Дмитриевича.

– Имя и отчество?

Прежде Костя всегда радовался всяким переменам в однообразной тюремной жизни. И ему нравилось, что у него, как у взрослого, спрашивают это имя-отчество. Но сейчас он весь сжался и ответил не обычным своим звонким, а хриплым петушиным голосом.

— Собирайся, поедешь на суд!

Мальчик стоял растерянно и неподвижно, хотя ждал этого вызова уже давно. Всю горечь и неотвратимую реальность разлуки с Алексеем Дмитриевичем Костя почувствовал только теперь. Он привязался к нему так сильно, как был привязан только к своему отцу. Что-то общее было для него в этих мужчинах при всей их непохожести. Насильственно и грубо его разлучили с родным отцом. Теперь с этим, его заменившим. И тоже, наверное, навсегда. Оба могли еще долго оставаться в этой тюрьме. Но им никогда уже не встретиться ни в ней, ни вообще в гигантском водовороте жизней за тюремными стенами и оградами из колючей проволоки.

— Пошевеливайся, Фролов, не задерживай!

— Иди, Костя. Желаю тебе удачи. — Трубников надел на голову мальчика измятую кепку и положил ему на руку замызганное летнее пальто. Молодой учитель протянул Косте узелок с его вещами.

— Алексей Дмит-ри-е-вич... — губы мальчика дрожали. Он уткнулся лицом в грудь Трубникова и горько заплакал, по-детски захлебываясь слезами.

— Выходи, Фролов!

Волоча пальто, сгорбившись и с трудом отрывая ноги от пола, Костя поплелся к выходу. От слез он плохо видел дорогу и ткнулся плечом в косяк дверного проема. На галерее обернулся и встретился с глазами Трубникова, опять угрюмыми и полными тоски. Через секунду между ними уже была толстая, обитая железом дверь.

— Ирина Николаевна, — Вайсберг обращался к ней подчеркнуто вежливо, официально и сухо. — Прошу вас явиться сегодня к семи часам в малый лекционный зал на собрание.

Спросить, что будет обсуждаться на этом собрании, она не решилась. Личное приглашение скромного технического

сотрудника, а теперь еще и жены арестованного, со стороны секретаря партийной организации пугало и настораживало. Это чувство усилилось, когда Вайсберг, что-то, видимо, вспомнив, обернулся от двери библиотечного зала и сказал:

— Может быть, вы будете так добры, что пригласите на это собрание и гражданку Ефремову. У нее теперь нет телефона.

Если Трубникова оставалась еще на работе, то Ефремова была всего лишь женой врага народа. Значит, и ее приглашают на это собрание в таком же качестве. Но зачем? Сердце тревожно сжалось от предчувствия недоброго.

Вайсберг отлично знал имя и отчество Ефремовой, но назвал ее гражданкой. Как постовой милиционер на улице. Знал он и о старой дружбе Ефремовых и Трубниковых и, конечно же, о том, что Ирина и Марья Васильевна сохраняют эту дружбу. Теперь их объединяла еще и инстинктивная общность отверженных. К тому же Марья Васильевна нуждалась, хотя и с недавнего времени, в постоянном уходе и помощи. Из бодрой пожилой женщины она превратилась в беспомощную старуху. И произошло это всего за один последний месяц.

В прокуратуре привыкли к Ефремовой, которая каждые три-четыре дня, выстояв длинную очередь к дежурному, задавала свой постоянный вопрос о муже, и тот, даже не заглядывая в свои ведомости, отвечал: «Все еще находится под следствием, гражданка Ефремова». Он уже запомнил ее фамилию. Но однажды он прочел в толстой книге, разделенной по алфавиту: «Ефремов, Николай Кириллович, 1874 года рождения, сослан без права переписки».

Но ведь ссылают только виновных! А Николай Кириллович ни в чем не виноват. Она знала это точно. Не было в той книге справок никаких сведений о том, куда сослан, по чьему решению и на какой срок. Не все знали, что за формулой «сослан без права переписки» скрывается смертный приговор или гибель в заключении.

Домой Марья Васильевна возвращалась уже не обычными своими мелкими, но бодрыми шажками, а плелась, сгорбившись, постарев на десять лет. Иногда она останавливалась, вызывая недоумение и любопытство прохожих. И будто стараясь что-то вспомнить, бормотала невнятное. Иногда рылась в сумочке. «Потеряли что-нибудь, бабушка?» — спросила ее

молодая незнакомая женщина. В этот день Марья Васильевна не готовила себе обед и не убирала в квартире. Не смахивала, как обычно, пыль с книг и старомодного письменного прибора Николая Кирилловича. Ее накормила и как ребенка уложила спать прибежавшая вечером Ирина Трубникова.

А еще через несколько дней явился судебный исполнитель и показал Марье Васильевне постановление о конфискации имущества осужденного Ефремова. Он описал и опечатавал все, кроме кровати, кухонного стола, тумбочки и двух стульев. Мужские носильные вещи подлежали изъятию все. Из женских было оставлено пальто и два платья. Пришел управдом и объявил Ефремовой, что все комнаты ее квартиры, кроме одной самой маленькой, заселяются новыми жильцами.

Когда вывозили вещи, Марья Васильевна неподвижно сидела в углу, провожая каждую глазами. Когда очередь дошла до старинного рояля — в молодости она хорошо играла, — старуха закрыла лицо руками и тихонько, как-то по-детски, заплакала. Были конфискованы и сбережения Ефремовых, положенные на его имя. Старая, одинокая женщина оказалась лишенной всяких средств к существованию.

Ирина уговорила ее переселиться к себе под предлогом помощи в уходе за ребенком. Но Марья Васильевна была теперь плохой нянькой и сама требовала присмотра. Часто она не понимала самых простых вопросов. Тупо смотрела куда-то потухшим взглядом. А ее голова, быстро став совершенно седой, тряслась все сильнее и чаще.

Трубникова ждала, что ее уволят сразу же после ареста мужа. Этого не произошло, хотя еще недавно с женами и родственниками арестованных поступали именно так. Их детей исключали не только из институтов, но даже из средних школ. Эта практика привела к такому количеству увольнений и исключений, что было издано секретное распоряжение ее приостановить. Теперь жёны репрессированных врагов народа продолжали работать, если не арестовывали их самих. Конечно, принимались меры для их перемещения на должность пониже, если прежняя была хоть сколько-нибудь заметной. Но делалось это не сразу, а сравнительно постепенно.

Наутро после ареста Алексея Дмитриевича Ирина нашла в себе силы явиться на свое рабочее место вовремя.

И одиноко сидела там, бледная, подурневшая, с опухшими глазами. Посетителей в этот день почти не было. Образовавшаяся вокруг нее пустота усиливала ощущение отверженности, но Ирина этому была скорее рада. Подавляющее большинство сотрудников в течение нескольких дней посещали библиотечный зал только при крайней необходимости. Заказы на переводы почти прекратились, хотя нужда в них со времени исчезновения из института специалистов иностранного происхождения резко возросла. За помощью в переводах обращались теперь только студенты-старшекурсники, проходящие практику в лабораториях института.

Жены всех сколько-нибудь заметных арестованных сотрудников института тоже были арестованы почти все. Исключение составляли пока только те, чьи мужья были совсем рядовыми работниками, да вот еще — Ефремова и Трубникова.

Уже больше двух месяцев Ирина жила в состоянии какой-то обреченности, в постоянном страхе перед ночным звонком. Иногда ей казалось, что сам арест был бы легче вечного страха перед ним. Но она вспоминала о ребенке, и эта мысль становилась кошунственной. Часами она смотрела на уснувшую девочку, прислушиваясь к ее дыханию.

Почти все полтораэтажные кресла уютного полукруглого зала были заняты, когда вошли Ефремова и Трубникова. Большинство искоса и украдкой, а некоторые с откровенным и наглым любопытством смотрели, как молодая и статная, хотя побледневшая и осунувшаяся женщина приноравливается к шагу старушки, поддерживая ее под локоть. Женщины прошли в последний ряд, где уже сидели жены арестованных. Некоторые не явились, хотя приглашены были все.

Их как будто ждали. На кафедру вышел начальник секретного отдела спецчасти института Федоров. Уже немолодой человек с морщинистым постоянно кислым лицом, Федоров очень редко показывался из-за всегда закрытой, обитой железом двери своего кабинета. Никто не слышал, чтобы он водил с кем-нибудь дружбу, принимал у себя или сам ходил в гости. Впервые видели его и в этом зале.

Объявления о собрании не было. Всех пригласил на него Вайсберг и его активисты — каждого в отдельности и лично. Кроме самих этих активистов здесь присутствовали руководители отделов и лабораторий, старшие научные сотрудники и почему-то жены и некоторые другие родственники арестованных. Это придавало собранию какой-то щекочущий нервы интерес. Тем более что о цели собрания объявлено не было. При появлении Федорова в зале, тихом и до этого, наступила почти звенящая тишина, нарушаемая только чьим-то сдавленным кашлем.

— Всем здесь известно, — начал начальник спецчасти, — что доблестными сталинскими чекистами в нашем институте, с помощью честных и бдительных советских людей раскрыта контрреволюционная организация. Члены этой шайки много лет занимались вредительством и передачей за границу секретных сведений. Ее возглавляли матерые враги народа: Ефремов, Трубников и другие...

Даже простуженный перестал кашлять. В полной тишине Федоров говорил о том, что эти люди, долгое время стоявшие у руководства института, сдерживали темпы проведения научных работ, особенно тех, которые могли иметь практическое значение для народного хозяйства. Они наводнили институт выходцами из фашистской Германии, агентами иностранных разведок, препятствовали росту отечественных научных кадров. С особой злобой разоблаченные контрреволюционеры сдерживали продвижение тех специалистов, которые происходят из рабоче-крестьянской среды. Теперь тайные контрреволюционеры разоблачены и уже не могут навредить нашему государству.

Но советские люди должны знать, какую опасность таит в себе малейшее притупление классовой бдительности. Поэтому органы НКВД направили в институт своего представителя, который зачитает и покажет собравшимся собственноручные признания главных руководителей контрреволюционной организации ФТИ.

Только тут все обратили внимание на незнакомого человека в штатском, сидевшего в первом ряду с туго набитым портфелем на коленях. Этот человек неторопливо поднялся и направился к столу председателя, за которым сегодня

никого не было. Кто-то захопал, другие подхватили. Под аплодисменты он открыл свой портфель и достал несколько папок.

— Я зачитаю вам, — сказал представитель НКВД, не поднимаясь со своего места, как учитель в классе, — выдержки из показаний обвиняемых Ефремова и Трубникова. Органы не делают секрета из своей работы, потому что они всегда с народом и опираются на народ...

Кто-то опять захопал, и снова начались аплодисменты. Представитель Комиссариата внутренних дел переждал их и продолжал:

— Органы только тогда прибегают к аресту заподозренного, когда в его виновности не остается ни малейшего сомнения. Никаких ошибок не может быть в принципе. Собранные к моменту ареста преступника улики всегда так многочисленны и неопровержимы, что ему ничего не остается, как сразу же сложить оружие и признать себя полностью виновным. Арестованные делают свои признания в письменной форме и всегда собственноручно. Следственные органы заботятся, чтобы они при этом находились в здравом уме и твердой памяти и не понуждались к признанию ничем, кроме силы фактов и логических доказательств.

Ирина сидела оцепеневшая, как приговоренная к публичной казни. Так вот зачем ее и других жен и родственников арестованных заставили присутствовать здесь! Они должны слушать признания в виновности своих близких!

Представитель сдержанно и неторопливо открыл одну из папок и начал читать в местах, заложенных полосками бумаги:

— «...будучи сыном торговца, — это были показания Ефремова, — я воспринял Октябрьскую революцию с глубокой, но затаенной враждебностью. Не выявляя этой враждебности и сохраняя внешнюю лояльность, я решил вредить пролетарской революции тайным образом, находя такой способ мешать социалистическому строительству наиболее действенным...»

Отец Николая Кирилловича действительно был небогатым лавочником, тянувшимся изо всех сил, чтобы дать старшему сыну образование. Тот успел при жизни старика

окончить гимназию и три курса Политехнического. Но отец умер. И на Ефремова легла забота о многочисленных братьях и сестрах. Продолжая учиться, он хватался за любую подработку — слесарил в институтских мастерских, помогал сынкам богатых родителей делать курсовые проекты, в летние каникулы работал водопроводчиком.

Марья Васильевна начала понимать происходящее не сразу, как будто плохо знала язык, на котором читались бумаги из портфеля энкавэдэшника. На ее лице появилось выражение тягостного недоумения. Старушка растерянно обводила глазами окружающих, будто спрашивая, верно ли она слышит, иногда она бормотала: «Да что же это такое, господи?..»

То же чувство испытывала и Ирина. Но к ее недоумению скоро добавился мучительный своим бессилием протест. Было как во сне, когда видения противоестественным образом искажают действительность и не удается ни изменить их, ни проснуться. Ефремов сообщал следствию среди многого другого, что он содействовал возвращению из эмиграции ее будущего мужа, заранее имея в виду использовать Трубникова в качестве шпиона и вредителя. Что вместе с Трубниковым и другими специалистами института он давал проектировщикам предприятий заведомо ложные исходные данные, искажал результаты научных исследований или затягивал их получение. Особое внимание обращалось на то, чтобы созданное оборудование можно было легко и основательно вывести из строя. Сам же Трубников писал, что завербовался на службу в германскую разведку еще перед выездом в Советский Союз. Что с Гюнтером, агентом той же разведки, много лет вел тайную шифрованную переписку. Он признавал также, что собрания нелегальной группы, особенно ее немецкой, иммигрантской части, происходили на его квартире под видом обычных дружеских собраний. Соглашался Трубников и с показаниями Ефремова о том, что он был активным участником вредительского проектирования стационарных и судовых холодильных установок. Венцом этой их деятельности была подготовка к взрыву криогенного городка, одной из крупнейших в Европе лабораторий низких температур.

Ирине хотелось ущипнуть себя, убедиться, явь ли всё происходящее здесь, или один из тяжелых снов, так часто

посещающих ее теперь в конце ночи, Ложь была не простым несоответствием фактам, а какой-то кощунственной им антитезой.

Почти вся институтская переписка с границей шла через ее руки. Связи с немецкими научными учреждениями, издательствами и отдельными учеными поддерживал главным образом Алексей Дмитриевич, у которого Ирина была кем-то вроде личного секретаря. Он писал свои письма, почти исключительно деловые, только начерно, предоставляя ей право редактировать их по своему усмотрению, а то и составлять, если дело шло не о слишком сложных предметах. Даже с этой чисто практической стороны она не могла не знать о шифровках. Но их не было и в помине.

А когда у них изредка собирались лишившиеся родины иммигранты, среди которых были и коммунисты, и социал-демократы, и даже далекие от политики люди, вина которых заключалась только в их неарийском происхождении, то какой неподдельной, несмотря на европейскую сдержанность, была их ненависть к тупым нацистским громилам!

Но может быть, все происходящее какая-то провокация, а зачитанные документы сочинены самими органами?

Представитель НКВД закончил чтение. Снова поднялся Федоров.

— Кто знает почерк и подписи Ефремова и Трубникова, — обратился он к собранию. — Прошу подойти к столу и убедиться в их подлинности.

Почерк недавних главных руководителей института знали все присутствующие. Многие столпились вокруг столика, за которым сидел представитель НКВД, и заглядывали в открытые дела. Отходя, они кивали, подтверждая.

— Товарищ Трубникова! — это был голос Вайсберга. — Может быть, и вы желаете убедиться, что подпись вашего мужа не поддельна? — Он сделал широкий пригласительный жест к столу.

Некоторые из сидящих в зале потупились. Но большинство, может быть даже произвольно, обернулись. В глазах у многих читался садистский интерес, какой бывал, вероятно, у любителей публичных поношений во времена позорных столбов.

Ирина сидела, окаменев от горя и чудовищной неправды. Самым нестерпимым сейчас было трусливое невмешательство большинства и подленькая жестокость некоторых.

— В свидетельстве гражданки Трубниковой нет необходимости, — сухо сказал представитель НКВД, укладывая бумаги в свой портфель.

Затем было что-то вроде короткого митинга. Особенно усердствовал один из учеников Алексея Дмитриевича, малоспособный инженер, назначенный сейчас на должность руководителя криогенной лаборатории, которую все привыкли называть трубниковской. Фамилию своего бывшего учителя и шефа он называл теперь не иначе как с добавлением — враг народа.

Ирина бежала по мягкому, шуршащему настилу из опавших листьев, жадно глотая холодный воздух осеннего вечера. Сквозь почти уже голые ветви деревьев багровел закат. В глухой кладбищенской аллее было уже почти темно.

Ирина не стала, как остальные отверженные, дожидаться, пока из зала выйдут все. Попросила соседку, жену арестованного рабочего-электрика, чтобы та помогла добраться домой Марье Васильевне, и побежала к выходу одна из первых. Перед ней расступались, давая дорогу, как, вероятно, расступались перед прокаженными и отлученными от церкви.

Ирина долго не могла заплакать. Наконец спасительные слезы получили выход, и сразу же она почувствовала облегчение и опустошающую усталость.

Почти все старые памятники с их затейливыми, сентиментальными скульптурами и витиеватыми эпитафиями были изуродованы. А их чугунные ограды в годы повальной мобилизации металла сданы в металлолом. Скамеечки, находившиеся прежде внутри оград, стали теперь доступны всем.

На одну из таких скамеечек и присела Ирина. Над ней возвышался угрюмый восьмиконечный крест на высоком цоколе из черного гранита. В отличие от мраморных, гранитные памятники разбивались трудно? и некоторые из них уцелели. Изредка по аллее торопливо пробегали прохожие. На одинокую, уткнувшуюся в платок женщину никто не обращал внимания. Здесь было кладбище.

Недалеко отсюда находилась могила матери Алексея Дмитриевича. Ирина не знала ее при жизни и не могла испытывать скорби по ней. Теперь же при мысли о покойной свекрови возникало чувство, похожее на зависть. Как ни трудна была ее судьба, трагедия насильственной разлуки с детьми ее миновала.

...Становилось совсем темно. Коленопреклоненный ангел под массивным крестом уже не белел, а вырисовывался темным силуэтом на фоне потухающего неба сквозь густую сетку ветвей. Инстинктивная дисциплина матери вернула Ирину к действительности и осознанию своих обычных обязанностей. Надо купать и укладывать дочку. Надежда на Марию Васильевну, да еще сегодня, была совсем плоха.

Она шла по главной аллее, тускло освещенной редкими фонарями, направляясь к калитке в задней стене кладбища, когда сидевший на скамье человек поднялся и пошел ей навстречу.

— Добрый вечер, фрау Ирэна, — сказал человек по-немецки, приподняв шляпу. Это был служащий германской фирмы, поставлявшей институту специальное оборудование. По договору фирма должна была осуществлять наблюдение и консультацию при монтаже и отладке особо сложных узлов. Ее представителем для этой цели и был молодой инженер Ланге.

Кроме него все иностранно-подданные специалисты были высланы на родину до истечения сроков заключенных с ними договоров. Ланге был единственным исключением, так как руководил особо важными работами на участке, где собственные специалисты, едва ли не все, были арестованы.

Испуг Ирины сменился удивлением.

— Добрый вечер, Отто... Что вы здесь делаете?

Ланге, приехавший в Союз и раньше, раз или два бывал у Трубниковых со своими земляками, и она была знакома с ним, хотя и довольно поверхностно.

— Поджидал вас, фрау. Я знаю, ваши русские друзья боятся теперь проявить к вам хорошее отношение, — сказал немец, — а люди в вашем положении очень в этом нуждаются. Я хотел бы выразить вам свое сочувствие, фрау Ирэна...

Ланге был смущен и неуклюж в выражениях. Но его несомненная искренность и благожелательность тронули Ирину.

– Благодарю Вас, Отто. Но для чего вам понадобилась такая... конспиративность? – она пыталась улыбнуться. – Вы могли увидеть меня и в библиотеке.

– Я иностранец, фрау. Значит – шпион, разведчик... – Ланге усмехнулся. – Разговор со мной на людях может повредить вам, навлечь подозрение...

– Кажется, мне ничем уже нельзя навредить больше, дорогой Отто... – Ирина опять с трудом удерживалась от слёз.

Немец покачал головой.

– О нет, моя фрау... Предел возможности причинять зло человеку не наступает, пока он жив...

Они подходили к калитке, за которой была улица. Ланге, о чём-то всё время думавший, замедлил шаги. Остановилась и Ирина.

– До свидания, дорогой Отто. Спасибо за сочувствие. – Она подумала, что слово «до свидания» тут мало подходит. Кто знает, где будет она уже к утру завтрашнего дня.

– До свидания, моя фрау. – Немец снял шляпу и поцеловал протянутую руку. Не надевая шляпу, он стоял и смотрел ей вслед, по-прежнему о чём-то думая. И вдруг окликнул, когда она уже взялась за ручку калитки: – Фрау! – Ланге подходил к ней чем-то смущенный. – Простите меня, фрау Ирэна... Возможно моя просьба, покажется несерьезной и неуместной сейчас... Но мне не к кому кроме вас с ней обратиться...

Ирина смотрела на него с удивлением.

– Какая просьба, Отто?

– Мне очень нужно знать, как переводится на ваш язык немецкая шутка «Das Land der Unbegrenzten Moglichkeiten?»

Немец чувствовал явную неловкость от того, что обращается с просьбой, допускающей двусмысленное толкование, к русской женщине да еще в такой неподходящий момент. Однако желание знать, как звучит по-русски немецкий политический каламбур, было, по-видимому, сильнее. Русский язык Ланге немного знал.

Ирина Николаевна невольно улыбнулась:

– Я могла бы оскорбиться, дорогой Отто, если бы не знала, что все интеллигентные немцы неисправимые философы... А ваша шутка по-русски звучит не совсем правильно,

довольно смешно и совсем не весело: «Страна неограниченных возможностей».

Дома Ирина застала ревущую Оленьку и растерявшуюся, пришибленную горем старуху. Обе нуждались в ее помощи.

Возня с домашними делами, как всегда, несколько отвлекла и успокоила ее. Мария Васильевна уснула в комнате, прежде бывшей кабинетом и спальней Алексея Дмитриевича. Ее неглубокий стариковский сон часто перемежался невнятным бормотанием и какими-то полупробуждениями. Всё это тоже появилось только в последнее время.

Оленька спала, подложив ручку под кудрявую, чуть повернутую набок головку. Ирина в домашнем халатике сидела возле ее кровати и смотрела на ребенка неотрывно, как бы стараясь запечатлеть в памяти каждую черточку милого существа.

Наступила ночь. Одна из бесконечной вереницы ночей, отмеченных ожиданием страшного. И в каждую из них она засыпала только под утро беспокойным, тревожным сном.

После того, что Ирина слышала сегодня, не оставалось и тени надежды на возвращение мужа. Он неизбежно будет осужден тайным и мрачным судилищем, и как Ефремов, отправлен бог знает куда. А возможно, даже убит. И ее в лучшем случае выселят из квартиры и, вероятно, уволят с работы. Но если бы только это! Ирина знала, что над женами арестованных, обвиняемых в преступлениях подобных тем, которые инкриминируются Алексею Дмитриевичу, висит угроза ареста. Ни за что, просто потому, что их мужья «враги народа». Ирине казалось, что она согласилась бы даже на это, если бы при ней оставили ее ребенка. Что с ним бы она пошла в любую ссылку, выдержала бы пеший этап на каторгу.

Но это невозможно. Детей арестованных родителей отправляют в детские дома. Вот как двоих ребят доцента Корниенко и его тоже арестованной жены; как ребенка инженера и лаборантки Савиных. Таких, полностью уничтоженных семей только в одном их институте было уже около десятка. Дети из этих семей будут расти без материнской

заботы и ласки, без доброй отцовской строгости, под казенной опекой неродных людей. Самые маленькие даже не будут помнить своих родителей.

А их матери? Разве они смогут забыть своих детей? Какие годы, какие расстояния, какие унижения и страдания смогли бы выравнять из сознания матери образ ее ребенка!

Ирина беззвучно плакала, смахивая слезы тыльной стороной ладони. Каждую минуту могло стать реальностью то, что казалось ей даже сейчас фантастически неправдоподобным по своей чудовищной, ничем не оправданной бессмысленности. Зачем и кому это нужно? Какой смысл во всех этих жестокостях и беззакониях?

Девочка зашевелилась, выпростала из-под одеяла вторую ручку и повернулась лицом вниз. Упираясь в подушку локотками и выпуклым упрямым лобиком, она напоминала сейчас козленка с висящего над кроватью гобелена. Шевеление ребенка насторожило мать, сначала отвлекло ее, а потом и совсем изменило ход ее мыслей. У Оленьки лоб отца — талантливого, упрямого и предельно честного человека. Что же сделали с ним там, в этих страшных застенках, что он своей рукой написал слова унижительного самоговора?

Старинные часы, нагнетая с каждым ударом мелодичный гул в комнатах, пробили одиннадцать раз.

Вид и прикосновение тельца ребенка ослабляли даже самую сильную душевную боль. Этому помогали и слезы. Теперь мысли Ирины потекли по руслу воспоминаний.

В жизни человека бывают минуты, когда он думает о своей судьбе как о множестве событий, нередко случайных переплетений и столкновений с судьбами других людей. И тогда его поражают безначальность дороги судьбы, ее повороты и пересечения.

Разве могла она знать, поступая на испытательный срок в библиотеку института, что это определит главное направление ее дальнейшей жизни. Что она, бывшая гид-переводчица гостиницы «Интурист», уволенная за «халатное отношение» к своим обязанностям, станет другом и женой большого ученого, матерью его ребенка.

Хотя уволили ее совсем не потому, что она была плохим гидом. Ирина свободно владела тремя европейскими языками, была молода и обладала приятной внешностью и умением одеваться со вкусом при самых скромных возможностях. Имела хорошие манеры, была легко по-светски остроумна. А главное, никто в гостинице лучше Ирины не мог приспособиться к таким разным по характеру, привычкам и культурному уровню иностранным туристам. У нее всегда хватало такта и какого-то внутреннего чутья, чтобы взять нужный тон даже с самыми привередливыми из них.

В книге записей для иностранных клиентов имя «мисс Айрин», «мадемуазель Ирэн», «фрау Ирэна» упоминалось чаще всех остальных. И всегда только для того, чтобы выразить благодарность за внимание, любезность, толковые и интересные пояснения. Приказ же гласил – «за халатное отношение». Действительной причиной увольнения Ирины было ее чуждое социальное происхождение.

К этому времени частые прежде чистки соцаппарата от просочившихся в него чуждых элементов почти прекратились. Бухгалтеров, завмагов и машинисток уже не трогали, несмотря на то, что они были детьми попов или лавочников. Но одно дело магазин или контора, другое – гостиница, персонал которой постоянно имеет дело с иностранцами. Особенно ее гиды-переводчики. Ирину и приняли, скрепя сердце, ввиду отчаянной нехватки людей, знавших иностранные языки. Требование чистоты классового происхождения ото всех, кто по роду службы общается с приезжими из-за границы, становилось всё жестче. Анкета сотрудницы, которая писала в соответствующей графе, что она дочь подполковника царской армии, сильно снижала один из важнейших показателей политической принципиальности руководителей «Интуриста».

Правда, отец Ирины был убит в первые же месяцы империалистической войны. Жили они только на его армейское жалование. А когда с началом революции прекратилась и маленькая пенсия вдовы погибшего офицера, ей, чтобы прожить с двумя дочерьми, пришлось перебиваться уроками музыки и иностранных языков. Она происходила из потомственной интеллигентной семьи, много жила за границей и блестяще знала едва ли не все европейские языки. Свои знания мать

сумела передать и дочерям, особенно старшей Ирине, проявившей к ним недюжинные способности.

Какое-то время начальству удавалось сохранить в штате отличную сотрудницу, ссылаясь на невозможность найти ей полноценную замену. Но последовала прямая директива — найдите повод и увольняйте. И повод, конечно, нашелся. У Ирины «сорвался с маршрута», точнее, часа на полтора сбежал из гостиницы турист из Марселя.

Официальные туристические маршруты включали в себя, кроме ландшафтов, исторических памятников и примечательных зданий, также потемкинские деревни. Так втихомолку назывались объекты, долженствующие иллюстрировать советские достижения в области производства, быта и культуры. Был, например, пригородный колхоз, в котором все коровы были красивой, декоративной породы и отлично откормлены. Грудастые, краснощекие доярки в белых халатах управляли здесь едва ли не единственной тогда на всю страну установкой для электрического доения. Была отличная поликлиника при одном из крупнейших заводов, в которой блеск паркета и медицинского оборудования, тишина и внимательность к пациентам медицинского персонала до слез умиляли пожилых иностранцев. Еще возили интуристов в показательную детскую коммуну, в рабочее общежитие и т. п. При малейшей же попытке туриста отклониться от маршрута его вежливо, но настойчиво снова на него возвращали. Из поля зрения гидов, портье, шоферов и других служащих гостиницы иностранец не должен был выпускаться ни на минуту. Каждый из них был персонально и, конечно, негласно закреплен за кем-нибудь из гидов.

Турист из Марселя спросил у Ирины перед началом поездки по городу, увидит ли он городской оперный театр. Она ответила, что как объект осмотра этот театр в туристический маршрут не включен. Но он находится на одной из улиц, по которой проедет их автобус.

— А когда он построен? — спросил француз, проявляя какой-то повышенный интерес к этому предмету.

Гид не знала этого точно. Видимо, не позднее последней четверти прошлого века. Здание это старое, ничем особенным не примечательное, и она не думает, что оно может представлять особый интерес для мсье...

— Меня интересует не это здание, а ваша новая опера, проект которой был принят по результатам международного конкурса, — сказал француз.

Тут только Ирина поняла, в какое затруднительное положение она попала.

Лет пять назад был объявлен международный конкурс на проект городской оперы — здания невиданных размеров и стиля. Один из проектов принадлежал какому-то французскому архитектору. Был напечатан в городской газете и рисунок, изображающий будущий театр и чем-то напоминающий иллюстрацию к фантастическому роману. Вокруг гигантского столпа главного корпуса штопором вилась широкая полоса. Краткий текст к рисунку пояснял, что по ней будут подниматься автомобили, стоянка которых запроектирована на крыше здания. Немного позже было опубликовано правительственное решение о начале строительства с его окончанием через два года.

Несмотря на экстравагантность проекта, нелепое несоответствие размеров будущего театра реальным и даже перспективным нуждам городской оперы, расточительность затрат на строительство, когда остро не хватало жилья, больниц и промышленных зданий, — никто тогда этому начинанию особенно не удивился. Считалось, что чем оно смелее и размахистее, тем революционнее. И, следовательно, не подлежит критике и обсуждению.

Скоро на одной из главных улиц города была взорвана и снесена церковь и вырублен окружавший ее большой сквер. Площадку обнесли высоким дощатым забором, за которым началось рытье котлованов и возведение стен будущего здания. Из-за забора показались красные, сплошь покрытые лесами стены.

Но тут началась коллективизация, которая привела к страшному голоду. Остановилось строительство не только оперного театра, но и важнейших сооружений первостепенного значения. Город еще кое-как перебивался на своем голодном пайке, выдаваемом по карточкам, деревня же от голода умирала. В поисках спасения крестьяне покидали насиженные места и уезжали все равно куда, где только, по слухам, был хлеб. Большая часть стремилась в сытые, по их представлению, большие города. Лошадей мужики выпрягали из телег и бросали на

станциях. Голодные клячи бродили, пошатываясь, и грызли кору с деревьев в станционных садиках, пока их не догадались отводить на бойни. А их хозяева падали от голода в скверах, дворах, подъездах и просто на обочинах тротуаров. Ночью трупы собирали и отвозили куда-то на грузовиках и в железнодорожных вагонах. Кто еще был жив, протягивали руки, прося хлеба, но большинство горожан сами жестоко голодали.

Город, с наглухо запертými воротами дворов, закрытыми подъездами, не торгующими магазинами, утрюмыми очередями, ставший грязным и запущенным, был будто в осаде. Мокли под осенним дождем заборы заброшенных строек. На том, который окружал строительную площадку оперного театра, кто-то вывел дрянной краской, едва ли не дегтем: «Продается недостроенный социализм. Улица Ленина, тупик Сталина».

Все это Ирина сейчас вспомнила и сопоставила с пометкой против фамилии француза в гостиничной записи клиентов: «архитектор». Перед ней или сам автор проекта, или другой специалист, приехавший со специальной целью посмотреть, как осуществлен этот фантазмагорический проект.

Но смотреть было не на что. Стройка не возобновилась и после того, как миновал голод. Из-за посеревшего забора по-прежнему торчали возведенные местами до третьего, местами до второго этажа стены, теперь освобожденные от лесов. Кое-где над ними соорудили крыши, и в оконные проемы вставили рамы. Там ютились какие-то мастерские и склады. Когда открывались ворота в огромный, как выгон, двор, были видны заросшие бурьяном котлованы, груды строительного мусора, кучи ржавого железа. Зброшенное строительство обезобразивало один из центральных городских кварталов.

Гид, конечно, попыталась спасти престиж своего города и своего государства. Насколько она знает, проект подлежит некоторой переделке, и в связи с этим строительство театра законсервировано...

— Мадемуазель! — француз был взволнован и раздражен, и ему, видимо, стоило усилий не перебивать Ирину. Мадемуазель не обязана разбираться в этих вопросах, но он и не настаивает на ее объяснениях, а просит только, чтобы ему показали то место, где было начато строительство. А оно было

начато, он это знает. И вот оно, это место, — француз достал план центральной части города. Потом выяснилось, что такой план был разослан всем участникам конкурса.

Что могла ответить ему мадемуазель, кроме того что изменить маршрут она не имеет права?

Весь день ей портил настроение этот француз. Он был ироничен и зол. Отпускал вежливо-ехидные реплики по поводу объяснений Ирины, когда они касались строящихся объектов. Сказал, что он — архитектор-модернист, автор злополучного проекта. Что он возлагал на осуществление этого проекта большие надежды, полагая, что имеет дело с солидным клиентом. Правда, премию по конкурсу он получил быстро и сполна. Затем был извещен, что сооружение театра уже началось и будет закончено в предельно сжатый срок. Архитектор показал вырезку из городской газеты с рисунком странного сооружения, напоминавшего вертикально поставленный винт мясорубки.

А потом все заглохло. На его многочисленные запросы не было ответа ни от управления Главного архитектора, ни от городского совета, ни от правительства.

Слушая иностранца, Ирина думала о том, что неумные и невежливые люди из всех этих учреждений не дали себе труда даже приказать своим секретарям ответить архитектору хотя бы так, как пыталась ему ответить она. И тогда не было бы этого глупого и щекотливого положения. Да и последствия конфуза далеко не так уж безобидны. Дома француз, наверное, тиснет статью в газете о несолидном клиенте — Советском Союзе, даст интервью...

Изнывая от неведения о судьбе своего детища, архитектор решил проникнуть в Союз под видом туриста, выбрав подходящий маршрут. Но — француз продолжал иронизировать — для иностранца в СССР приехать в город еще не значит его увидеть. Эта их прогулка напоминает ему поход группы малолеток под неусыпным наблюдением строгой воспитательницы. Неудобство такого положения для него не может смягчить даже любезность и предупредительность мадемуазель Ирэн...

Вечером директор «Интуриста» сделал Ирине особое внушение о ее ответственности за француза. Главное — сле-

дить, чтобы он не проник как-нибудь в район заброшенного строительства.

Впоследствии эту историю Ирина часто вспоминала как юмористическую. Но теперь это была уже предыстория ее отношений с Алексеем Дмитриевичем, крутого поворота в ее судьбе и появления на свет нового существа. Странно думать, что не будь этот марселец так настырен... Она улыбалась воспоминаниям сквозь еще не высохшие слезы и была благодарна им даже сейчас. Мысль, что тогда, возможно, не было бы ни теперешнего страха, ни трагического крушения семьи, ни почти неизбежного будущего, просто не приходила ей в голову.

Незаметно для себя она так и уснула, сидя у кровати ребенка. И уже не слышала, как снова наполнял комнаты музыкальным гулом старательный механизм часов, отбивавший полночь.

Всех арестантов ввозили в тюрьму и вывозили из нее, обязательно пересчитывая в «приврате». Так называлось пространство, похожее на короткий сводчатый туннель, образованное аркой под невысокой башней и закрытое с обеих сторон глухими железными воротами. Те из ворот, через которые въезжал автомобиль, обязательно запирались на замок. Не открывая вторых ворот, стража производила осмотр транспорта и проверяла соответствие числа заключенных проставленному в сопроводительных документах. Только после этого отпирались и вторые ворота.

Одновременно захлопнулись наружная дверь вагончика и окошко в двери между заключенными и конвоирами. Внутри стало почти темно, так как приврат освещался довольно тусклым фонарем под потолком туннеля. С лязгом отодвинулся тяжелый засов наружных ворот, автомобиль тронулся, и в отверстия вентиляционной коробки, установленной на крыше, брызнули солнечные зайчики яркого осеннего дня.

Поворот направо. Алексей Дмитриевич проверял правильность своего представления о маршруте до здания штаба Военного округа, так тщательно обсужденного им с Костей Фроловым. Сейчас они должны довольно долго ехать по

прямой. По дороге будет мост через железнодорожные пути с бетонными скульптурами по углам и высоко поднятыми стеклянными шарами фонарей. Так! Через дырочки коробки Трубников увидел промелькнувшую фигуру рабочего с молотом на плече, очень похожую на музейную каменную бабу. Замелькали белые шары. Еще одна баба. Мост позади. Теперь переулок налево. Поворот. Почти вплотную придвинулись обшарпанные стены старых домов. Еще поворот. Это должна быть уже Технологическая улица. Та самая, ничем не примечательная Технологическая, на которой он прожил много лет и каждый день по ней проходил. Но если бы не Костя, то, пожалуй, Алексей Дмитриевич так и не припомнил бы, как можно отличить ее от любой другой, если видишь, да и то мельком, только то, что расположено на уровне вторых и третьих этажей.

Кариатиды над гастрономическим магазином! Атланты предупреждали: сейчас будет дом, в котором ты жил. Рядом с домом детская площадка, разбитая на месте снесенного ветхого строения. Через площадку наискось должна быть видна боковая стена дома с единственным круглым чердачным окном на самом верху. Вот она, эта глухая стена! Замелькали окна второго этажа. Они видны довольно хорошо, но равнодушны и невыразительны за отблесками стекол. Три последних в этом ряду — окна его квартиры. Четвертое — окно Оленькиной комнаты — в боковой стене за углом. Но, как и все другие, оно сейчас непроницаемо. Оживить окна может только свет изнутри.

Наблюдение необходимо продолжать. Проверять и запоминать ориентиры, нужные при движении в обратном направлении. Сразу за домом — ряд высоких тополей. Густая сетка их ветвей будет последним предупреждением. Затем длинная вереница домов с невыразительными фасадами. Впрочем, вот старинный барский особняк с ампирным фронтоном. Дальше — переделанный из церкви кинотеатр с придавившим его сверху куполом. Без главы и креста этот купол сильно похож на старательно заглаженный каравай. Поворот направо. Это уже выезд на площадь. Автомобиль огибает ее по дуге. Еще поворот. Остановка и короткие сигналы. В отверстия видны голые ветки высоких старых деревьев.

Эти деревья стоят перед фронтоном массивного здания штаба. Значит, автомобиль остановился перед воротами его двора. Через минуту они открылись.

Ждать в машине пришлось недолго. Арестованных вывели к спуску в неглубокий подвал, к которому их автомобиль подъехал почти вплотную. Это был вход в коридор цокольного этажа, точнее, в одну из его половин, выгороженную глухой кирпичной перегородкой. В коридоре было несколько дверей с номерами, но без наружных засовов, кормушек и волчков. У входной двери за столиком с телефоном сидел вооруженный дежурный, а в окна коридора были вделаны решетки. Это было отделение для арестованных, привезенных на суд Военного трибунала.

Одну из дверей открыл перед новоприбывшими и снова запер ее на два поворота внутреннего замка начальник их конвоя, подтянутый, молодцеватый парень с треугольничками помощника командира отделения.

В пустой, довольно просторной комнате стояли две простые скамейки. Окно подвального типа было с решеткой, а его стекла густо замазаны снаружи белой краской.

Только теперь Алексей Дмитриевич, занятый прежде наблюдением за своим маршрутом, смог разглядеть как следует двух других арестованных, привезенных с ним вместе. Оба они были военными. Один — молодой, в изжеванной, с содранными эмблемами форме летчика, другой — пожилой, с сильной проседью в коротко остриженных волосах. Оба без ремней, с отодранными знаками различия, но в петлицах остались отчетливые следы этих знаков в виде невыгоревших участков материи. У старшего это были удлиненные прямоугольники, у молодого — квадраты. Алексей Дмитриевич плохо разбирался в воинских званиях и знал только, что за кубиками следуют шпалы, а за шпалами ромбы.

Пожилый казался очень измученным и усталым. Он сразу же сел на скамью и опустил голову на руки. Летчик с открытым, простоватым лицом поглядывал на своих хмурых товарищей с явным желанием заговорить. Наконец он спросил у военного:

— Наверное, по группе Якира проходите, товарищ полковник?

Тот не сразу очнулся от своих мыслей.

— По ней, по самой... а ты, летун, за что это сюда?

— За восхваление врага народа, товарищ полковник. Командира нашего подразделения забрали, а я его по пьяному делу добрым словом помянул. Ну и донес один...

— Так... — полковник понимающе кивнул, — а как фамилия этого твоего командира бывшего?..

Летчик назвал.

— Знаю... Он еще в гражданскую на летучих гробах за линию фронта в разведку летал. Мужик был настоящий...

Снова наступило молчание.

В коридоре послышался топот нескольких пар ног. Люди шли с дальнего конца коридора.

— Должно быть, с суда ведут, — сказал летчик. — Значит, однодельцы.

Осужденных провели к выходу, и через минуту заурчал мотор. Видимо, воронок, в котором их привезли сюда, поджидал, пока закончится суд над довольно большой группой арестантов, чтобы загрузить ими обратный рейс.

Это хорошо. Если здесь нет еще какой-нибудь очень уж большой группы ожидающих суда по общему делу, то до конца рабочего дня Трибунала осужденных не наберется больше, чем на один рейс. И этот рейс придется как раз на то время, когда все возвращаются домой с работы и окна квартир освещены.

Об этом думал сейчас Трубников. И еще о том, что будет после его заявления на суде о вынужденной ложности его прежних показаний. Состоится ли суд, или дело отправят на переследствие?

В последнем случае неизбежны будут новые пытки карцером, конвейером, избияния. Но всё это теперь казалось ему легче сознания, что он допустил непростительное роковое недомыслие и ничего не сделал для исправления этой ошибки.

В двери защелкал ключ. Все трое повернулись к ней в напряженном ожидании.

— Фролов! — прочел по бумажке начальник конвоя.

— Сергей Каллистратович! — Пожилой военный поднялся и пошел к двери.

— Ни пуха ни пера вам, товарищ полковник, — сказал летчик вставая.

— И тебе удачи, лейтенант. — Полковник вышел, направляя нервным движением фуражку на голове.

Отец Кости Фролова! Удивление Трубникова сразу сменилось сожалением, что, не зная этого раньше, он не мог сообщить арестованному полковнику все, что знал о его жене и сыне. Фролов, наверное, ничего о них не знает и мучается сомнениями и неведением. Потом пришла мысль: а лучше ли всех этих сомнений злая правда? Нет, конечно. Она, вероятно, страшнее всего самого худшего, что мог предполагать о судьбе своей семьи этот человек.

Лейтенант внимательно прислушался к командам и шагам в коридоре. Дверь за Фроловым закрылась.

— Полковника на суд повели одного, — сделал он заключение. — Значит, его одного и судить будут. — Летчик обладал, видимо, особой склонностью к наблюдению и анализу ситуации.

Трубников согласился с ним кивком головы. Да, конечно. Иначе из других камер выводили бы однодельцев.

А может быть, в этих камерах сейчас ждут суда его собственные друзья и товарищи по работе, ставшие теперь товарищами по делу с дико звучащим названием — уголовное?

Совместный суд над ними будет новой моральной пыткой. Жалкие, внутренне сломленные люди, действуя почти как сомнамбулы, снова будут его обличать и уличать. Но теперь уже ничто не сможет повлиять на его решение отречься от своего позорного признания. Пусть даже это не принесет ничего, кроме новых страданий.

Опять шелканье замка.

— Трубников!

— Ни пуха вам... — сказал и ему доброжелательный лейтенант.

За дверью ждали два конвоира с винтовками.

— Три шага вперед! — скомандовал все тот же начальник конвоя. — Шагом марш!

Сам он шел впереди арестованного и в конце коридора открыл дверь на какую-то лестницу. Она была узкая и крутая, встроенная в старое здание, видимо, недавно. На площадке второго этажа Алексея Дмитриевича ввели через узкую одностворчатую дверь в отгороженное барьером пространство,

за которым был небольшой зал. Перед барьером стоял узкий жесткий диван.

— Садитесь! — приказал начальник конвоя.

Позади Трубникова стали конвоиры. Так вот она какая, знаменитая скамья подсудимых!

По сравнению с небольшой площадью зала его потолок казался очень высоким. Старомодный и хмурый, как и всё помпезное, монументальное здание штаба, зал был перегружен лепными украшениями по карнизу и на потолке. На возвышении, напоминающем эстраду, стоял длинный стол, накрытый красным сукном. За столом пока никого не было, как и за небольшим столиком невдалеке от барьера. Посреди зала пустовали несколько рядов кресел.

Через откидывающуюся часть барьера помощник командира отделения вышел в зал, пересек его и скрылся за небольшой дверью, расположенной на линии стола судебных заседаний. Еще одна дверь, высокая и массивная, расположенная в задней стене зала, была наглухо заперта.

Через несколько минут старший конвойный, исполняющий также и обязанности судебного пристава, снова появился в проеме двери и с ее порога крикнул: «Суд идет! Подсудимый, встать!»

Алексей Дмитриевич поднялся со своего места. Солдаты вытянулись с винтовками к ноге. Значит, судить будут одного. Считают ненадежным актером в этой мрачной комедии. Хорошо, что одного. Трубников почувствовал некоторое облегчение.

Из двери, оставленной открытой начальником конвоя, гуськом вышли люди в военной форме. Впереди шел пожилой и грузный человек с ромбами в петлицах, с озабоченным и вовсе не злым лицом. В петлицах двух других тоже очень немолодых людей был полный набор шпал. Шествие замыкал молодой щеголеватый военный с папками под мышкой. Он занял место за маленьким столиком в зале. Судьи уселись за главным столом. Трубников продолжал стоять.

— Ваша фамилия, имя и отчество? — начал обычную серию формальных вопросов председатель, занявший место за столом посредине.

Покончив с формальными вопросами, он объявил, что Трубникова судит Военный трибунал Н-ского военного округа и что в состав суда входит он, председатель, бригадюр юрист второго ранга — следовала фамилия — и заседатели (звания и фамилии), при секретаре, капитане военной юстиции таком-то. Затем председатель спросил, имеет ли подсудимый возражения против состава суда.

Алексей Дмитриевич хорошо понимал, что этот вопрос носит чисто формальный характер. И все же он почувствовал, как в нем невольно усиливается робкая надежда быть выслушанным и понятым этими судьями. Нет, он не имеет возражений по составу суда.

— Садитесь, подсудимый! Капитан, зачитайте обвинительное заключение.

Трубников слушал уже знакомое ему заключение и смотрел на пожилых людей, одетых в ладную, очевидно привычную для них военную форму.

Один из заседателей был толстяк с благодушной физиономией. Он иногда посматривал на подсудимого открытым, как будто вполне благожелательным, чуть ли не улыбочивым взглядом. Другой, морщинистый, с бритой головой, сохранял во время чтения злое выражение и на обвиняемого почти не глядел. Внешность его соответствовала представлению о человеке, который ежедневно подписывает десяткам людей неправедные и жестокие приговоры. Но то, что это же делают председатель и второй член суда, похожие на благодушных папаш, было куда непостижимей.

— Встаньте, подсудимый! Вам ясно, в чем вы обвиняетесь?

— Да.

— И вы подтверждаете свое признание в виновности, данное вами на предварительном следствии?

— Нет, не подтверждаю.

Судьи переглянулись. Благодушный с укоризненным выражением на лице сделал жест рукой. С таким видом говорят: «Ай-я-яй! Вот уже не ожидал от вас такой бестактности...» Лицо другого заседателя сморщилось еще более и стало, если это возможно, еще злее.

– Но вы свои показания написали собственноручно, – сказал председатель.

– Я сделал это под угрозой ареста моей жены.

– Кто и по какому праву угрожал вам этим?

– Мой следователь – за отказ давать ложные показания.

– Какие именно показания?

– Какие я и дал потом. И от которых теперь отказываюсь. Я прошу также принять мое заявление о нанесенных мне побоях.

– А не потому ли вы так боялись ареста вашей жены, – сказал заседатель со злым лицом, – что и она состояла в вашей тайной организации?

– Никакой организации не было!

– Но ее существование в вашем институте подтверждается многочисленными материалами дела, – сказал председатель, – и прежде всего – показаниями ваших сообщников. Они показывают также, что и вы были одним из руководителей и организаторов контрреволюционной группы ФТИ.

– Все эти показания даны под действием насилия и угроз.

– Подсудимый, – крикнул злой. – Вы отвечаете за свои слова на суде!

Председатель сделал успокаивающий жест. Благодушный опять покачал головой: «Ай-я-яй!..»

– Суд занесет ваши ответы в протокол судебного следствия, но для вас будет лучше, если вы подтвердите свои прежние показания, подсудимый.

– Они – сплошная вынужденная ложь. Я требую повторного следствия!

Злой опять кольнул глазами Трубникова. Благодушный снова покачал головой.

– Сядьте, подсудимый! Капитан, запишите заявление обвиняемого!

Наклонившись друг к другу, судьи о чем-то совещались. Злой делал энергичные жесты, благодушный неопределенно пожимал плечами.

– Суд удаляется на совещание, – объявил председатель вставая.

Ушел и секретарь. В зале опять остались только Трубников, конвоиры и их старшой, не отходивший от двери во внутренние помещения. Прошло минут пятнадцать. Вынесут они сейчас приговор или назначат переследствие? а если вынесут, то будет ли этот приговор жестче от его недостаточно благонаправного поведения на суде?

Трубников согласился бы сейчас даже на смертный приговор, если бы знал, что такой ценой спасет жену и дочь. Но дело обстояло как раз наоборот. Расправа с семьей осужденного тем неотвратимее, чем круче мера, примененная к нему самому.

В отношении большинства арестованных — он знал теперь и это — все решено заранее, и суд — всего лишь формальность. Вынесение приговора, несмотря на отказ обвиняемого от прежних показаний, будет означать, что и его судьба, и судьба его семьи давно уже решена.

— Суд идет!

Члены трибунала шли так же гуськом и в той же последовательности. Подойдя к своим местам за столом, они остались стоять. Лицо председателя выражало сейчас только суровость. Исчезло благодущие и с физиономии толстяка. Зато злой как будто подобрел. Его морщины выражали почти удовлетворение.

— Именем Союза Советских Социалистических республик... — читал председатель. Трубников стоял и слушал в напряженном ожидании значащих слов приговора. Но уже то, что этот приговор вынесен, означало, что никакого переследствия не будет. Что он осужден. Оставалась слабая надежда, что может быть последуют оговорки, изменения пунктов пятьдесят восьмой, ослабляющие угрозу ареста жены осужденного.

Но за торжественным вступлением, прочтенным почти скороговоркой, последовал сокращенный пересказ все того же обвинительного заключения. Трубников признавался виновным в принадлежности к нелегальной контрреволюционной организации, службе в иностранной разведке, совершении вредительских и диверсионных актов. Полной категоричности не было только в пункте, касающемся измены родине. Суд нашел, что Трубников виновен по статье об измене только косвенно. Вероятно, это было нужно для вящего впечатления, что

Трибунал не только пользуется результатами предварительного следствия, но проводит и судебное, что не помешало ему, принимая решение о степени наказания, просто проигнорировать отказ обвиняемого от прежних показаний и его заявление.

Было ясно, что приговор составлен заранее, и здесь разыгрывалась очередная комедия.

Дальнейшее чтение показалось Алексею Дмитриевичу нестерпимо утомительным и длинным. Его более не интересовали все эти статьи и пункты, готовые казенные штампы: «руководствуясь...», «принимая по внимание...», «на основании...». Даже заключительную часть приговора, в которой он, Трубников, приговаривался к двадцати годам заключения в трудовых исправительных лагерях с последующим поражением в правах на пять лет, осужденный выслушал с каким-то каменным равнодушием. Разве не все равно, каким числом каторжных лет убивается смысл жизни?

Свою судьбу он давно уже считал решенной, и теперь пытался дать бой только за судьбу своих близких. И снова потерпел поражение. Страх и душевное смятение охватили его с новой силой.

А председатель все читал ненужно длинный документ, на составление которого из готовых штампов потребовалось, наверное, меньше времени, чем на его прочтение. В конце говорилось, что решение Трибунала может быть обжаловано в Военной коллегии Верховного Суда в течение семидесяти двух часов и что осужденный имеет право на заявление суду.

— Вы желаете воспользоваться этим правом? — спросил председатель.

Теперь соблюдение формальностей только усиливало ощущение издевательства над сущностью закона. Нет, осужденному нечего сказать суду.

— Объявляю судебное заседание закрытым!

Пропустив вперед председателя, судьи удалились. К Трубникову подошел секретарь суда и, положив папку на перила ограждения, протянул ему ручку с пером.

— Распишитесь в объявлении приговора!

Алексей Дмитриевич черкнул подпись не глядя. Секретарь промокнул ее пресс-папье, которое держал в руке, и взглянул на осужденного с видимым сочувствием.

– Эх, Трубников, знали ведь, на что шли...

Даже состояние крайнего угнетения не могло заглушить удивления Алексея Дмитриевича. Неужели этот человек, ежедневно протоколирующий кощунственные судебные фарсы, подобные сегодняшнему, вздорность которых очевидна и ребенку, верит в виновность жертв этих комедий? Но, может быть, он просто издевается над осужденным? Нет, молодой чиновник в военной форме смотрел серьезно и по-прежнему сочувственно. Нельзя же предположить, что капитан юстиции демонстрирует свою веру в справедливость приговора перед этими парнями с винтовками, глядевшими на Трубникова с каким-то испугом.

– Выходи, Трубников!

В знакомом коридоре Алексея Дмитриевича впустили в точно такую же камеру, как и та, в которой он ждал суда вместе с полковником Фроловым и летчиком. Такие же две скамьи, такое же замазанное окно с решеткой. Камера была пуста.

Трубников опустился на скамью. «Осужденный!» В этом слове слышался погребальный звон. Прежде осужденных на его срок называли бессрочнокаторжными.

Щелкнул замок, и в камеру вошел летчик. Тот самый, с которым его привезли сюда.

– Опять, значит вместе... – парень хотел улыбнуться своей обычной добродушной улыбкой, но получилась кривая усмешка. – И сколько же они вам?..

Алексей Дмитриевич понял вопрос не сразу. Он думал о другом, казавшемся ему более важным. Летчик отнес это к естественной подавленности приговоренного.

– Ну и паяют, гады! Мне вот тоже восьмерку... а что я такое сказал? Не будет больше, говорю, у нас такого командира...

Он был возмущен и возбужден. Но не столько суровостью и несправедливостью приговора, сколько поведением на суде своих свидетелей. Дело шло об агитации, и свидетели были. Сам доносчик, стукач, и еще какой-то тип из чужого подразделения. Стукач нагло врал и все преувеличивал при попустительстве и поощрении суда, и другой свидетель тоже был того же поля ягода.

— Не было, говорю, этого хлюста, когда мы с ребятами о своем командире вспоминали... а трибунальщик, злоущий такой, морда как печеное яблоко, говорит: «Значит, вы признаете, что занимались восхвалением своего бывшего командира?!»

Физиономия злого заседателя действительно напоминала печеное яблоко. Трубников вспомнил и свое желание воткнуть кулак в этот дряблый, морщинистый шар.

Минут десять бывший лейтенант нервно шагал по камере. Потом, вспомнив что-то, остановился.

— А чего это полковника с нами нет? Его же первым из нас осудили.

— В другой камере, наверное...

— В другой-то в другой... Да вот чего нас рассадили? Места хватает.

Алексей Дмитриевич не понимал беспокойства своего товарища по этому поводу. Мало ли как могли распорядиться тюремщики.

— Как бы ему вышку не сунули, вот что!

Почти у всех интеллигентов, даже у Трубникова, склонного к иллюзиям меньше других, мысль о таком исходе наталкивалась на какой-то подсознательный барьер. Летчик от такой ограниченности был свободен. Этот вот трибунал приговаривает к высшей мере каждого пятого осужденного. И каждый, кто получил двадцатку или четвертак, должен помнить, что вышка ходила возле него совсем близко. А проходить по делу Якира, развивал свои соображения летчик, значит быть уже почти в могиле. В живых из этой группы не оставляют почти никого. Это он знал точно от одного якировца, майора, попавшего на переследствие. Парень мыслил по-мужски и по-мужицки просто и ясно. Да, конечно, Трубников понимал теперь, что он как-то не способен пользоваться в размышлениях понятием прямого физического убийства. Но он не видит связи между возможностью смертного приговора бывшему полковнику и его отсутствием в этой камере...

Летчик посмотрел на Алексея Дмитриевича с чуть презрительным удивлением. Что этот гражданский, первый день в тюрьме сидит, что ли, что ее порядков не знает? Смертников отделяют от всех остальных сразу же после

вынесения приговора. И в тюрьму их отвозят как можно скорее, совершенно отдельно от других и под усиленным конвоем. А в тюрьме для смертников есть специальное отделение. Спецотдел называется.

Из прогулочного дворика Трубников видел стену этого спецотдела. Он находится в одном из углов их спецкорпуса. К отделению смертников примыкает выгороженный очень высоким кирпичным забором прогулочный дворик с отдельной вышкой для часового. И козырьки на окнах этого отделения особенно плотные. Это собственно даже не козырьки, а непроницаемые железные колпаки, закрывающие окно снизу и сверху.

От входа в подвал послышалось урчание автомобиля.

— Никого не увозили, когда меня не было? — спросил летчик.

Вряд ли так поздно могли привезти на суд кого-нибудь еще. Алексей Дмитриевич теперь понимал тревожный смысл этого вопроса. А парень стоял под самой дверью, чутко прислушиваясь к доносившимся из-за нее звукам. Несколько человек прошли в дальний конец коридора. Было слышно, как там открылась и снова закрылась дверь и люди пошли обратно, направляясь к выходу.

— Смертника выводят, — сказал летчик.

— Эй, летун, лейтенант, ты здесь? — Человек в коридоре крикнул, по-видимому, без особого напряжения. Но голос был сильный и звучный. Так умеют владеть им старые командиры, особенно кавалерийские.

— Здесь, товарищ полковник! — Летчик кричал прямо в дверь, по-военному отчетливо выговаривая слова.

— Приказываю прекратить! — это голос начальника конвоя.

— Встретишь старых вояк... — из коридора послышались топот ног и возня. — Передай им привет... — Возня усилилась. Кто-то, выброшенный из свалки, ударился о дверь их камеры. Тяжелый металлический предмет с лязгом упал на пол.

— Скажи... Фролова к расстрелу...

— Есть сказать, товарищ полковник!

— Прощай, летун...

По коридору бежали еще люди. Но Фролов, видимо, уже сам шел к выходу. За ним затопала и орава его конвоиров.

— Фуражку его возьмите! — крикнул кто-то им вслед.

— Ух, гады... — летчик сидел на скамье, положив один сжатый кулак на колено, а другим подпирая голову. — Каких людей истребляют! Кто же армией командовать будет, ежели что?..

Алексей Дмитриевич чувствовал, что ощущение тупого, давящего кошмара овладевает им совершенно. Казалось, что все в мире подвластно теперь только Неправде, Жестокости, Глупости и Злобе. Он пытался возразить самому себе, напомнить о существовании Разума, Гуманности, добрых начал... «Нет, нет! — кричал внутри него кто-то отчаявшийся, потерявший надежду. — Все втоптано в грязь, все обесчещено. Все находится на службе у Неправды... Или робко ждет полного уничтожения...»

Резко щелкнул замок, и дверь отворилась от удара ногой. На пороге стоял начальник конвоя. Он был красен и тяжело дышал.

— Кто этот тут «Есть, товарищ полковник!» кричал?

— Будто не знаешь?.. — летчик смотрел на конвойного презрительно и угрюмо. — Я кричал.

— Вот получишь карцера десять суток, так тише станешь, герой!

— Да уж, не тебе чета, крыса тюремная!

— Ладно! Ты меня еще припомнишь!

Дверь с треском захлопнулась. Теперь летчик быстро шагал от окна к двери и обратно, бормоча ругательства и часто повторяя: «Гады... ух, гады...» Под гадами он подразумевал, вероятно, и стукачей, и трибунальщиков, и тюремных крыс.

«Да, да. В мире царят Глупость, Жестокость и Злоба. Но подчиняются они все-таки Неправде. Не она ли — главная определяющая социальная сила современности?» Трубников сидел, уронив голову на руки. Над жизнью, над миром опустилась ночь. Ее непроницаемый мрак мог бы ослабить только золотистый свет из окна маленькой детской комнатки. Скорее бы наступали сумерки.

Летчик шагал уже медленнее и реже бормотал свое «гады», когда в камеру выпустили нового осужденного.

Он был немолод и невзрачен. Одет в бедную, замызганную и притом зимнюю одежду. Обут в стоптанные валенки. Значит, этот человек арестован не позднее прошлой весны. Невольно возникла мысль о том, каково ему было в течение всего лета при удушающей жаре тюремных камер.

— Здравствуйте, — сказал вошедший, снимая облезлый заячий треух. Выражение лица у него было угнетенное и подавленное.

Несколько уже успокоившийся бывший лейтенант спросил его о сроке.

— Десять и пять, — уныло ответил осужденный.

— А по каким пунктам?

О статье здесь не спрашивали. Она была всегда одна и та же, пятьдесят восьмая. Оказалось, что человек в заячьем треухе осужден по восьмому пункту.

— Террорист? — удивился летчик.

Тот утвердительно кивнул и криво усмехнулся. Пункты обвинения у всех были чаще всего нелепыми, но грозный восьмой — очень уж не соответствовал внешности осужденного, казавшегося совсем уж тихим и забитым.

— И одиннадцатый, наверное? — продолжал допрашивать любопытный лейтенант.

Нет, осужденный — террорист-одиночка. Случай крайне редкий. Организацию, конечно, пытались пришить и ему. И в районе, где он взят, и здесь, в областном НКВД. Из-за этого и просидел до суда восемь месяцев. Но потом у следователей охота возиться с ним почему-то отпала, и дело закружили через семнадцатую — намерение к совершению террористического акта.

Несмотря на свою подавленность, террорист разговаривался. Очень уж сильна здесь потребность поделиться с другими своей обидой на несправедливость. Работал осужденный в районном центре на зернозаготовительном пункте приемщиком зерна. И поругался однажды с нахальным председателем одного колхоза из-за качества принимаемого зерна. Слово за слово... и председатель назвал приемщика кулацким выкорышем. В молодости он действительно жил в семье родственника, крепкого хозяина, так как с детства остался

круглым сиротой. А потом ушел в приймаки задолго до того, как эту семью раскулачили. Он не сдержался и сказал в ответ на обиду, что таких, как этот председатель, надо стрелять из поганого ружья. В их местности поговорка есть такая, бранная, конечно. Ну, а председатель тот написал в НКВД, что кулацкий последыш агитировал за убийство присланных из города колхозных руководителей. Сам он действительно из двадцатипяти тысячников.

— Вот гад! — сказал летчик.

Замазанное белым окно начинало заметно темнеть. Сумерки сгущались. Включенная из коридора, загорелась под потолком тусклая лампочка. Потом засветились и замазанные стёкла. На улице вспыхнули фонари.

В коридоре послышались приближающиеся шаги нескольких человек. Вероятно, вели очередную партию осужденных. И, скорее всего, последнюю в этот день. Если так, то скоро всех повезут обратно в тюрьму.

Ввели двоих совсем еще молодых людей. Судя по тому, что их судили вместе, — однодельцев. Один из них поздоровался и сразу же начал возбужденно ходить по камере. Другой только беззвучно пошевелил губами и опустил на скамейку. Мышцы его лица и всего тела казались расслабленными, полностью лишенными силы. Даже любопытный летчик не решился сразу спросить у этих ребят, по сколько им дали и кто они такие. Но вот шагавший остановился перед понурившимся товарищем.

— Ну, что раскис? Не четвертак же тебе припаяли. Через десять лет тебе только тридцать будет. Может, опять в институт поступишь.

Тот с трудом поднял голову.

— Нет уж... Не видать мне больше института. А так хотелось доучиться. На третьем курсе уже был бы...

— А я бы весной закончил. — Старший из бывших студентов был энергичнее, грубее и крепче сложен, чем его товарищ с тонким девичьим лицом.

— Всё Борисенко этот... — сказал младший. — Мало ему, что всю кафедру завербовал, так и до нас добрался.

— В каком учились? — спросил летчик, которого касалось решительно все.

— В сельскохозяйственном, — ответил старший студент. И предвидя дальнейшие вопросы, продолжил. — Повстанцы мы и вредители. А сроку нам за это — по червонцу.

На дворе перед входом в подвал арестантской заурчал автомобиль. И через минуту дверь открылась.

— Выходи все!

Всего два-три шага отделяли дверь воронка от спуска в трибунальский подвал. И всего на каких-нибудь полминуты удалось задержаться, стараясь не войти в автомобиль первым, и взглянуть в холодное и блеклое небо осенних сумерек. Почти во всех окнах прилегающих домов горел свет.

Горела лампочка и в кабине ворона. Но она была совсем тусклая и почти не мешала смотреть через отверстия вентиляционной коробки. Окна вторых этажей были видны хорошо.

Алексей Дмитриевич следил за маршрутом с таким напряжением, которого не испытывал в своей жизни еще никогда. Если из-за ошибки или невнимательности он упустит те несколько секунд, которые предоставляет ему судьба, чтобы скользнуть взглядом по окнам своей бывшей квартиры, такая возможность никогда уже больше не повторится.

Автомобиль въехал на Технологическую улицу. Промелькнул купол-каравай кинотеатра, фронтон барского дома. Потянулись безликие фасады с бесчисленными прямоугольниками окон. Сейчас, сейчас... Гулко билось сердце. До предела напряглись нервы. И все это напряжение сосредоточилось где-то там, в тесноте черепной коробки, создавая в ней ощущение почти физической боли.

Светящиеся прямоугольники мелькали уже через сетку ветвей. Это — ряд тополей, который кончается перед их домом. Сейчас, сейчас...

И вдруг сердце замерло, как занесенный, но не опустившийся молот. Его остановил ударивший в глаза густой оранжевый, почти багровый свет. Большой матерчатый абажур висел высоко, гораздо выше, чем его предшественник — маленький золотисто-желтый колпачок со смешными картинками.

На месте фотографии Цапцарапа мерцала широкая золотая рама старомодной картины.

Не давать воли отчаянию! Не терять способности мыслить! Удержаться еще несколько секунд на своем наблюдательном посту и проверить, тот ли это дом. Теперь невыразимо острым было желание, чтобы наблюдение оказалось ошибкой, чтобы эти окна были окнами какой-то другой квартиры. Пусть будут лучше терзания неведением, чей этот свет, который никогда не уйдет из его сознания, если он вытеснил тот, золотисто-желтый...

В ряду окон второго этажа промелькнул последний из светящихся прямоугольников. Все поле зрения заняла сплошная, слабоосвещенная стена бокового фасада. В самом ее верху тускло засветился круг чердачного окна. В просвете над детской площадкой темнело небо. Ошибки не было. Бывшая квартира Трубниковых занята другими людьми.

Закрыв глаза руками, Алексей Дмитриевич опустил на скамью под стенкой. Следить за поворотами и ориентирами надобности больше не было. Все было ясно. Ирина арестована и томится в одной из женских камер внутренней тюрьмы. Крохотная Оленька будет расти в холодном мире чужих людей. Может быть, потом ей внушат, что она дочь врагов народа. Сумеют привить ненависть к памяти матери и отца. Вырастают в убеждении, что эти люди своей неукротимой классовой злобой и ее обрекли на сиротство, бесконечно горше того, которое вызывается физической смертью родителей.

И во всем этом повинен он! Тираническая совесть не хотела признавать никаких оправданий, никаких других вариантов событий, чем тот, который должно было вызвать его недомыслие. Ни оправдания, ни прощения ему не было!

А оранжевый свет в окне, промелькнувший в течение каких-нибудь двух секунд, все ярче разгорался в сознании пораженного им человека. Защищаясь от враждебного света, Трубников зажимал глаза ладонями. Но и через них он, торжествующий и наглый, проникал к нему в мозг, жег его, как раскаленное железо.

Громадным внутренним усилием Трубникову удалось на мгновение погасить этот жестокий свет. В памяти опять возник светящийся теплым светом прямоугольник окна детской. Но быстро уменьшаясь до размеров точки, он унесся в черную, беспредельную даль. Появился каменный чулан,

набитый грязными, заросшими людьми. Чулан сменился бесконечным коридором с двумя рядами узких дверей, наполненный человеческими воплями. Хорек в мундире, вышитом золотыми мечами, целился из пистолета в глаза Трубникову. Взмахнув руками, хорек откинулся назад и упал. С визгом пронеслась вереница химерических всадников буро-серого цвета. Скалилось в довольной ухмылке печеное яблоко, насаженное на мундир с эмблемами бригавоенюриста.

Видения неслись с нарастающей скоростью. И вдруг все разом с оглушительным грохотом и звоном ударились о какую-то скалу и рассыпались. Снова вспыхнул оранжевый свет. Но теперь он был в тысячу раз сильнее. Он разливался на весь мир, сжигая на своем пути всё, что еще оставалось от Надежды, Разума, Справедливости. Трубников застонал мучительно и протяжно, как от нестерпимой боли.

— Что с вами? — летчик грубовато, но участливо пытался оторвать руки Алексея Дмитриевича от его глаз. Но тот еще сильнее прижимал их. Пассажиры тюремного ворона недоуменно смотрели на своего товарища. До этого почти все они тоже не отрывались от отверстий вентиляционного колпака. Для всех них это была последняя возможность взглянуть на огни своего города. Но автомобиль уже въезжал в теремные ворота, и мелькание световых пятен в отверстиях коробки прекратилось.

Открылась дверь.

— Выходи! — приказал начальник конвоя.

Заключенные вышли, оглядываясь на Трубникова, продолжавшего сидеть в прежней позе.

— А ты чего? — крикнул конвойный. И так как заключенный не вставал и не отводил от лица рук, тряхнул его за плечо. — Эй, ты чего закрылся?

Пожав плечами, он подошел к выходу, возле которого снаружи столпились осужденные.

— Что с ним?

Бывший приемщик зерна пояснил, что сидел этот человек, как и все, а потом вдруг застонал и схватился за глаза...

Подошел дежурный по спецкорпусу, немолодой уже человек в военной форме.

— А сколько ему дали? — спросил старый тюремщик, видимо, что-то заподозривший.

— Двадцатку, — ответил конвойный начальник.

Оба вошли в арестантское отделение.

— Фамилия-то его как?

Помощник отделения ответил.

— Послушай ты, Трубников, — крикнул дежурный почти в ухо Алексею Дмитриевичу, как кричат только совсем глухим людям. — Глаза, что ли, болят?

Трубников отвел одну руку от глаз, но тут же прижал ее снова.

— Не могу, — сказал он сквозь зубы. — Свет...

— Какой свет? — Дежурный и конвойный переглянулись.

— Оранжевый... От абажура... Уберите его!

Последние слова Трубников уже выкрикнул с теми интонациями болезненного протеста, которых всегда пугаются психически здоровые люди. Даже если по роду своей профессии они постоянно сталкиваются со всеми видами человеческого отчаяния. Тюремщики попытались к выходу. Продолжая пятиться, они вошли в отделение для охраны и закрыли за собой дверь на задвижку.

— Пономаренко, — сказал начальник конвоя. — Беги в больничной. Скажи, опять тут у одного... — он покрутил пальцем перед козырьком фуражки. Конвойный понимающе кивнул и побежал исполнять приказание.

— А ты, — обратился начальник к другому парню с винтовкой, — стой тут и глаз с него не своди!

Тот с выражением испуга на простоватой физиономии прильнул к смотровому оконцу. Заключение плотной кучкой продолжали угрюмо стоять у задней стенки автомобиля.

— Все запомнили, кто какой срок получил? — обратился к ним дежурный по корпусу.

— Спасибо, постараемся не забыть, — за всех ответил бывший летчик-лейтенант.

— Вот и постарайтесь. Теперь вы осужденные и при вызовах обязаны называть не только имя и отчество, но также статью и срок.

По долгому опыту дежурный знал, что арестанты, получившие свой срок только что, называют его с мучительной неохотой. Особенно силен первое время протест против осуждения у этих вот контриков. Недаром психиатрическое отделение больницы каждый день пополняется почти исключительно за их счет.

Но те, кто сошел с ума на суде или сразу же после него, обычно буйствуют. Норовят выскочить в окно, удариться головой о стену, рвут на себе одежду. А этот, на которого сейчас пялит глаза сосунок с винтовкой, помешался как-то чудно. Про какой-то абажур бормочет...

Конвойный начальник перебирал в парусиновом портфеле папки с тюремными делами своих подконвойных. Найдя дело Трубникова, он подложил его в самый низ. Этому придется сдавать не обратно в спецкорпус, а в тюремную больницу.

Затем он громко прочитал по заголовку на папке первую фамилию. Вызванный привычно назвал свое имя и отчество, но статью и срок произнес невнятно, как плохо заученный урок. Молодой, но усердный служака обругал бестолкового арестанта и хотел потребовать от него повторения установочных данных. Однако старый был менее педантичен и сделал короткий жест в сторону:

— Отходи!

Со стороны больничного корпуса бежал посланный туда конвойный. За ним торопливо шагали еще три человека. Один в белом и двое в серых халатах.

1964—1968

Два прокурора

Плотный, краснолицый и бритоголовый майор госбезопасности, начальник главной городской тюрьмы, она же — главная областная тюрьма, был по натуре шутник и весельчак. Когда ему случалось заглядывать в камеры спецкорпуса этой тюрьмы, где содержались арестованные за контрреволюционные преступления «враги народа», и те жаловались на нестерпимые скученность и духоту, майор не обрывал их на полуслове, как это делали его помощники и заместители. Он выслушивал жалобщиков с широкой улыбкой на круглом, благодушном лице, как слушают забавную, но давно известную историю, и затем отвечал им откровенно и обстоятельно. Да, старая тюрьма за всю свою полуторасотлетнюю историю не знала такой перегрузки, которую испытывает теперь. Не секрет, что в тех помещениях, в которых царские тюремщики содержали какой-нибудь десяток арестантов, сейчас их набито человек сто и более. Но как начальник тюрьмы он не сторонник теории «предельных нагрузок», за которую сюда не так давно угодили многие руководители транспорта и промышленности. И если того требуют обстоятельства, он готов еще более увеличить плотность ее населения. Нет, нет! Мы не «предельщики», похохатывал майор.

Но одно дело отводить от себя даже тень подозрения в склонности проявлять заботу о комфорте арестованных «врагов народа», а другое дело понимать, что есть физический предел человеческой способности — выносить жару, духоту, вонь и грязь переполненных камер. Поэтому Центральная, как почти все тюрьмы тех лет, спешно и всеми доступными ей способами расширяла свою «полезную площадь», не вы-

ходя, конечно, за пределы старинной, почти крепостной стены. На окруженной этой стеной сравнительно небольшой территории, где нельзя уже было особенно разогнаться с новым строительством, принимались для решения «жилищной проблемы» срочные меры. После небольшой просушки и переделки были заполнены арестованными подземные камеры, пустовавшие со времен Екатерины Второй и Павла Первого, переделаны под арестантские помещения ставшие теперь ненужными подсобные хозяйственные постройки тюрьмы, такие как тюремная церковь, пекарня, конюшня, дровяные и каретные сараи. Расширились и надстроились также приземистые старинные тюремные корпуса. Но сейчас на очереди была сдача в эксплуатацию небольшого арестантского корпуса, перестроенного из старой поварни. В последние годы эта поварня стала одним из самых узких мест большого тюремного хозяйства. Даже при круглосуточной работе она не справлялась с растущей потребностью тюрьмы в арестантской баланде. Месяца три тому назад ее сменила построенная на территории Центральной современная фабрика-кухня, в которой эта баланда готовилась уже скоростным способом в котлах-автоклавах высокого давления. Дух индустриализации проникал и сюда. И то сказать, шел уже второй год Третьей сталинской пятилетки, по традиционному летоисчислению — 1937-й.

А старушку-поварню, как и все, что имело здесь надежный фундамент и каменные стены, переделали в очередной тюремный корпус, слегка перепланировав приземистое здание и надстроив его на этаж. Собственно строительные работы здесь были уже закончены. Оставалось только убрать из здания строительный мусор и, хотя бы поверхностно, просушить стены огромных камер, на которые были разгорожены оба этажа. Это было тем более необходимо, что корпус предназначался для содержания «бытовиков», как называли тогда арестованных и осужденных за уголовные преступления. Для содержания политических, «ка-эр-контингента», он не годился ввиду своей малости и недостаточной изоляции от прочих корпусов Центральной. Но генеральная чистка страны производилась не только от контрреволюционного, но и от просто «социально вредного элемента», для размещения которого

в тюрьмах тоже не хватало места. Население огромной тюрьмы росло не по дням, а по часам. Даже рьяный противник теории пределов, ее начальник, отлично понимал, что она не резиновая. И всячески торопил строителей со сдачей нового корпуса.

Посещая стройку почти каждое утро при обходе тюрьмы, он, несмотря на свое неизменное благодушие, хмурился, ощупывая стены камер, и строго спрашивал строительного десятника, когда же, наконец, эти чертовы стены просохнут. Десятник, заключенный колонии мелких преступников, выполнявший для тюрьмы строительные подряды, оправдывался, ссылаясь на сырые дрова, которыми топили железные печи-временки, установленные во всех новых камерах для срочной просушки. Дело к осени, идут дожди. Служившие топливом — другого у городской тюрьмы с ее центральным отоплением не было — строительные отходы, всё еще разбросанные по двору или сложенные в небольшие кучки, намокли и горели плохо.

Особенно рассердился майор в то хмурое ноябрьское утро, в которое он застал в бывшей поварне десятника совсем одного, без рабочих, а все сушильные печи потухшими. Это было явное безобразие. Печи было приказано топить круглосуточно днем и ночью, для чего на стройку ежедневно наряжались две смены истопников. Но сегодня как всегда явившийся сюда из трудовой колонии малосрочник-бесконвойник, сидевший за продажу частным лицам казенного шифера, не застал тут никого. На месте не оказалось не только бригады работяг-подсобников, убравших мусор и приходивших на работу рано утром, но и ночной смены истопников. Судя по совершенно остывшим печам, их увезли отсюда еще в первой половине ночи.

Готовый было накричать на десятника за нераспорядительность, начальник осекся. В том, что срочная стройка осталась без рабочих, был виноват он сам. Хотя, черт побери, разве его подчиненные не обязаны были напомнить ему о том, что из назначенного на прошлую ночь большого этапа надо было временно исключить заключенных добровольцев, уже с месяц работавших тут в качестве подсобников? Городская тюрьма была не только местом содержания преступников, но и хозяйственной организацией, ведущей счет деньгам.

За привлечение на ее стройки квалифицированных строителей она должна была платить. Разнорабочих же можно было набрать из числа уже прошедших следствие и суд бытовиков самой Центральной. Понуждать своих заключенных работать тюрьма права не имела, на то есть лагеря принудительного труда, куда их вскоре отправят. Но приглашать могла. И охотники поразмяться после неподвижного сидения в камере посильной работой, подышать «от пуза», не то что на десятиминутных прогулках, свежим воздухом всегда находились. Многих привлекала также возможность получить иногда миску лишней баланды, которой и ограничивались расходы тюрьмы на оплату разнорабочих. Благодаря нераспорядительности и непредусмотрительности помощника начтюра по хозяйственной части, работавшая здесь бригада загремела на очередной этап. И это за несколько дней до сдачи нового корпуса, когда был дорог каждый час! Новую бригаду, правда, собрать нетрудно, но десятник говорил, что главная потеря времени может произойти теперь из-за отсутствия растопки для печей. Разжечь их совершенно нечем.

Майор сердито хмурился. Даже о таких пустяках ему самому приходится думать! Но будешь думать, если негде разместить арестованных, прибывающих в куда большем количестве, чем их забирают отсюда на дальние этапы.

— Бумага годится? — спросил, видимо, припомнивший что-то начальник тюрьмы. Десятник ответил, что годится. При условии, однако, что это будет не какая-нибудь пара газет, а хотя бы мешок.

— Ладно, будут тебе сейчас и рабочие и растопка, — сказал начальник и ушел.

Немногим больше чем через полчаса десятник, скучающий у входа в новый корпус, увидел, что со стороны одного из старых «бытовых» корпусов сюда идут десятка полтора заключенных. Их сопровождал знакомый надзиратель, рядом с которым шел пожилой арестант, несший на спине серый тюремный матрац, доверху чем-то наполненный. Это и была, конечно, обещанная майором макулатура. Но похоже, не совсем простая, так как надзиратель, судя по тому, что он ни на шаг не отступал от мешка, конвоировал не столько новое пополнение, сколько этот мешок.

— Вот тебе, — сказал он десятнику, когда срочно завербованные добровольцы пришли на строительную площадку, — новая «бригада-ух»... — Ирония тюремщика была вызвана, очевидно, жалким видом приведенных им работяг. Большинству из них после многомесячного сидения в переполненных камерах даже трехсотметровый переход сюда из корпуса показался утомительным и трудным. Поэтому они сразу же с выражением изнеможения на серых одутловатых лицах опустили на мокрые от дождя кучи щепы и битого кирпича.

— Да, работяги те, — в тон ему отвечал десятник, — к каждому из них надо еще трех помощников приставить. Двоих — чтоб под руки поддерживали, а третьего — чтобы ноги переставлял...

Это была распространенная лагерная присказка. Хотя дальше городской колонии незадачливый торговец государственными стройматериалами нигде в заключении не бывал, но любил изображать из себя эдакого бывалого арестанта. Особенно перед теми, кто впервые попал в тюрьму. А таких тут было подавляющее большинство, если не все. Добровольцы работали во дворе тюрьмы без конвоя. Поэтому отбирали их, главным образом, по признаку незначительности их статей. Не поглумиться над такими, хотя бы не зло и не слишком много, значило бы упустить редкую здесь возможность поразвлечься. Это было тем более не так уж грешно, что слабость добровольно изъявивших желание выйти на работу арестантов объяснялась не столько их истощением, сколько опьянением свежим воздухом. Сегодня от них толку, конечно, будет мало, но завтра-послезавтра эти люди понемногу начнут шевелиться. На этот счет у десятника опыт уже был.

Он и надзиратель, приведший бригаду, закурили. Хотя работнику надзорслужбы и не положено якшаться с заключенными, но этот был, так сказать, полуарестантом. К тому же пришлым и старшим на здешнем строительстве.

Однако докурив и затоптав окурки, надзиратель вдруг построжал на глазах и сказал десятнику:

— Вот тут, — он пнул ногой лежавший рядом мешок с макулатурой, на котором сидел принесший его какой-то невзрачный, забитый с виду старик-замухрышка, — бумага, которую майор приказал немедленно сжечь. Полностью, чтоб от нее

ни одного лоскутка не осталось! Палить будет этот... — надзиратель ткнул пальцем в плечо сидящего на мешке арестанта.

— У тебя есть камера с исправными запорами?

— Все исправны, — пожал плечами десятник, — только что поставили...

— Вот и хорошо. Веди нас к печке, которая тебе больше нравится... Остальные будете жаром из нее растапливать... Давай, пошли! — приказал надзиратель истопнику, выбранному и назначенному на эту должность, очевидно, заранее, несомненно, по причине важности бумаг, которые надлежало сжечь. Этому замухрышке, возможно из-за его робкого вида, надзиратель доверял больше, чем другим.

— Все ваши тюремные секреты, — усмехнулся десятник, когда все трое поднимались на второй этаж. — Должно быть прошлогодние строительные наряды...

— Для тебя они — растопка! Понял? — строго сказал надзиратель.

Десятник опять усмехнулся и открыл дверь в одну из камер.

Это было больше похожее на склад помещение с двумя продолговатыми оконцами под потолком. В одно из них была просунута труба от железной печки. Труба поднималась под потолок и тремя длинными горизонтальными коленами тянулась вдоль стен. В камере пахло мокрой глиной и сырой известью, которой был густо обляпан пол и сложенные в углу, но тоже, видимо, побывавшие под дождем древесные обрезки и щепы.

— Вот в этой печке, — сказал истопнику надзиратель, — спалишь все, что в этом мешке! — Он показал на печку и ткнул пальцем в мешок, как будто старик был дураком, до сих пор еще не понявшим, что от него требуется.

— Да гляди у меня, — продолжал тюремщик уже угрожающим тоном, — не вздумай хоть одну бумажку припрятать да в камеру принести. Найду — рапорт начальнику тюрьмы напишу. Из карцера месяц не вылезешь, я тебя тут закрою и приду через час. И чтобы к этому времени всю бумагу спалил и печку как паровоз разжег! Понял? — Это «понял», видимо, было любимым словом надзирателя.

— Спички мне оставьте, — попросил истопник.

– Ах, да! – надзиратель достал из кармана коробок спичек, высыпал их себе на ладонь, сунул обратно в коробку только одну и протянул ее заключенному – Вот! Хватит тебе. Бумага хорошо загорается. А коробок потом мне вернешь!

Надзиратель был человек незлой, но тюремные правила соблюдал строго. А спички по этим правилам тоже «запрет-предмет», проносить который в камеры не разрешалось.

– Какая у этого деда статья? – полюбопытствовал десятник, когда надзиратель с лязгом запирает дверь камеры, в которой остался истопник с его необычным топливом.

– Сэ-вэ-э, – ответил тот.

– Социально вредный? – удивился строитель. – а я-то думал, что он где-нибудь на дровяном складе сторожем был да воров проворонил... Пооди ж ты! А может старик бандершей был, бардак где-нибудь содержал... А? – оба засмеялись, проходя по длинному, тоже заляпанному известкой и заваленному старой штукатуркой коридору.

А «социально вредный» вытряхивал в это время на пол содержимое огромного мешка. Он, как и десятник, тоже думал, что тут какие-нибудь старые канцелярские бумаги. Но из мешка посыпались и растеклись по полу невысокой плоской кучкой небольшие бумажные пакетики. Это были арестантские письма, заклеенные в самодельные конверты, изготовленные из лоскутков бумаги, махорочных оберток и даже развернутых и разглаженных папиросных мундштуков. Некоторые из пакетиков были сделаны из неоднородного материала и напоминали лоскутные одеяла. Фабричных конвертов среди них не было совсем. Не было, конечно, и марок. Впрочем, по надписанным на конвертах адресам письма должны были доставляться и без них. Это были, главным образом, адреса высших государственных и партийных инстанций: Центральный комитет ВКП(б), Верховный Совет СССР, Генеральная прокуратура. Другая часть писем адресовалась непосредственно верховным вождям, иногда с пометкой «лично»: Сталину, Калинин, Ворошилову, Молотову, Кагановичу. Но больше всего Сталину. Старик-истопник не был новичком в тюрьме, как думали здешний десятник и надзиратель, и, наверное, сам начальник тюрьмы, ткнувший сегодня в него пальцем в тюремном коридоре, куда вывели добровольцев, изъявивших желание

поработать несколько дней во дворе тюрьмы. Подошедший к нему майор, оглядев всех, почему-то остановился взглядом на самом пожилом и невзрачном из них и отрывисто спросил:

— Какое образование?

На это спрошенный ответил, что еще до революции учился в церковно-приходской школе. Да только отец забрал его уже из второго класса...

— Вот этого! — сказал майор.

Однако формальный образовательный уровень часто не соответствует действительному отклонению от него, как в ту, так и в другую сторону. Жизнь вынудила старика, хотя и самоучкой, но не так уж плохо познать грамоту. Способствовала этому и его врожденная любознательность. Имел представитель «социально вредного элемента» и немалый уже тюремный опыт. Этот опыт помогал ему понять многие особенности арестантских писем. Например, причину странной одинаковости их почерка. Это потому, что писать приходится либо огрызком карандаша, часто настолько коротким, что удерживать его можно только сжатыми в щепоть кончиками пальцев, либо огарком спички, обмокнутым в самодельную тушь. В том и другом случае индивидуальные особенности почерка почти совершенно теряются.

Знал старик и о строгости, с которой содержатся в окруженном отдельной стеной «спецкорпусе» те, кто арестован за попытку свергнуть советскую власть или как-нибудь навредить ей. Но что этих людей лишают права писать жалобы в законные инстанции, этого он не знал. В корпусах бытовиков тоже страшная скученность, масса народу, множество таких же как и он, проходящих без всякого суда и следствия. Однако достаточно заявить на вечерней поверке, что хочешь обжаловать свой приговор или постановление «тройки» о ссылке без суда по «литеру» СВЭ (социально вредный элемент), как на другой день тебе приносят бумагу, конверт и карандаш. Другое дело, какой из этого получается толк. В особенности для «литерников». Никто из сидевших не мог припомнить, чтобы хоть одна из жалоб была удовлетворена или по просьбе признанного «социально вредным» в тюрьму явился прокурор. Похоже, что их обращения в прокуратуру вообще не рассматриваются. Обращаться в нее, однако, разрешается сколько угодно.

А вот «контрикам» из спецкорпуса, как видно, не по-зволяется и этого, хотя формального запрета, наверное, и нет. Иначе от них не принимали бы пакетиков. Пусть-де думают, полагает наверное начальство, что их письма отправились по адресам. А они тем часом идут по ветру дымом... Значит, тю-ремное начальство и то, которое повыше его, не хочет, чтобы письма политических арестованных попадали по назначению. А почему? Местное ли это беззаконие или такие порядки те-перь по всей стране? Может быть, какой-нибудь ответ на этот вопрос может дать содержание писем? Старик покосился на застекленный глазок в двери. Что, если надзиратель еще не ушел и наблюдает за ним из коридора? Он взял целую охап-ку писем из кучи, отнес их к печке, стоявшей к двери своей задней стороной, сделал вид, что в этой печке копается, и су-нул в карман десяток запечатанных пакетиков. Затем отошел в дальний передний угол, не видный через тюремный глазок и принялся за распечатывание и чтение писем.

Почти все они были написаны на таких же, как кон-верты, склейках из крохотных бумажных лоскутков, предот-вратить попадание которых в камеры тюрьма не могла уже никак. Почти одинаковым, как вскоре оказалось, было и со-держание писем, хотя их авторы были очень разными люди-ми. Руководящий работник, член большевистской партии с дореволюционных времён писал Сталину, что его ложно обвиняют в принадлежности к троцкистско-бухаринскому блоку. Всячески вымогают признание, на допросах избивают. На то же самое жаловались два колхозника, бывшие красные партизаны, хотя сидели все они, наверное, в разных камерах. Среди обращающихся к Генеральному секретарю ЦК, пред-седателю Верховного Совета, Генеральному прокурору СССР были и директора заводов и простые рабочие, профессора и явно малограмотные люди, партийные и беспартийные, старики и совсем еще молодые. И все они твердили в своих заявлениях, хотя и в разных выражениях, но одно и то же — не виновны! И все просили вмешаться в ход их дела и защитить от произвола. Общеизвестно, что почти всякий преступник, даже схваченный с поличным, поначалу отрицает свою вину. Но потом только редкие из них продолжают настаивать на таком отрицании, поскольку им предъявляют доказательства

их вины. Здесь же отрицание было сплошным, хотя многие писали, что признали себя на следствии виновными под воздействием насилия и угроз. По-видимому, это насилие действительно существовало, раз о нем в один голос заявляли все политические заключенные, в подавляющем большинстве случаев совершенно незнакомые друг с другом и строжайше друг от друга изолированные. То, что жалобы на это насилие и произвол следователей и судей пресекаются посредством их противозаконного уничтожения, весьма убедительно подтверждало правоту жалобщиков.

О жутковатых делах, творящихся в нынешних тюрьмах для политических арестованных, бывший возчик конторы «Гужтрана» не раз слышал находясь еще на воле. Он и тогда прикидывался темным и малограмотным — с такого меньше спрос — но на самом деле интересовался политикой и газеты тайком, когда попадались под руку, почитывал. Прислушивался он и к разговорам. А говорили, конечно, только наедине друг с другом, разное. О том, например, что со схваченными НКВД тайными контрреволюционерами, о которых так много писали в газетах, сейчас расправляются почти так же круто, как в ЧК времен гражданской войны. И что под горячую руку попадается множество ни в чем не повинных людей. Это было понятно. Во время широкой кампании по выявлению и искоренению подпольной контрреволюции всякое может случиться. Но чтобы все арестованные по обвинению в политических преступлениях оказались невиновными, это и в голову не приходило даже человеку крепко и неоднократно обиженному советской властью. Последней из этих обид было приклеивание ему клейма «социально вредного» и постановление какой-то «тройки» о его заключении без следствия и суда в исправительно-трудовой лагерь сроком на восемь лет. Этот срок был уже вторым у малоприметного «водителя» гужтрановской кобылы. Первый он отбыл два года тому назад за перепродажу заведомо краденого. Тогда ему пришили, что, будучи профессиональным старьевщиком, он давно уже занимался между делом этим преступным ремеслом. Но это было неправдой. Соблазну хранить в тюках скупленной по дворам ветоши отрезки краденой ткани и продавать их при случае старьевщик поддался только раз, когда, почти разоренный непосильным налогом, он попытался

выкрутиться из безвыходного финансового положения. И тут же, не имея уголовного опыта, «сгорел».

А вот «шурум-бурумщиком» он был потомственным. Еще с отцом ходил по дворам, собирал всякий хлам вроде старых калош и коробочек из-под ваксы. Для этого отец, едва перебивавшийся с семьей из восьми душ, и забрал его из школы. Но мальчишка был смысленый и пошел дальше своего родителя. Тот, собирая утиль, бродил с огромным заплечным мешком. Сын же к началу революции имел уже лошаденку и телегу. С ними он ездил по окрестным деревням, скупая тряпье, кость, рога и копыта. У баб — за мелкие деньги, зеркальца и бусы, у детей — за карамельки и глиняные свистульки. Продолжал он свое довольно доходное дело и при советской власти, когда окончилась гражданская война. В эти годы дела шли даже лучше, чем в дореволюционные времена, так как на задворках, чердаках и в самих домах накопилось множество всякого хлама. Скупщик старья взамен отцовской халупы выстроил себе на городской окраине довольно приличный домик. Был, конечно, женат, имел детей.

Но к концу двадцатых годов началось наступление на нэпманов. Фининспектора произвольно определяли их доходы и обкладывали налогами, в конечном счете неизменно перевешивающими все состояние нэпманов. В лучшем случае дело кончалось полнейшим их разорением, в худшем — еще и заключением в тюрьму за неуплату недоимок. У зажиточного старьевщика было описано все имущество. Пытаясь спасти от конфискации домишко, лошадь и телегу, он и попал тогда «из огня да в полымя». Приговор к шести годам ИТЛ по уголовной статье, разумеется, не спас его от государственного гражданского иска, и жившая доселе вполне благополучно семья торговца старьем пошла, что называется, «по миру». Сам он угодил в лесорубный лагерь на Севере и свой срок отбыл полностью. Несмотря на вполне «бытовую» статью, бывший нэпман никак не мог быть причислен к разряду «социально близких». Вообще, в заключении ему пришлось нелегко. Политические заключенные презирали скупщика краденого. Воры и грабители, считавшие «барыг», так сказать, мироедцами преступного мира, наживающимися на их кровушке, его еще и ненавидели.

Пробовал незадачливый барыга по возвращении в свой город из лагеря устроиться кем-нибудь вроде скупщика у населения утильсырья от какой-нибудь специальной конторы. Но, как оказалось, к тому времени его профессия почти перестала существовать. В основном из-за трудностей осуществления в этом деле принципа: «Социализм — это учет». Пусть лучше на девять десятых пропадают позарез нужные промышленности тряпье, бумажная макулатура и старая резина, чем на скупке этого утиля будут наживаться и строить себе дачи агенты по их сбору. Пришлось устроиться на работу в Гужтран, хотя возраст для ломового извозчика уже не тот.

Но потомственный торговец, бывший нэпман, да еще и уголовный преступник, в любом обличье является человеком нежелательным для общества, готовящегося к вступлению в эру социализма. Такие подлежали изъятию из этого общества. И неделю тому назад старик, которому было уже далеко за пятьдесят, расписался в объявлении ему срока, пережить который он уже имел мало шансов. Напрасно кое-кто из сокамерников пытался его утешить, что «литер СВЭ» — это еще ничего. Что если бы составителю списка, представленного на утверждение «тройки», пришло в голову отнести его к разряду СОЭ (социально опасных элементов), тогда бывший нэпман и барыга сидел бы сейчас в «спецкорпусе», о котором даже в тюрьме говорили понизив голос. «Социально вредный» отвечал тогда, что хрен, мол, редьки не слаще. Теперь, пробегая глазами все новые и новые письма из этого спецкорпуса, он уже понимал, что если «лучшее — враг хорошего», то плохое — враг худшего. Нет, видно у нас на Руси правды не будет.

Однако нужно было заняться порученным делом. Истопник выгреб из печки лежавшей возле нее кочергой золу и непрогоревшие дрова, наложил в топку кучку вскрытых и скомканных писем, поверх них щепок посуше и осторожно зажег свою единственную спичку. Затем он поднес ее к бумаге, которая вспыхнула охотно и весело. Через какие-нибудь десять минут от печки потянуло приятным сухим теплом. А еще через четверть часа она уже весело гудела, сделав менее неприятным промозглый от сырости каменный полусарай.

Старик подбрасывал в печку уже последние из разбросанных по полу писем, когда в руке у него оказался какой-то

вспученный и кособокий конвертик, изготовленный явно неумелыми руками. Таких конвертов тут было много, но этот обращал на себя внимание необычным материалом. Он был склеен из рыхлого ноздреватого картона, к тому же неодинакового по толщине. И подписан был не карандашом и не тюремной тушью, изготовленной из сажи, добытой сжиганием на спичке кусочка резины, а чем-то бурым. Присмотревшись внимательнее, старый арестант понял, что это кровь. Написанные ею буквы были наклонены в разные стороны, имели разную величину, а их линия была мучительно неровной и прерывистой. Нацарапавший их заключенный, по-видимому, не имел даже обгоревшей спички или щепки, которыми обычно пишут в камерах вместо пера. И пользовался скорее всего гибким травяным стебельком, вынутым из тюремного матраца.

Разгадал, куда более смекалистый и догадливый, чем казался с виду, старик и тайну материала конверта. Это был неровно расслоенный картон вкладыша козырька фуражки или кепки. Но, пожалуй, самым необычным в этом послании был его адрес. Письмо направлялось в местную областную прокуратуру, возможно, единственное из всей груды писем, уже догоравших в жарко полыхавшей печке.

Все это говорило бывалому арестанту о многом. Написавший письмо сидит, по-видимому, в одиночной камере. В самой маленькой «общей» камере нашлись бы, наверное, люди, умеющие делать тушь и тюремный клей. Разжеванный мякиш надо не прямо наносить на бумагу, а прежде продавливать его через тряпочку. Подсказали бы они, наверно, и безнадежность попытки жаловаться на действия местного управления НКВД в местную прокуратуру. Даже малограмотный дурак понимает, что сильнее этого управления тут никого нет и быть не может...

Интересно все-таки, что пишет прокурору этот важный, но наивный и явно неопытный арестованный? Что он важный — явствует из того, что содержится он изолированно от других, а что наивный и неопытный — из всего остального.

Истопник, отойдя в передний угол помещения, вскрыл конверт и достал из него сложенную вдвое и похожую на полумесяц полоску серого картона. На ней такими же буквами, как и на конверте, было выведено полукругом: «Прошу

представителя прокуратуры явиться ко мне в камеру для получения особо важных сообщений». Затем следовала фамилия — «Степняк И.С.» и его, так сказать, «обратный адрес» — камера № 83 в корпусе № 5, т. е. в «спецкорпусе».

Любопытно, кто этот Степняк, который хочет сообщить прокурору нечто столь уж важное? Может, это такая персона, что его знают в прокуратуре? Нетрудно сделать так, чтобы его заявление добралось до адресата. Вряд ли там ему дадут какой-нибудь ход, но пусть, по крайней мере, знают, что дело в нынешних тюрьмах дошло до того, что их заключенные пишут заявления собственной кровью! А что это кровь, поймет даже дурак, так как писавший записку очень сильно перепачкал ею свое послание. Должно быть, переусердствовал в расковыривании пальца где-то найденным гвоздем или осколком стекла.

Отослать найденное заявление можно будет уже завтра, если сегодня вечером попросить у дежурного по корпусу конверт, карандаш и бумагу. Бумагу припрятать, а в конверт вложить вот этот лоскуток. Адресованных в прокуратуру и другие инстанции писем в тюрьме не распечатывают. А если и распечатают, то найдут в конверте только письмо Степняка, неизвестно кем в него вложенное. Да и само это письмо формально не противозаконно. Словом, ни заключенный спецкорпуса, ни его добровольный посредник не рисковали ничем.

Надзиратель, надсмотрщик за заключенными-работягами, правда, обещал обыскать истопника в конце рабочего дня и грозил карцером за припрятывание писем. Но и писулька Степняка может полежать до вечера в трещине вот этого полена. А оттуда она перекачует за подкладку пиджака сокамерника бывшего барыги. Коридорные же надзиратели, если и ощупывают иногда вернувшихся с работы арестантов, то только на предмет поиска стекляшек и железок, о бумажках они и не думают.

На унылой физиономии старого арестанта, когда он засовывал полоску картона в глубокую щель полена, появилось почти по-мальчишески озорное выражение. Должен же он хоть раз оправдать свое одиозное звание человека, отнесенного к категории «социально вредных»!

В кабинет дежурного помощника начальника тюрьмы вошел молодой человек с портфелем и, поздоровавшись с хозяином кабинета, протянул ему служебное удостоверение. Судя по дате заполнения бланка этого документа, он был выдан всего месяц назад некоему Корневу Михаилу Алексеевичу в том, что он является прокурором местной областной прокуратуры. Причем прокурором по надзору за местами заключения. Посетитель был, очевидно, недавно назначен на эту должность взамен своего арестованного месяца три назад предшественника.

Помнатюра с любопытством переводил глаза с фотографии на удостоверение на лицо оригинала. Уж больно молод для своей должности этот парень! Вон, даже мальчишеские ямочки на щеках еще не исчезли. И становятся еще заметнее от того, что этот юнец надувает щеки от сознания своей важности. Удивляться, впрочем, не приходится. Теперь всюду идет такая перестановка, что подобные юнцы оказываются подчас чуть ли не в наркомовских креслах. И все-таки дежурный помощник вежливо привстал на своем стуле:

— Прошу садиться, товарищ прокурор! Слушаю вас...

Немолодой уже тюремщик с тремя белыми кружками в петлицах черной формы — в тюрьме их называли «парашами» — смотрел на посетителя, открывающего свой новенький, хотя и недорогой, портфель, с чуть насмешливым любопытством. В тюремных делах этот мальчишка ни черта, конечно, не понимает. Но, наверное, знает уже, что ему это практически и не нужно. В последние год-полтора должность прокурора по надзору стала почти номинальной. Дело такого прокурора — делать вид, что он глух и нем. Иначе он должен бы потребовать немедленного закрытия всех своих поднадзорных заведений уже просто за их несоответствие обязательным санитарным нормам. В одну только эту тюрьму набито сейчас более тридцати тысяч заключенных. Если бы в прокуратуре вздумали хотя бы просмотреть жалобы одних только здешних «бытовиков» на условия их содержания, то и тогда потребовался бы, наверное, не один десяток специальных прокуроров. Но там, конечно, понимают свое бессилие и только делают вид, что надзирают за местами заключения. Назначают, например,

на вакантные должности таких вот молокососов. Ничего бы не изменилось, если бы на это место посадили обезьяну или даже просто чучело с портфелем. Ведь все, что от нынешнего прокурора требуется, — это ничего не замечать и ни во что не вмешиваться. Вот работенка!

Ему бы такую на старости лет!

Конечно, представители прокуратуры иногда посещают тюрьму и теперь. Но только тогда, когда их вызывает сама администрация этой тюрьмы. Обычно для того, чтобы составить протокол об очередном убийстве или самоубийстве. Вот и сейчас в здешнем морге прихода прокурора ожидают два трупа. Один из спецкорпуса. Поднятым где-то осколком стекла какой-то бывший военный перерезал себе вены на руках. Другой — из корпуса мелкой уголовной шпаны. Сокамерники сделали ему ночью «темную», удушили сеной подушкой. Должно быть, заподозрили в стукачестве. Но такие дела не относятся к компетенции прокуратуры по надзору даже формально. Этот парень явился сюда, наверное, просто чтобы представиться начальнику тюрьмы и его заместителям. А для пущей важности придумал для своего посещения какой-нибудь предлог. Теперь вот делает вид, что ищет какую-то запись в своем новеньком блокноте, хотя все, конечно, помнит и так...

Посетитель, действительно, отлично помнил, зачем он сюда явился. Но рылся в портфеле и перелистывал толстый блокнот он не для пущей важности, как думал хозяин кабинета, а чтобы скрыть свое смущение. Причины же для такого смущения были весьма существенные. В качестве должностного лица, да еще состоящего на такой строгой и важной должности, Корнев выступал впервые в своей жизни. В настоящей, большой, мрачной даже по своему внешнему виду тюрьме он тоже был впервые. Весьма серьезной была и причина, побудившая его явиться сюда вопреки тому, что называется «здравым смыслом». Все это заставляло внутренне волноваться, хотя представитель Закона должен быть неизменно холоден и строг. Была еще одна причина для смущения, которую Корнев старался скрыть особенно тщательно. Этой причиной была его молодость, усиливающая и без того невыгодное для представителя Власти впечатление от его молодости. Из-за

нее молодому прокурору не давали даже его неполных двадцати пяти лет. Не помогали ни жиденькие усики, которые, впрочем, упорно отказывались расти как следует, ни постоянное соблюдение на лице строгого и серьезного выражения. Улыбка Корневу была буквально противопоказана. Стоило только ему улыбнуться, как на его неприлично толстых щеках проступали какие-то полудетские ямочки. Впрочем, они и так уподоблялись некоему шилу в мешке, утаить которое было решительно невозможно. Сейчас, например, прокурору было совсем не до улыбки. И все-таки пожилой тюремщик, сидящий напротив, смотрит на него с тем выражением, с которым обычно спрашивают: «Эй, малый, а сколько тебе годов?» Есть же на свете счастливицы, которым уже сорок, а то и все пятьдесят лет!

Отвлекающая возня с портфелем и блокнотом помогла, наконец, Корневу настроиться на сдержанно холодный тон, обязательный при строго официальных отношениях. Такой тон был тем более обязательным, что молодой прокурор уже знал — его требование к тюремной администрации, хотя оно было совершенно законно, произведет на ее представителя ошеломляющее впечатление. Правда, это предвидение было им сделано, так сказать, теоретически, на основе изучения дел в прокуратуре, на ответственную должность в которой он попал буквально со школьной скамьи. Корнев по-настоящему ни разу не предъявлял своих прокурорских прав.

— У вас содержится, — сказал он, делая вид, что читает по записи в блокноте, — арестованный Степняк Иван Степанович. От него в прокуратуру поступило заявление о вызове ее представителя...

Дежурный с трудом скрыл удивление. Мальчишка-прокурор, оказывается, по-мальчишески же и наивен! Да похоже еще и просто глуп. Не мог придумать менее кляузного повода для посещения тюрьмы. Неужели за месяц службы в своей прокуратуре он не понял, что если будет являться на все вызовы жалующихся на несправедливость арестованных, то ему жизни не хватит! Но конечно, ничего этого начальник тюрьмы прокурору не сказал.

— В настоящее время у нас в списочном составе десятки тысяч заключенных. Вы знаете номера корпуса и камеры, в которой содержится этот...

– Степняк. Корпус номер пять, камера – восемьдесят третья. – Дежурный откинулся на спинку стула, забыв, видимо, что ему не следовало бы выдавать своего изумления – Спецкорпус? Вы получили заявление из спецкорпуса?

– Да, а что?

В глазах посетителя хозяину кабинета почудилось что-то похожее на вызывающую усмешку. Он спохватился:

– Да нет, ничего... – Выручил зазвонивший на столе телефон. – Извините...

Дежурный обрадовано схватил трубку. Он говорил с кем-то из подчиненных о каких-то своих тюремных делах, а сам в это время лихорадочно обдумывал сложное положение, в которое его поставил этот не то дурак, не то провокатор. Конечно, по существующему положению прокурор по надзору за тюрьмами вправе посещать все их закоулки. Но даже во времена, когда нагрузка тюрем и состав заключенных носят обычный характер, здравомыслящие люди на этой должности знают предел их фактических полномочий, дальше которых они не идут. И не ломаются в отделения, где содержатся государственные преступники. Да и как этот парень с портфелем узнал, где находится один из таких преступников, недавно порученный попечению Центральной? Может, он и в самом деле провокатор, подосланный сюда областным управлением НКВД, чтобы посмотреть, как сумеют выйти из создавшегося щекотливого положения главные начальственные лица этой тюрьмы?

По счастью, дежурный помощник вправе заявить, что он здесь не самый главный начальник и не имеет полномочий решать такие вопросы, как пропуск к подследственному, числящемуся за областным управлением НКВД, кого бы то ни было. Пусть товарищ прокурор обратится к самому начальнику тюрьмы, сказал помначтюр, положив наконец трубку. Майор запретил своим помощникам принимать без него ответственные решения. Очень жаль, но представителю прокуратуры придется либо посетить тюрьму еще раз, либо подождать возвращения начтюра, которого вызвал к себе начальник областного управления...

– А это долго?

Дежурный пожал плечами:

— В управлении сейчас часто происходят совещания по делам, связанным с местами заключения. И тогда не исключено, что долго...

— Все равно, я подожду, — заявил посетитель с появившимся на лице выражением мальчишеского упрямства. — Позвольте мне подождать здесь?

Хозяин кабинета постарался сделать любезную мину:

— Да, конечно... — тем более что сам он должен отлучиться в один из корпусов. Все они сейчас перегружены, и дел невпроворот. Извинившись, что оставляет гостя одного, дежурный вышел из комнаты. Тот посмотрел вслед ему настороженным понимающим взглядом: пошел, небось, оповестить по телефону своего начальника о прибытии неожиданного и нежелательного посетителя! Жаль, что застать начтюра врасплох прокурору уже не удастся. Но его решение осуществить сегодня свои права остается неизменным. Хотя и стоит ему немалого волевого усилия.

Прошло всего полтора месяца с тех пор, как Корнев закончил Юридический институт и прямо со студенческой скамьи попал на свою нынешнюю должность. Подобным прыжкам в те тревожные годы никто особенно не удивлялся. Это было время сокрушительных падений и головокружительных карьер. Вчерашние студенты, минуя длинную и скучную иерархическую лестницу, становились главными инженерами и главными конструкторами крупных предприятий, главными специалистами проектных институтов, иногда едва ли не действительными членами ученых академий. А почему бы и нет, если вчерашний командир роты сегодня командовал полком, комсомольский организатор при небольшом предприятии назначался секретарем горкома партии, а поднаторевший только на верноподданнических выкриках секретарь парткома завода — его директором. Мутная волна ежовщины топила множество людей, но такое же множество она и возносила на своем грязном гребне. В особенно выгодном положении оказывались молодые специалисты, когда требовалось очередное замещение должности, на которой был необходим формальный образовательный ценз. Выгодно, конечно,

только с точки зрения карьеры. Многим, правда, эта карьера пошла затем во вред, вместо специалистов из них получились чиновники. Для других она обернулась скатыванием в ту же яму, где уже находились их предшественники. В чехарде непрерывных смещений просто выталкивание вон неудачно назначенных на высокую должность почти не практиковалось. Его заменяло сталкивание их в пропасть.

Корнев тоже принадлежал к числу выпускников Юридического, к тем, кто неожиданно для себя взмыл на волне арестов. Он вовсе не хотел этого, хотя в свой институт поступил не потому, что не было другого выбора, как для большинства его товарищей по этому институту, а с осознанным намерением стать юристом. Уважение и стремление к этой профессии внушила Корневу его мать, потомственная интеллигентка-идеалистка старой школы. В свое время, закончив женские учительские курсы, она уехала сеять «разумное, доброе, вечное» в глухую сибирскую деревню. Здесь учительница местной школы-четырёхлетки вышла замуж на ссыльного Корнева. Это был молодой адвокат, угодивший в Сибирь за укрывательство нелегальной эсэровской литературы. Сама учительница была тоже дочерью адвоката, старого чудака, шокировавшего своих коллег слишком уж резким подчеркиванием, что все граждане России, которым посчастливилось в этой стране получить хоть какое-нибудь образование, являются неоплатными должниками перед ее народом. Сам он в меру сил пытался возместить этот долг, безвозмездно или за гроши защищая в судах неимущих клиентов. Поэтому, когда старик умер, полученного его дочерью наследства едва хватило, чтобы дотянуть до окончания курсов. Зато богатым было наследство нематериальное, заключавшееся в грузе почти народнических представлений о роли русской интеллигенции. Вот эти представления да еще очень неплохое собрание книг по юридическим, философским и историческим наукам и захватила с собой молодая идеалистка, отправляясь в далекую, тогда пугавшую всех Сибирь. Остановить ее было некому, матери уже не было в живых. Хотя вряд ли даже матери удалось бы ее удержать. Рационалистов можно отговорить от их начинаний достаточно сильными контрдоводами против этого начинания. Идея же гражданского долга, верная или

ошибочная, материалистическая или идеалистическая в своей философской основе, логической контраргументации неподвластна. Она — дело чувства, хотя это чувство тоже почти всегда пытается подвести под себя некую основу теории.

Административно ссыльный и отправившаяся почти в такую же ссылку добровольно девушка полюбили друг друга и вскоре поженились. Но с ее стороны это опять явилось актом самоотречения: муж учительницы был болен чахоткой. Мише исполнилось всего четыре года, когда его отец умер. Тогда шла Первая мировая война. Потом началась революция, за которой последовала гражданская война. Мать Корнева, воспринявшая и унаследовавшая неопределенно гуманистические идеи отца и далеко не марксистские взгляды мужа, оказалась, как и большинство представителей русской интеллигенции того времени, между Сциллой большевизма и Харибдой белогвардейщины. Миша помнил, как ее арестовывали и попеременно грозили расстрелять то колчаковцы, ругавшие учительницу «красной стервой», то чекисты, откровенно не доверявшие «гнилой интеллигентке». Наконец все это кончилось. Наступили годы относительного затишья, Новой экономической политики и периода Реконструкции.

Сначала Миша учился в той же школе, в которой продолжала работать его мать. Затем, чтобы продолжить его образование, пришлось перебраться в небольшой сибирский городок. Здесь на основе старинной гимназии была открыта школа-десятилетка. Но время, особенно если отсчитывать годы по тому, как растут дети, бежит удивительно быстро. Позади у Миши осталось десять классов средней школы. Он закончил ее отлично. Рос начитанным и вдумчивым парнем. Был членом ВЛКСМ.

Однако типичным комсомольцем тридцатых годов Корнев не стал из-за своей повышенной по сравнению с общим уровнем интеллигентности. Сказывалось происхождение и материнское воспитание. Он тоже, конечно, верил в неизбежность наступления эры коммунизма почти так же свято, как последователь христианского учения в неизбежность второго пришествия Христа, и считал справедливым любое мероприятие по ускорению прихода коммунизма, часто вступая в спор с матерью по вопросу о границах и масштабах

социального насилия, допустимого при революционном преобразовании общества. Следуя взглядам покойных отца и мужа, она не могла согласиться с политической практикой большевистского правительства в отношении к собственному народу. Так ли уж необходима ради отдаленного и весьма неопределенного будущего эта жесткая ломка жизни целого народа, целой страны?

Насильственная коллективизация крестьянских хозяйств и непосильные темпы индустриализации ввергли народ в голод и нищету, которым не видно конца. Сын возражал «маловерке» расхожей фразой о том, что социализм в белых перчатках нельзя построить. Что для преодоления технической отсталости и создания в кратчайший срок обороноспособности социалистического государства необходимо идти на жертвы.

Старая народница сердилась. Кто говорит о перчатках? Бывает неизбежна даже кровь на руках. Но только тогда, когда дело идет о преодолении активного сопротивления революции. Большевики же кладут на прокрустово ложе своей железной политики трудовое крестьянство, лишая его права распоряжаться собой и продуктами своего труда. Они загоняют палками целый народ в какой-то казарменный политический социализм! Теперь сердился уже сторонник генеральной линии партии. Его мать все еще оставалась в плену воззрений русской интеллигенции начала века. Следуя этим воззрениям, надлежало бы и хирургию запретить как «негуманный» раздел медицины. Пусть их развивается гангрена или раковая опухоль, только бы не взять в руки нож! Мать кричала, что большевики всегда отличались способностью передергивать аргументацию своих противников и что они действуют не как хирурги, спасающие больного, а как вивисекторы, подобные доктору Моро из фантастического рассказа Уэллса. Этот маньяк, как известно, пытался перешагнуть через естественный ход эволюции живых существ, посредством жестоких операций, придавая им человекообразный вид, а еще более жестоких законов, навязывая им человеческую психику. Но причиняя своим подопытным невероятные страдания, он ничего не добился. Споры эти, как и всегда в таких случаях, не переубедили ни ту ни другую сторону, и каждый остался при своем мнении.

Однако в том, что не касалось прямо политических убеждений сына, мать оказывала на него огромное влияние. Она привила ему некий кодекс представлений об обязанностях в обществе подлинного гражданина. Независимо от политической или религиозной веры, которую он исповедует, этот гражданин обязан быть абсолютно нетерпимым ко всем и всяческим проявлениям социальной неправды и несправедливости. Такими были дед и отец Миши, и как было бы хорошо, если бы и он пошел по их стопам, сделался бы юристом! Эта профессия, как и все другие гуманитарные профессии, теперь не в моде. Все хотят стать инженерами. Но педагог или философ, организуя и формируя общественное сознание, совершает не меньшую, а наверное, большую работу, чем технический специалист, проектирующий производственные предприятия или конструирующий машины. Юстиция же, утверждал старый правовед, требует от посвятившего ей себя человека не только специальных знаний, но и ряда смежных, таких как психология, например. Юрист обязан быть сведущим в истории, философии, классической литературе. Но ему мало быть просто эрудированным специалистом. Настоящий поборник законности должен обладать еще и мужественным и честным характером.

Убежденные слова матери сделали свое дело. Незаметно для себя сын уверовал в свое призвание юриста. Его решению посвятить себя служению Правде немало содействовало также чтение книг из библиотеки деда. Многие из этих старых книг отождествляли понятия Правды и Закона. Тем более, считал молодой комсомолец, это должно быть верно для понятий революционной справедливости и социалистического закона. Читал он французских просветителей восемнадцатого века и классиков немецкой философии, русских писателей. Понимал, конечно, не все. Но немалая начитанность наложила на него отпечаток, из-за которого сверстники прозвали его полупочтительным-полупрезрительным прозвищем «интеллигент». Десятилетку он уже окончил с отличием и служил в одном из мелких учреждений городка, что было неинтересно и бесперспективно. Чтобы продолжить образование, отсюда надо было уезжать. Это было тем более необходимо, что матери Корнева врачи настоятельно рекомендовали сменить

климат. Жизнь с больным туберкулезом мужем не прошла для нее даром. В легких стареющей женщины все быстрее развивался давно тлевший в них процесс. Вместе с сыном она решила переехать на родину, в большой южный город. Здесь на городском кладбище затерялись где-то могилы ее родителей. А главное, тут находился старый университет, который закончил в свое время дед Миши.

Переезд удалось осуществить без особого труда. Закон о прикреплении рабочих и служащих к месту их работы издан еще не был. Не было еще и больших ограничений по части прописки. Работа для старой учительницы, конечно, нашлась. Ей с сыном предоставили даже комнату при окраинной школе-семилетке.

А вот университета в прежнем понимании слова тут больше не было. В годы организации здешней республики ее руководители сочли, по-видимому, что от самого названия «университет» отдает чем-то непролетарским. К тому же как учебное заведение он трудно управляем по причине разношерстности даваемых им специальностей. И бывший университет разукрупнили, превратив в целый ряд узкоспециальных институтов. Таким образом возник из его прежнего юридического факультета и нынешний Юридический институт, что, конечно, ничего по существу не меняло.

Поступить в те годы в этот институт даже представителю социальной категории «служащие и их дети» было не так уж трудно. Правда, потерпев крушение при попытке поступления в технические, сельскохозяйственные и медицинские вузы — были уже такие, которые пробовали свои силы во всех этих направлениях, — многие из привилегированных сословий рабочих и крестьян направлялись в непопулярный тогда Юридический. Но Корнев сдал почти все экзамены на «отлично» и оказался первым среди поступавших. На решение приемной комиссии оказала, возможно, некоторое влияние справка, предусмотрительно добытая матерью Корнева. Эта справка гласила, что его отец умер в царской ссылке. В пользу приема говорило и членство потомственного интеллигента в комсомольской организации.

С первого и до последнего курса студент Корнев был на отличном счету у преподавателей, за что и прослыл среди

сокурсников неисправимым «академистом». Это была едва ли не ругательная кличка, особенно во времена «дальтон-планов»¹ и «бригадных методов» обучения. Правда, эти революционные нововведения в учебной практике высших учебных заведений еще сохранились только в первый год учебы Корнева.

Его «академизм» выражался в неподдельном интересе интеллигентного парня даже к таким занудным и явно ненужным в практической работе предметам, как римское право или основы формальной логики. Особенно презирали эти предметы и всех, кто проявлял к ним непонятный интерес, те из сокурсников Корнева, кто считал свою учебу в Юридическом крупной жизненной неудачей. Вместо почетного участия в деле создания материальной базы социализма — что было бы в случае, если бы они были приняты в Политехнический, — будущим юристам предстояла унылая служба в суде или прокуратуре, постоянное общение со всякого рода жульем и подонками или совсем уж сомнительная с точки зрения настоящего пролетарского студента деятельность члена какой-нибудь адвокатской коллегии. Были среди студентов Юридического и такие, которые почти не делали секрета из того, что работать по приобретаемой сейчас специальности они не собираются. Институтский диплом они были намерены использовать только как «поплавок» в карьере административного или торгового работника. Тем более что в этих областях деятельности нелишне иметь и некоторые юридические познания.

С подобными циниками Корнев вступал иногда в яростные споры. Эти люди хотели дезертировать с чрезвычайно важной для Советского государства стройки здания социалистической законности. А оно, это здание, незыблемое и совершенное, становится все более нужным. Соппротивление социалистическому строительству класса чуждых элементов нарастает и непрерывно будет нарастать по мере успехов этого строительства. Наглядным подтверждением верности этого закона, открытого Сталиным, служит непрерывное выявление органами государственной безопасности все новых и новых

¹ Дальтон-план — см. примечание на с. 115.

тайных контрреволюционеров и их организаций. Враги не складывают оружия и действуют из-за угла методами скрытого вредительства, диверсий, шпионажа. Огромное количество нарушений советской законности совершают также люди, объективно не враждебные строительству социализма, но еще не усвоившие этических принципов нового общества. В этих условиях социалистическому государству становится все более необходимой армия высокообразованных и принципиальных юристов. Еще Ленин, сам юрист по образованию, учил, что победа в борьбе с преступностью и внутренней контрреволюцией, если она достигнута при недостаточно строгом соблюдении законности, может обернуться, в конечном счете, поражением. Об опасности пренебрежения правовыми нормами в социалистическом государстве будущего предупреждал еще Маркс... «Академист» Корнев вовсе не был просто пятерочником, таким студентом-паинькой, автоматически проглатывающим преподносимую ему премудрость. Он старался глубоко осмыслить эту премудрость, штудирова произведения классиков марксизма, изучая текущую политику, чуть не на память заучивая многие статьи и речи Ленина и Сталина. Однако сухим ортодоксом-начетчиком Корнев не стал. Скорее он был чуть фанатичным верующим, воодушевленным высокими представлениями о долге будущего юриста, внушенными ему его матерью. Теперь уже покойной. Старая учительница умерла, когда ее сын только перешел на третий курс.

Величайшее в своей жизни горе Корнев переживал тяжело, но стойко. В этом молодом человеке с несколько инфантильной внешностью жил Дон-Кихот по натуре, жаждущий не просто деятельности, а почти подвижничества. Мысль о жизненном благополучии, женитьбе, уюте почти никогда не приходила ему в голову. Содействовало этому и полное одиночество Корнева. У его покойной матери не было ни братьев, ни сестер. Отец же был родом из совсем другого края. Если какие-нибудь дальние родственники и остались, то они безнадежно затерялись или погибли в хаосе двух войн, революции, эпидемий и голодовок. Миша, впрочем, несколько ими не интересовался. Его вера в особое назначение советского

юриста возросла еще больше с торжественного общеинститутского собрания по поводу столетнего юбилея Юридического института. Точнее бывшего университета с его обязательным для прошлых времен юридическим факультетом. На этом собрании выступал с речью почетный гость института, член обкома партии Степняк. Его речь подкупала своей простотой, искренностью и неподдельной народностью. «Так вот, хлопцы и девчата! — сказал Степняк, обращаясь к будущим юристам, — хлеб, который вы едите сейчас, народ, у которого этого хлеба ой как негусто, дает вам в надежде, что вы его честно отработаете своей будущей службой. И не только как знающие законники, но и как люди, преданные делу строительства социализма. А для этого недостаточно быть просто исполнительным чиновником. Надо быть еще человеком, готовым постоять за социалистическую законность, даже если это потребует от него немалой смелости и отказа от собственного благополучия». То, что говорил бывший батрак, впоследствии знаменитый красный партизан, один из главных организаторов партизанского движения в тылу у Деникина, почти дословно совпадало с тем, что проповедовал, по свидетельству его дочери, дед Корнева. Только размытое понятие «правда-справедливость» было теперь заменено словами «социалистическая законность».

А предсказанная гениальным Сталиным классовая борьба в СССР все более разгоралась. В Москве прошли процессы главных партийных фракционеров, «скатившихся в болото», как выражались газетные передовые, прямой контрреволюции. Закончился закрытый суд Военной коллегии Верховного Суда над изменниками из главного штаба Красной Армии во главе с маршалом Тухачевским. Эти процессы ознаменовали начало новой, самой сокрушительной волны арестов за всю историю Советского государства, прокатившейся по всей стране. Задела эта волна и институт, в котором учился Корнев. Органами НКВД был арестован ректор этого института, несколько профессоров и преподавателей и довольно большая группа студентов, преимущественно старшекурсников. На первом партийном собрании, а Корнев был уже принят в кандидаты партии, специально явившийся на это собрание представитель местных органов НКВД сообщил присутствующим

о главной контрреволюционной цели арестованной группировки. Этой целью оказалось тайное вредительство в области Права. Организация юристов-вредителей носила разветвленный всесоюзный характер и возглавлялась самим наркомом Юстиции — теперь, конечно, бывшим — Крыленко. Это был тот самый «прапорщик Крыленко», который в первые дни только что возникшей советской власти был самим Лениным назначен главкомом ее вооруженных сил. Но теперь он тоже скатился в болото контрреволюционной оппозиции и возглавил тайную организацию реакционных юристов. Их главной целью был срыв внедрения в практику следовательских советских органов положений новой юридической школы, возглавляемой генеральным прокурором СССР профессором Вышинским.

В Юридическом эти положения изучались старшекурсниками на специальных семинарах. На них разбирались также выступления Вышинского в качестве государственного обвинителя на процессах против главных руководителей внутренней контрреволюции. Его речи не только печатались в судебных отчетах по этим процессам, но и были изданы отдельным сборником.

В своих гневных филиппиках верховный прокурор Союза был беспощаден по отношению к подлым врагам советского государства и народа. Он почти неизменно требовал для них одной меры наказания — высшей. И, по-видимому, никогда не сомневался, что это требование будет судом принято. Так, заканчивая свое выступление на процессе бывших вождей правой оппозиции Бухарина, Рыкова, Чернова и других, государственный обвинитель сказал: «Их могилы порастут бурьяном и чертополохом. А мы, строители коммунизма, под знаменем Ленина, под предводительством Сталина будем продолжать свой путь в наше светлое будущее». Речи генерального прокурора, великого юриста и блестящего оратора, считались тогда непревзойденным образцом судебного красноречия и революционного пафоса.

Миша Корнев был человеком по натуре очень мягким. Но избранная им профессия обязывала его исходить в своих суждениях не из чувства сострадания к преступникам, а из интересов революционной борьбы. Поэтому он считал

правомерными не только юридически, но и морально, самые суровые приговоры, выносимые советским судом врагам генеральной линии партии.

Как это нередко бывает у людей с открытым и прямодушным характером, ближайшим приятелем Корнева был его однокурсник Андрей Юровский — человек с совершенно иным, чем у него, складом ума и характера. Если Михаил, при всей своей вдумчивости был склонен поддаваться чужим влияниям и его убеждения являлись, так сказать, равнодействующей этих влияний, то Андрей относился даже к признанным авторитетам и к общепринятым мнениям с хмурым недоверием и скептицизмом. Если пользоваться современной классификацией типов человеческой психики по ее отношению к мнению большинства, то один из друзей был почти «конформистом», а другой — явно выраженным «антиконформистом». Юровский упрекал Корнева в стадности его чувств и политических верований. Того шокировал нигилизм приятеля, его способность поворачивать оборотной стороной самые блестящие идеи и медали всех лозунгов и деклараций. Друзья часто и до хрипоты спорили по вопросам текущей политики, философии, этики и многого другого, неизменно оставаясь каждый при своем мнении. Нередко они ссорились и неделями не разговаривали друг с другом, чтобы снова в какой-нибудь глухой аллея университетского сада или запершись в квартире у Корнева, снова сцепиться в незаконченном споре. Велись у них эти споры и вокруг недавно принятой Советским Союзом Конституции, сразу получившей название «Сталинской». По случаю этого принятия, объявленного всенародным праздником, в Юридическом, как и повсюду, состоялся торжественный митинг. Кого-кого, а уж советских юристов новый «Основной Закон» Союза ССР касался самым непосредственным образом, так как безмерно усиливал их права и повышал их роль в отправлении правосудия. Взять хотя бы то его положение, согласно которому ни один советский гражданин не может быть лишен свободы без санкции прокурора.

Корнева новая Конституция восхищала и радовала, Юровский же по ее поводу особого восторга не проявлял. В условиях авторитарного правления и отсутствия в стране организованной открытой оппозиции любая конституция

остается не более чем красивой декларацией. Никто не может быть арестован без санкции прокурора — гласит Новый Основной Закон. Но следствие и суд по политическим делам ведутся тайно. Никто не знает, в какой мере при их проведении соблюдается законность и соблюдается ли она вообще? Если судить по общему впечатлению от того, что совершается сейчас в стране, то вряд ли. Подавляющее большинство арестованных НКВД людей просто исчезает бесследно, и часто даже ближайшие их родственники, жены, матери, отцы не могут их разыскать. Не замечают этого только такие как Корнев, которые глядя, не хотят видеть. И уж подавно, никто из схваченных «органами» не возвращается домой. Откуда у действий этих органов, при их нынешней массовости, такая сверхъестественная безошибочность? Юровский и Корнев хорошо знали большинство арестованных по их институту, особенно из числа студентов. Взять хотя бы бывшего парторга их курса. Он был родом из того же маленького городка, что и Юровский. Знакомы они были с детства. Честнейший парень, с юных лет находившийся на руководящей комсомольской работе, в двадцать лет уже принятый в Партию, до глупости, как и Корнев, преданный идее мировой революции. Представить его в качестве тайного «врага народа» Юровский попросту не мог. А вот поди ж ты, тоже канул в какое-то таинственное небытие...

Михаил пытался объяснить сомневающемуся, что секретность, которой действительно окружено сейчас ведение большей части дел против контрреволюционных организаций, диктуется, несомненно, тактической необходимостью. Также несомненно, что эта необходимость носит временный характер, тогда как советская Конституция писана на многие десятилетия, а может быть, и на века. О том же, насколько соблюдается законность в делах против политических преступников, можно судить по открытым процессам против них. На эти процессы допускается не только публика, но и представители прессы, в том числе иностранной. Разве Андрей не читал газетных отчетов о судебных заседаниях, в которых печатаются речи государственных обвинителей, защитников и самих подсудимых? Эти отчеты иллюстрируются многочисленными фотографиями, на которых всякий может узнать лица, давно

известные ему по портретам бывших крупнейших государственных деятелей СССР, а ныне врагов народа... Но что касается способности нынешних тайных контрреволюционеров маскироваться под преданных советской власти людей, то сам Сталин учит, что она доведена у них почти до неправдоподобной степени. Великий вождь зря слов бросать не будет, за ним громадный опыт революционной борьбы. А главное, думал ли Андрей над таким вопросом — если репрессии против тех, кто объявлен сейчас врагом народа, несправедливы, то зачем эти репрессии? Ведь теряя людей, государство теряет то, что тот же Сталин назвал самым ценным и нужным для этого государства, его кадры. Скептик вздыхал, крутил упрямой лобастой головой. Все это он знал и понимал сам. И все же в стране творится «шось нэ тэе...». Не слишком ли гладко протекают те же открытые процессы, на которые ссылается правоверный ортодокс Мишка? Почему подсудимые на них неизменно каются, признавая не только свою виновность в совершении преступлений, но и ошибочность политических взглядов, которые они до этого исповедовали? Так вели себя иногда обвиняемые в ереси на судах святейшей инквизиции. Но, во-первых, это было скорее исключением, чем правилом. А во-вторых, там платой за отступничество служила замена костра виселицей, а иногда даже пожизненным заточением, как это было в деле Галилея, например. Теперь же раскаявшихся политических еретиков все равно расстреливают. Зачем же им всенародно унижаться, терять свое лицо «мучеников за веру»? Но ведь за спиной подсудимых не стоит заплечных дел мастер, возразил Михаил. Они вольны говорить на суде то, что находят нужным... Так-то оно так, тер лоб его постоянный оппонент, и все-таки что-то тут «нэ тэе...».

Фоме Неверующему в стране традиционного и отнюдь не «просвещенного» абсолютизма, не важно, как этот абсолютизм называется, самодержавием ли, или диктатурой пролетариата, жить не только трудно, но и опасно. Перед концом семестра в студенческое общежитие, в котором жил Юровский, из ближайшего отделения милиции поступила повестка. Он вызывался в это отделение в качестве свидетеля по какому-то мелкому делу, и сам вызываемый и его товарищи по комнате не сомневались, что речь идет о краже из

этой комнаты старого пальто, случившейся еще осенью. Но из милиции Юровский не вернулся ни в тот, ни на следующий день, хотя и среди задержанных его не оказалось. Начальник отделения сказал, что гражданина Юровского он к себе действительно вызывал, но, побеседовав с ним, отпустил.

Сначала по общежитию, а затем и по институту пополз слух, что слишком смелый в своих суждениях студент арестован «за язык». Кто-то на него, видимо, донес. Если свободомыслие и всегда-то было на Руси значительно опаснее воровства, то теперь оно граничило почти с самоубийством.

Арест друга произвел на Михаила удручающее впечатление. Неспособный скрывать мучающие его сомнения, на роль тайного врага этот человек органически не был пригоден. Значит, арестовали его действительно только за высказываемый им иногда в тесном кругу политический скептицизм. Положим, что особенности момента требуют, чтобы пресекались даже такие разговоры. Но почему к невинным болтунам, как называли теперь людей типа Юровского, хотя менее всего они были болтунами, применяются те же приемы репрессий, что и к заматерелым контрреволюционерам? Андрей так же канул в небытие, как, например, бывший ректор Юридического, старый крыленковец. Впервые в сознании Михаила шевельнулось сомнение, а все ли в порядке в Датском королевстве?

Но жизнь оставалась жизнью и не оставляла особенно много времени для размышлений. Сорванный из-за арестов среди профессорско-преподавательского состава учебный план предвыпускного семестра был пересмотрен; после укороченных каникул занятия продолжились осенью. На осень же были перенесены выпускные экзамены, хотя дипломированные юристы были нужны теперь как никогда прежде. Оказавшийся в громадной своей части и сверху донизу «крыленковским» по духу, аппарат советской юстиции сильно пострадал от бесчисленных арестов и весь зиял дырами вакансий. Срочное замещение вакантных должностей было особенно необходимо в связи с введением в действие новой Конституции, требующей дальнейшего усиления законности.

Большинству выпускников Юридического это сулило быструю и легкую карьеру. Многие из тех, кто прежде соби­рался быть юристом только по названию, теперь пересма­тривали свои позиции. Как всегда перед выпуском, в среде заканчивающих институт шла глухая возня. Множество от­крытых вакансий в самом городе не оставляли сомнений, что в нем можно неплохо устроиться, если постараться не попасть по вузовской разрядке на периферию. Горожане добывали справки, что старики родители не могут здесь без них оста­ваться, иногородние срочно женились на горожанках. Корнев от всей этой возни находился далеко в стороне. Он тоже пред­почел бы остаться в городе, поближе к своей «альма-матер». Более того, у него было немало шансов быть оставленным при одной из институтских кафедр для прохождения аспирантско­го курса по теории советского уголовного права. Была у него тут, хотя и отдаленная от городского центра, жилплощадь, яв­ляющаяся почти неразрешимой проблемой для большинства его сокурсников-иногородних. Однако Корнев не делал ни­каких попыток как-нибудь повлиять на решение комиссии по распределению молодых специалистов. Он считал, что долг студента советского вуза, да еще члена партии и комсомола, обязывает его подчиниться любому из этих решений.

Традиционный вечер по случаю очередного выпу­ска новоиспеченных юристов проходил в этом году в особо праздничной обстановке. Ведь он почти совпал с вступле­нием в силу новой Советской Конституции, поднимавшей роль юстиции в СССР на невиданную прежде высоту. Это особо подчеркивал в своей речи выступивший первым на торжественном собрании выпускников ректор института. Им выпало великое счастье, сказал он, начинать свою прак­тическую деятельность в качестве законодателей социали­стического государства как раз тогда, когда над ним взошло солнце Сталинской Конституции. Отныне законность ста­новится одним из основных руководящих принципов всей жизни этого государства. Карающий меч советского право­судия неизбежно обрушится на головы тех, кто так или иначе посягает на революционные завоевания, но ни один волос не должен упасть с головы невинного. В этом главный смысл нового Основного Закона, созданного по инициативе

и под руководством великого Сталина и воплотившего в себе высшие идеалы классиков марксизма о революционной Справедливости...

— Да здравствует вождь и учитель мирового пролетариата товарищ Сталин! — зычно крикнул кто-то из сидевших в зале. Поднявшись со своих мест, все долго аплодировали портрету генерального секретаря, висевшему над столом президиума.

Когда овации стихли, оратор продолжал:

— Строго справедливое определение меры наказания виновному и защита невинного — вот священный долг тех из выпускников Юридического, кто уже завтра, быть может, станет официальным блюстителем советского Закона. Поэтому по новой Конституции в вопросе о лишении граждан свободы Советская прокуратура ставится выше даже самой высокой исполнительной власти. Необходимость прокурорской санкции на арест обуславливает проведение в отношении заподозренного в преступлении квалифицированного дознания и тем гарантирует от произвола и возможных ошибок. Но большие права предполагают и большие обязанности. Ответственным осознанием этих своих прав и обязанностей и должен руководствоваться советский юрист в своей повседневной деятельности.

Нынешний руководитель Юридического не был юристом по образованию. На должность ректора он «прыгнул» из почти рядовых, но политически весьма активных, научных сотрудников института марксизма-ленинизма. В специальных юридических вопросах новый ректор вряд ли разбирался, но натасканность в общих положениях марксистской философии, знание партийных догм и политическое чутье позволяли ему правильно и быстро схватывать все, что касалось декларативной стороны любого вопроса. Умел профессиональный марксист также бойко и в то же время обтекаемо делать то, что впоследствии получило наименование «ЦУ» — ценных указаний. Но особенно хорошо он умел выступать с трибуны. Под гром аплодисментов опытный оратор сошел с нее и сейчас. Одним из хлопавших ему особенно громко был Корнев. Ректор говорил именно то, во что он очень хотел верить, но мог верить уже не всегда. Со времени ареста приятеля червячок сомнения, поселившийся в его мозгу, просыпался все чаще.

Вторым на кафедре Большой аудитории, в которой проводилось собрание, взошел «дед». Так за его почтенный возраст, а еще более за пышную седую бороду, прозвали в институте старого профессора правоведения. Дед был неизменным участником едва ли не всех торжественных заседаний и собраний, проводившихся в Юридическом. Постепенно это стало чуть ли не главной его обязанностью. С тех пор как стало модным не чураться всего старого, а признавать свою связь с ним, когда это старое было прогрессивным для своего времени, Дед как бы символизировал своей персоной преемственность советской правовой науки от либеральной юриспруденции прошлого. Либералом же приват-доцент императорского университета числился в свое время за то, что выступал иногда с защитительными речами на процессах политических обвиняемых. В те времена он считался одним из самых красноречивых адвокатов города. От них-то у Деда и сохранились старомодные речевые обороты и еще более старомодная латынь, которой он украшал свою речь даже тогда, когда дело шло о ремонте полов и покраске стен помещений его кафедры. Всерьез выступлений старика уже не принимали, но их архаический стиль многим нравился, и слушали его обычно с удовольствием. Начинал Дед чаще всего издали. Вот и сейчас он начал с этимологии слова «юстиция», хотя ее тут знали почти все. Эта этимология восходит к латинскому слову «юстус», что означает законность, справедливость. Отсюда и название, возникшее в древнем Риме, профессии, главным назначением которой является поиск и утверждение Справедливости в государственном понимании этого слова. Корнев вспоминал, как однажды Юровский со свойственным ему желчным сарказмом заметил, что слово «юстиция» как название одной из служб государственного «аппарата угнетения» следовало бы изъять из употребления. С точки зрения марксовской теории государства оно непоследовательно. О какой, к черту, справедливости может идти речь там, где классовое насилие является основным направлением и руководящим принципом всякой политической деятельности?

— Звание юриста, — продолжал Дед, — было почетно во все времена. Но особенно почетным оно стало теперь у нас. — И он повторил на свой лад то, что только что высказал

предыдущий оратор. Ныне действующий основной Закон советского государства зиждется на двух принципах: «Салус попули — супрэма лэкс эсто» — «народное благо — высший закон». И другого вытекающего из первого и тесно с ним связанного принципа «хабеас корпус»¹ — «неприкосновенность личности». Именно он охраняет гражданина как личность от произвола лиц, склонных к увлечению властью, которой они облечены. Борьба за неукоснительное соблюдение «хабеас корпус» является одной из важнейших прерогатив советского юриста сталинской эпохи.

В свою старомодную фразеологию Дед умело вкладывал вполне современное содержание. Он объявил тождественными понятия гражданской морали советского человека и его революционного долга, отчетливо выразив мысль, горячо, но сбивчиво внушенную своему сыну покойной матерью Корнева. Выполняя повеления Закона, которому он служит, юрист обязан подавлять в себе все, что может помешать такому служению, — личные симпатии и антипатии. Когда дело идет о решении человеческой судьбы, недопустим даже намек на корыстные интересы и, если это необходимо, на соображения личной безопасности. Жестом римского сенатора, выбросив вперед руку, старый красноречивый закончил свое выступление звонкой фразой:

— «Переат мундус — фиат юстиция!» — «Пусть гибнет мир, но законы должны торжествовать!»

Бурные аплодисменты присутствующих Дед слушал с тем выражением самодовольной физиономии, с каким их слушают на своих пышных юбилеях, привыкшие к поклонению публики знаменитые отставные актеры.

Он, конечно, не сказал, да и не мог сказать ничего нового, как не сказали и все другие выступавшие на собрании. Но это имело свой смысл. «Репетицио эст матэр студиорум»², — любил часто повторять все тот же Дед. Однако значение повторения, особенно если одно и то же постоянно повторяется множество раз самыми разными людьми, выходит далеко за рамки чисто

¹ Хабеас корпус (Habeas Corpus Act) — акт, принят английским парламентом в 1679 обеспечивающий права обвиняемого и устанавливает правила ареста.

² Репетицио эст матэр студиорум (repetitio est mater studiorum) — повторение — мать учения (лат.)

педагогического приема. Оно становится социальным фактором, призванным подменить собой доказательность широко пропагандируемых понятий. Корнев уходил с собрания в приподнятом настроении. Его вера в высокое и действительное назначение его профессии была почти восстановлена.

В комиссии по распределению молодому юристу сказали, что от направления на периферию он избавлен, однако не удовлетворено и ходатайство кафедры правоведения об оставлении его при этой кафедре. Стране остро необходимы сейчас образованные юристы на практической работе. Поэтому товарищ Корнев направляется в распоряжение отдела кадров местной областной прокуратуры.

О таком направлении мечтали многие из выпускников Юридического. Большой город, работа рядом со старшими товарищами по профессии, близость той же «альма матер». Обрадовался ему и Корнев. Но явившись в прокуратуру и узнав, на какую должность назначен, он был изумлен и почти напуган. Ведь эта должность называлась в старину «инспектор по тюрьмам». Для нее нужен был не теоретический багаж, а скорее опыт тюремного надзирателя. А выпускник института и тюрьму-то видел разве что с улицы! Конечно, кому-то нужно вникать в условия содержания заключенных, выслушивать жалобы бесправных людей, защищать их от произвола тюремщиков. Но для чего тут высшее юридическое образование?

Начальник отдела кадров ответил ему, что вопрос о пересмотре его назначения может быть произведен только главным областным прокурором. Кандидата в тюремные инспектора принял хмурый, плохо выбритый усталый человек. На его протест против своей кандидатуры прокурор области ответил, что выпускники советских вузов не выбирают своих первых должностей, а назначаются на них. Должность же прокурора по надзору за местами заключения является обязательной в штате областной прокуратуры и не может оставаться не замещенной по чьей-то прихоти. Назначенный на эту должность юрист должен удовлетворять двум непеременимым условиям: иметь диплом об окончании высшей школы и состоять в партии. Корнев этим условиям удовлетворяет. Кто-нибудь

постарше на это место был бы, возможно, предпочтительнее. Но, во-первых, партия и правительство делают сейчас ставку именно на молодых. А во-вторых, назначенный на должность прокурора по надзору сможет сам в этом убедиться, что она не потребует от него ни особого опыта, ни чрезмерных усилий. На лице молодого юриста отобразилось изумление — синекура? В такое время? Даже для начинающего юриста! Но возможно именно поэтому главный прокурор поспешил протянуть своему новому подчиненному руку, давая понять, что аудиенция окончена. Корнев вышел от него в состоянии тягостного недоумения.

Но уже через какую-нибудь пару дней это недоумение разъяснилось, сменившись не менее тягостным разочарованием. Первая настоящая должность в жизни Корнева оказалась практически номинальной. От занимающего ее обладателя институтского диплома требовалось только, чтобы тот делал вид, что постоянно чем-то занят. Он мог посещать колонии мелких правонарушителей, места заключения несовершеннолетних преступников, комнаты предварительного заключения при отделениях милиции. А вот настоящие тюрьмы, даже их отделения для уголовников, были теперь для работников прокуратуры, в том числе и прокурора по надзору за ними, как бы необъявленным «табу». Формально, конечно, никто их на посещение этих тюрем права не лишал. Но Корневу сразу же дали понять, что реализация такого права была бы сейчас недопустимой бестактностью по отношению к тем, кто непосредственно занимается чисткой страны от антисоциальных и контрреволюционных элементов. Разгром потенциальной «пятой колонны» ведется органами, облеченными величайшим доверием партии и правительства и самого Вождя. Пока эта кампания не будет закончена, вмешиваться в ее проведение никому не следует, достаточно соблюдения внешней формы. Поэтому не нужно открывать глаза слишком широко. Не видишь — не знаешь. А не знаешь — не обязан и реагировать, даже если что-нибудь происходит и не совсем так, как того требует закон. Лес рубят — щепки летят.

Эта логика трусливого невмешательства прокуратуры в работу органов НКВД и даже милиции, когда дело шло

о массовом изъятии антисоциальных элементов, ошеломило начинающего юриста. Вот тебе и «Переат мундус»! А как же Конституция с ее законом об охране гражданских прав? Неужели несчастный Андрей Юровский был прав? И она не более чем красивая декларация? Тяжелые сомнения охватывали Корнева все глубже, одновременно становилась все более понятной и причина робости работников областной прокуратуры перед расположенным неподалеку тоже областным управлением Наркомата Внутренних дел. Большинство из них находились на своих нынешних должностях совсем недавно, многие не более полугода. Почти все они сменили на этих должностях тех, кто был арестован органами НКВД, которые в свою очередь нередко тоже были только-только назначены на места своих предшественников. По мере возрастания важности должностного поста чехарда смещения убыстрялась. За последний год нынешний областной прокурор, например, был третьим по счету «калифом на час», сидевшим в своем кресле.

Никто здесь не был уверен, что такая же участь уже завтра не постигнет и его, но вслух, конечно же, об этом не говорили. Все учреждение сверху донизу пронизывал худший вид страха – страх неопределенный, притом тщательно скрываемый. Корнев, возможно, был тут единственным, кто его не испытывал, как не испытывает ребенок боязни перед злой собакой. Проявляя непостижимую для своих жизненно более опытных коллег неосторожность и политическую бестактность, он пытался выяснить, например, за что был арестован его предшественник по должности. Наивному юнцу отвечали уклончиво и неохотно – а что как он только прикидывается наивным, а сам состоит на секретной службе в НКВД? Должно быть, бывший прокурор по надзору состоял все в той же организации юристов-вредителей, за принадлежность к которой арестовываются теперь многие работники юстиции. Это «должно быть» действовало на молодого работника прокуратуры особенно угнетающим образом. Ведь его произносили даже те, кто по своему служебному положению были обязаны вникать в самое существо обвинений, предъявляемых гражданам, в отношении которых в качестве «меры пресечения» избиралось лишение свободы.

В прокуратуре знали, зачем ежедневно является представитель областного управления НКВД с туго набитой полевой сумкой. В этой сумке находилась очередная пачка уже заполненных ордеров на арест. Энкавэдэшник, минуя все очереди, проходил в кабинет главного здешнего прокурора или, если того в прокуратуре не было, к его заместителю и оставался за закрытой дверью всего каких-нибудь полчаса. За это время хозяин кабинета мог только подмахнуть предъявленные ему бланки, разве лишь вскользь взглянув на фамилии людей, судьбу которых он решал своей подписью. Было бы, однако, неверно сказать, что все сотрудники прокуратуры откровенно бездельничали. Скорее наоборот. Большинство их казались людьми постоянно и сильно занятыми. Но это большей частью, была имитация полезной деятельности. Главный принцип этой имитации был, конечно, не прямо рекомендован новому прокурору по надзору. Заниматься нужно было не тем, чем действительно требовалось, а чем-нибудь трудоемким, но малозначашим с точки зрения его политического и социального значения. Практически не вмешиваясь не только в дела о контрреволюционных преступлениях, но и в сущность обвинений, носящих массовый характер, например, обвинений в хищении социалистической собственности, прокуроры и их аппарат с тем большим рвением вникали в отдельные уголовные дела, придавая им шумный и суетливый характер. Довольно ясное дело об убийстве членом адвокатской коллегии своей жены велось с привлечением нескольких видов судебной экспертизы и двух десятков следователей. Заседание областного суда по этому делу, в связи с протестом прокуратуры, два раза откладывалось. В то же время где-то рядом бесшумно и тайно действовали «административные» суды, сотнями и тысячами приговаривающие людей к многолетней каторге заочно.

Одним из видов ежедневных занятий в областной прокуратуре был разбор заявлений, поступающих от заключенных тюрем. Заявления эти приходили во множестве. Постоянно участвовал в этом разборе и прокурор по надзору, поскольку значительная часть жалоб касалась условий содержания арестованных и осужденных. Корнев почти сразу и с большим удивлением заметил, что пишут в прокуратуру одни только

обвиняемые по уголовным делам. На его недоуменный вопрос, почему это так, не в меру дотошному молодому сотруднику разъяснили, что это происходит, надо полагать, вследствие безупречности действий органов НКВД. Эти органы выискивают и хватают врагов народа настолько безошибочно и настолько убедительно изобличают их в совершенных преступлениях, что те даже не пытаются протестовать. Что касается условий содержания политических преступников, то они гораздо лучше, чем у бытовиков. Здешняя внутренняя тюрьма, например, напоминает неплохую гостиницу. В камерах — паркетные полы, в коридорах — ковровые дорожки. Сейчас, конечно, и там потеснее, но заключенные политических тюрем, будучи не дураками, понимают, что сами в этом виноваты и что жаловаться сейчас на тесноту в тюрьмах было бы совершенно бесполезно. Поэтому они и молчат. Уголовники же — народ, хуже разбирающийся в особенностях политического момента. Вот они и бомбардируют прокуратуру жалобами на то, чего, пока не закончится в стране проводимая в ней кампания, все равно изменить нельзя — на вонь и тесноту в камере, плохое питание, якобы пристрастное следствие и несправедливое, с их точки зрения, осуждение. Можно, конечно, понять крестьянина, получившего десятку срока за кражу с колхозного луга копны сена. Такой приговор кажется ему особенно несправедливым по сравнению с приговором всего к семи, а то и к пяти годам за убийство из ревности. Но советская практика наказаний за преступления исходит не из субъективного ощущения степени их возмутительности, а из социальной опасности этих преступлений. Убийства совершаются относительно редко, а кражи коллективного имущества в сельском хозяйстве угрожают, если их не пресечь самыми суровыми мерами, самому существованию колхозов.

Многие из заключенных требовали личного свидания с прокурором, в том числе нередко и с прокурором по надзору за местами заключения. Корневу очень хотелось поговорить хотя бы с некоторыми из них. Смешно сказать, он еще ни разу не был в настоящей тюрьме и не видел настоящего преступника! Но старшие товарищи по работе его благоразумно от этого отговаривали. Всему свое время. Сейчас посещение тюрьмы работником прокуратуры может повлечь

неудовольствие органов, облеченных почти неограниченной и практически бесконтрольной властью. Корнева возмущало такое пресмыкательство перед этими органами представителей закона. Они были по существу его предателями, робкие, серенькие чинуши, дрожащие за свое существование! Но он покамест крепился.

Сотрудники областной прокуратуры на уровне прокуроров и их помощников ежедневно по очереди дежурили у окна справок, в котором родственникам арестованных сообщались о них некоторые сведения. Каждое утро к этому окну выстраивалась длинная очередь женщин, только изредка перемежаемая стариками, вероятно, отцами заключенных. Услышав фамилию человека, о котором наводились справки, дежурный прокурор по алфавиту находил ее в огромном «гроссбухе». В эту книгу периодически заносились сведения об арестованных по данным НКВД и многочисленных судов, в том числе «административных». Напротив фамилий заключенных в последней графе справа помещался требуемый ответ в виде одной из трех типовых и предельно лаконичных фраз. Первая гласила: «Состоит под следствием». Претензий по поводу этого ответа у получавшего его никогда не возникало. Во-первых, он оставлял место для надежды. Во-вторых, всякий понимает — следствие до поры дело секретное. Вторая из типовых пометок сообщала, что такой-то, имярек, отправлен в исправительно-трудовые лагеря сроком на столько-то лет. За что отправлен, по чьему приговору и куда именно «книга судеб» не отвечала. Неудовлетворенным полученной справкой родственникам осужденного полагалось разъяснить, что право переписки с ними заключенным ИТЛ не ограничено. И те могут сами, если конечно захотят, сообщить родным о себе все.

А вот что касается третьего типа пометок, то никаких ответов, а тем более дополнительных объяснений давать не полагалось. Всё это вызывало тягостное чувство недоумения у самих работников прокуратуры, хотя они не признавались в этом друг другу даже наедине. Эти пометки гласили: «Сослан без права переписки».

Пытаясь выяснить, что могла означать эта короткая маловразумительная фраза, Корнев изучил все доступные

ему документы о типах мест заключения в СССР. Среди них были и «специзоляторы» для особо опасных политических преступников с особым режимом содержания. Предположить, что этот режим мало отличается от тех, которым подвергались в старину узники Бастилии или Шлиссельбурга, было вполне естественно. Но тогда «особо опасным» оказывался каждый пятнадцатый или двадцатый из включенных в список арестованных. А это значило, что их число в одной только здешней области выражается четырехзначной цифрой. Общую же численность погребенных заживо политических преступников в СССР трудно было даже вообразить. Возможно ли практически осуществить такое массовое погребение живых людей? Ведь все «шлиссельбурги и петропавловки» царской России едва вмещали какую-то сотню узников!

Пытливого читателя невнятная «книга судеб» поразила еще одной своей подозрительной особенностью: она совершенно не включала сведений о расстрелах политических арестованных или хотя бы о судебных приговорах к высшей мере наказания. Это была совсем уж явная несуразность. Сообщения о приведении таких приговоров в исполнение печатались даже в газетах. И уж подавно в прокуратуре не могли не знать о весьма активной теперь деятельности такого тайного, обычно ночного суда, как Военная Коллегия, особо щедрого на смертные приговоры. Не так уж сильно отличались от нее и Военный трибунал, и Транспортная Коллегия, и Коллегия специального назначения. Выходило, что пометка «сослан без права переписки» является почти откровенной подменой сообщения о действительной судьбе арестованного. Вывод напрашивался сам собой: эта лаконичная фраза — как бы полуусловный шифр еще более короткого и совсем уж недвусмысленного «расстрелян». Но почему законная, пусть даже крайне суровая, акция должна скрываться от народа за какими-то шифрами? Некоторые из коллег Корнева пытались объяснить очевидную лживость справочника соображениями гуманности по отношению к родственникам расстрелянных. Пусть их матери и жены не лишаются сразу надежды еще услышать что-нибудь о своих сыновьях и мужьях. Но это звучало не слишком убедительно на фоне широкой пропаганды классовой ненависти и беспощадной расправы не только с самими врагами народа, но и

с их ближайшими родственниками. Закон «от первого августа» о репрессиях для таких родственников независимо от их участия в преступлении был издан уже давно. Со стороны тех, кто ссылал в ИТЛ жен, матерей и отцов осужденных, стремление оберегать других таких же жен и матерей от излишних переживаний казалось непоследовательным. Причина невнятности, а нередко и очевидной лживости ответов официального справочника заключалась в чем-то ином. Корнев долго отчаянно сопротивлялся в душе пугающему его выводу: если не все, то очень значительная часть людей, арестованных НКВД, осуждена несправедливо. Этот вывод подтверждала и вычитанная им в «гроссбухе» справка о судьбе его арестованного товарища. Юровский был осужден и уже увезен в какие-то неведомые дали на целых двенадцать лет. Значит, судили его не за единоличную контрреволюционную агитацию, за которую больше семи лет срока не полагалось, а за принадлежность к какой-нибудь тайной организации.

Но ни в какой организации Андрей не состоял, за это Корнев мог бы поручиться собственной головой.

Но если это так, то всякий честный человек, особенно юрист, узнав об этом, должен поднять тревогу, бить в набат! Беззаконие в СССР, да еще при ныне действующей Конституции, может иметь только местный, локальный характер. Управу на него всегда можно найти, если, конечно, проявить достаточную гражданскую смелость, в республиканских, а если нужно, то и в центральных органах советского правосудия.

Но что если нарушения законности носят не частный разрозненный характер и являются проявлением не обычного «перегиба», усердием не по разуму, а организованной контрреволюцией? Было очень похоже, что вредители свили свое гнездо в самом здешнем управлении НКВД. Прикрываясь секретностью, будто бы необходимой при борьбе с тайной контрреволюцией, они компрометируют советскую законность и истребляют нужных стране людей. При своих нынешних чрезвычайных полномочиях областное Управление грозного Наркомата могло так же запугать и подчинить себе суды по политическим делам, как запугало и подчинило здешние органы прокуратуры.

Подозрение было ужасным и в другое время могло бы показаться неправдоподобным, почти кощунственным. Но сейчас и сам Сталин, и его верный нарком внутренних дел Ежов с его заместителями, и генеральный прокурор Союза — все призывали к бдительности, недоверию к авторитетам, кроме, конечно, авторитета Вождя, недоверию к самому безукоризненному революционному прошлому и даже к самому инквизиторскому усердию в борьбе с той же контрреволюцией. Враги народа нынешней формации выработали в себе дьявольское коварство, изобретательность и хитрость. Нет ничего немыслимого и жестокого, что бы они не могли использовать в своей отчаянной борьбе с генеральной линией Партии.

Однако самая беспощадная борьба с внутренними врагами, в тысячный раз повторял себе молодой юрист, ни в малейшей степени не должна допускать отступлений от законности. Законностью же, по крайней мере в здешней области, по-видимому, и не пахло. Об этом говорила атмосфера трусливого соглашательства, царившая в ее главной прокуратуре, невнятные ответы «гроссбуха», ходившие по городу темные слухи. Содействовать восстановлению законности, вывести на чистую воду контрреволюционеров из местного управления НКВД, буде они там засели, было бы делом чести юриста и доблести подлинного Гражданина. Но для этого надо располагать неопровержимыми фактами и прямыми уликами, а как и где их добыть?

Для работника прокуратуры самым прямым путем их получения было бы посещение политических тюрем, где содержатся жертвы предполагаемого беззакония. Но для проникновения в эти тюрьмы нужен какой-то неотразимый предлог. Надо было помнить, кроме того, что если в местном Управлении хозяйничают враги, то первое же посещение прокурором их владений может стать для него и последним. Особенно если он сразу же не добудет там компрометирующего их материала, достаточного для обращения в вышестоящие органы. Это и был тот случай, когда выполнение служебного долга было связано с риском, требующим гражданского мужества. Однако повода для проявления такого мужества пока не было, политические тюрьмы молчали. Корнев давно уже не верил в то объяснение этого молчания, которое получил

в первые дни своей работы здесь. Скорее оно было лишним подтверждением творящихся вокруг беззаконий. Но если право кого-нибудь из арестованных писать жалобы и заявления в установленные инстанции каким-то образом нарушается администрацией тюрем, то прокурор по надзору за ними обязан был пресечь это нарушение и поставить вопрос об ответственности виновных. Установление уже одного подобного факта дало бы ему в руки оружие для борьбы с местными нарушителями законности. Но не станешь же просто проситься на экскурсию в политическую тюрьму! Такая экскурсия ничего не даст, а назойливого прокурора, скорее всего, под каким-нибудь предлогом отстранят от должности. Надо было терпеть и ждать подходящего случая.

И случай представился. Однажды, разбирая свою долю почты от бытовиков главной городской тюрьмы, Корнев обнаружил в обыкновенном конверте, надписанном обыкновенным карандашом, весьма необыкновенное по виду письмо. От узенькой, почему-то напоминающей полумесяц, полоски картона с рваными краями пахло жутью старинных темниц и застенков, рассказами о которых Миша Корнев зачитывался в детстве. Но уже тогда он понимал, что и эти рассказы и их герои в какой-то степени вымышлены. Сейчас же он держал в руках подлинный документ – лоскуток картона, исписанный, несомненно, кровью. Чтобы установить это, не нужно было даже того небольшого курса криминалистики, который будущие юристы проходили в своем институте.

Вполне реальный узник корпуса номер пять здешней городской тюрьмы – Корнев знал уже, что это корпус для политических арестованных – собственной кровью написал в прокуратуру заявление с просьбой посетить его в камере. Кровь вместо чернил означала, что к обычным письменным принадлежностям этот заключенный не имеет ни малейшего доступа, что было противозаконно. Вложил письмо в конверт и отправил его по адресу уже кто-то другой. В этом тоже не могло быть сомнения.

Фамилия автора заявления, обещавшего довести до сведения прокуратуры нечто, по его утверждению «особо

важное», показала Корневу очень знакомой, хотя к числу особенно распространенных она и не принадлежала. Начальные буквы имени-отчества какого-то Степняка, выведенные бурыми каракулями, были, однако, достаточно разборчивыми – И.С. Можно быть почти уверенным, что зовут его Иваном. Сочетание этого имени с фамилией автора записки тоже, как будто, знакомо...

«Слово имеет член обкома партии Степняк Иван Степанович», – всплыло вдруг в памяти объявление, сделанное на юбилейном институтском собрании его председателем. Ну да, почти наверное, это тот самый Степняк, речь которого произвела на второкурсника Корнева такое сильное впечатление. Общеизвестно, что весь прежний состав здешнего обкома арестован, в местных и республиканских газетах, хотя и глухо, давалось понять читателям, что в нем на протяжении многих лет действовала банда националистических перерожденцев, сознательно искажавших директивы вождя Партии и ее Центрального комитета. Это они «перегибали палку» в темпах коллективизации крестьянских хозяйств и тем вызвали в республике искусственный голод. Это они организовали страшную нужду в предметах первой необходимости нарочито неправильным планированием деятельности промышленных предприятий. Это они зажимали критику и самокритику, содействуя распространению всех видов подхалимажа и местного «вождизма». Среди вредителей-перерожденцев упоминалось и имя героя девятнадцатого года Ивана Степняка.

Корнев изумлялся чудовищности метаморфоз, на которые способна человеческая психика, но в правильности сообщений о таких метаморфозах не сомневался, вступая по этому вопросу в частые споры с Юровским. Нынешняя контрреволюционность людей, в прошлом не щадивших своих жизней ради Революции, казалась действительно неправдоподобной. Но она вполне согласовывалась с учением вождя о неизбежности скатывания в болото контрреволюции всякого, кто хоть на йоту способен отклониться, хотя бы только в мыслях, от генеральной линии партии. Молодой член этой партии и сейчас оставался верен этому учению. Только наблюдая многочисленные симптомы нарушения законности, в том

числе и эту писанную человеческой кровью записку, Корнев распространил его логику и на органы по борьбе с контрреволюцией. Тогда не было ничего невероятного в казавшемся прежде недопустимо еретическом предположении, что такие как Степняк и ему подобные, не контрреволюционеры, а жертвы контрреволюционного заговора подлинных врагов. Было что-то символическое в том, что его заявление попало в руки именно к тому из бывших студентов Юридического, который три года тому назад без всяких оговорок принял слова старого партизана о долге советского юриста. Теперь это заявление давало прокурору по надзору за тюрьмами неоспоримый повод для предъявления своего права на посещение политического заключенного. Необходимо, однако, чтобы такое предъявление застало тюремную администрацию врасплох и тюремщики с их покровителями не успели принять мер для предотвращения его свидания с жалобщиком. В лучшем случае это будет перевод арестованного в тюрьму какого-нибудь другого города области, в худшем — устранение самого прокурора. Если в управлении НКВД в самом деле засели враги, то и в этом нет ничего невероятного. Потребуется всего сутки, чтобы невзрачная серая бумажка с его именем легла на стол областного прокурора. И тот подпишет ее либо совсем не глядя, либо, если даже он рассмотрит в ордере фамилию своего подчиненного, и не подумает отказать в санкции на его арест. Таких случаев здесь при нынешнем главном прокуроре никогда еще не бывало.

Поэтому будет лучше, если не только о намерении Корнева завтра же посетить запретный корпус центральной тюрьмы, но и о возможном поводе для такого посещения никто из окружающих знать не будет.

Корнев незаметно сунул исписанный лоскуток картона себе в карман. Даже если прямых осведомителей НКВД среди сослуживцев нет, то уж в благоразумных советчиках никак не окажется недостатка. Начнутся уговоры бросить опасную затею, «не дразнить гусей». Корнев и сам понимал, что эта затея небезопасна. Но при достаточной решительности и быстроте действий найдется управа даже на самых могущественных из замаскировавшихся врагов. Однако размагничивающие доводы соглашателей-непротивленцев хоть на кого могут

подействовать растлевающе. Они созвучны трусливой природе человека, лучше было бы их не слушать.

В конце рабочего дня Корнев сказал своим сотрудникам, что завтра с утра, не заходя в прокуратуру, он посетит колонию несовершеннолетних преступников. Оттуда поступило заявление о грубости и даже рукоприкладстве кое-кого из надзирательского состава. Такое заявление действительно было, и прокурор по надзору действительно занимался его разбором на месте. А из колонии он сразу же отправился в главную городскую тюрьму. Но тут его служебного удостоверения хватило только для прохода через проходную в ограде хозяйственного двора Центральной, где находился и ее административный корпус. Дальнейшее продвижение кого бы то ни было из посторонних через многочисленные, постоянно запертые ворота и двери тюрьмы было возможно только в сопровождении ответственного работника, которого мог назначить только сам начальник тюрьмы или кто-нибудь из его заместителей.

Корнев уже знал об этих порядках и поэтому сразу же направился в кабинет начтюра. Но того, к его досаде, не оказалось на месте. Обратиться к его дежурному помощнику было, вероятно, ошибкой. Сославшись на отсутствие у него полномочий, тот отказался пропустить прокурора дальше. Это было явным враньем. Старая тюремная крыса не мог не знать, что он не только вправе, но и обязан это сделать. Еще одно подтверждение, что тут что-то не в порядке. А раз так, то тюремщик, несомненно, придумал и другие, более действенные предлоги, чтобы не допустить явно нежелательного для них прокурорского визита. Плохо, что эффект неожиданности уже потерян. Помначтюра, конечно же, доложит о нем своему начальнику, непосредственно или по телефону, а тот, возможно, проконсультируется с более высоким начальством, как ему быть в создавшемся щекотливом положении. Законное право было на стороне прокурора, но воспользоваться этим правом он сможет, вероятно, только в течение ближайших нескольких часов. Значит, уходить отсюда было нельзя. Надо сидеть и терпеливо ждать, хотя не исключено, что взять его решили именно

измором. А вась нежелательный посетитель соскучится и уйдет. А уже завтра с ним может быть совсем другой разговор.

Ждать во взвинченном состоянии, в котором находился Корнев, хотя он и старался подавить его, было томительно трудно. Тем более что комната помощника начальника тюрьмы была как-то по-тюремному унылой и скучной. Кроме стола и пары стульев она ничем, вероятно, не отличалась от здешних камер. Голые стены, на окнах решетки. Дверь одностворчатая, толстая, узкая. Иногда она открывалась, и в ней показывался кто-нибудь из младших работников тюрьмы в черной форме. Посетитель с неизменным удивлением пялился на человека в штатском — такие люди здесь были, видимо, в диковину — и только потом спрашивал, не знает ли тот, где хозяин кабинета? Получив отрицательный ответ, служащие уходили, плотно прикрывая за собой дверь. Она хлопала как-то по-особенному глухо, и Корнев ловил себя на том, что в дополнение к этому стуку он воображает еще и лязг задвигаемого снаружи засова. Чего только не придет в голову, когда сидишь вот так и ждешь час, еще полчаса...

Иногда Корнев вставал и подходил к зарешеченному окну. Снизу в него были вставлены матовые стекла, а через верхние на расстоянии двух-трех метров была видна только какая-то глухая кирпичная стена. Все здесь наводило тоску и настраивало на ожидание чего-то недоброго, хотя это была еще не тюрьма, а только ее преддверие. Как хотелось уйти отсюда, сильно хлопнув этой тяжелой дверью! Но делать этого нельзя. Если его подозрения верны, то это было бы прямым путем к поражению.

Среди самых крупных своих недостатков Корнев числил избыточную чувствительность. И надо же было, чтобы именно он попал на службу в это ведомство решеток, замков, крепостных стен! Возможно, впрочем, что именно здесь он и сможет по-настоящему осуществить свою давнюю мечту послужить Законности в качестве ее верного и бесстрашного рыцаря.

Наконец в дверях показался дежурный помощник:

— Начальник вернулся и просит вас к себе, товарищ прокурор! — Корнев шел за ним по узкому, сводчатому, тускло освещенному коридору с одностворчатыми глухими дверями и зарешеченным окном в торце. И хотя таблички на этих

дверях были такие же, как и во всяком другом учреждении, — «Бухгалтерия», «Отдел кадров» — ощущение, что здешнее учреждение все-таки необычное, не проходило.

Одна из дверей, возле которой Корнев был уже сегодня, имела менее угрюмый вид, чем другие. Она была обита блестящим дерматином. Проводник Корнева услужливо открыл ее:

— Входите пожалуйста, майор вас ждет! — Прикрыв дверь за Корневым, он удалился, явно радуясь избавлению от решения неприятного и трудного вопроса.

Кабинет начальника тюрьмы был обставлен куда богаче, чем комната его дежурного помощника. Если бы не решетки на окнах, которых не могли скрыть ни матовые стекла, ни гардины, его можно было бы принять за кабинет директора небольшого предприятия. Ковер на полу, диван с дерматиновой обивкой, ряд стульев вдоль стены. Из-за большого письменного стола навстречу Корневу поднялся толстяк в мундире НКВД с мечами и улыбающейся благодушной физиономией. Вид начтюра явно не соответствовал его угрюмой должности. Но Корнев сразу же постарался настроить себя на недоверчивый лад. Наружность, как известно, обманчива.

Широко улыбаясь, как при неожиданной, но приятной встрече, и извиняясь, что заставил себя так долго ждать — ничего не поделаешь, задержало начальство — майор протянул посетителю руку.

— Очень рад познакомиться. Здесь, конечно, привыкли видеть на должности товарища Корнева людей постарше. Но времена меняются, и прежние представления о возможностях молодого возраста явно устарели. Теперь всюду происходит, так сказать, омоложение советского аппарата.

Желая, вероятно, сказать молодому собеседнику что-нибудь очень приятное, начтюр почти в точности повторил то, что говорил своему новому подчиненному при первой встрече с ним областной прокурор, только куда более любезным и благожелательным тоном: у молодости есть, конечно, свои недостатки, прежде всего — отсутствие жизненного и служебного опыта. Но они быстро изживаются и с лихвой возмещаются свойственной этому возрасту энергией и верой в собственные силы. Ставка на молодых — это очень правильная политика партии и правительства...

Любезный хозяин не догадывался, что гостю его речи совсем не по душе. Корневу всегда казалось, что подобные слова адресованы его дурацким ямочкам на щеках. Они звучали как утешение больному некоей зазорной болезнью, которой-де стыдиться нечего, она пройдет. А главное, было очень похоже, что этот толстяк, человек, вероятно, занятой, заговаривает ему зубы. Поэтому, как только тот умолк, ожидая, вероятно, ответной реплики польщенного молодого человека, Корнев спросил, как обстоит дело с удовлетворением его требования. Содержание этого требования начальнику тюрьмы, вероятно, известно.

Благодушие на лице майора сменилось выражением сожаления и озабоченности. Да, конечно, ему об этом доложили. Но он полагает, что свою встречу с арестованным прокурору надлежало бы отложить до лучших времен. Дело в том, что при нынешней перегруженности здешней тюрьмы — товарищ прокурор не может этого не знать — в ней не всегда удается соблюсти установленные санитарные нормы. Поэтому нередки вспышки инфекционных заболеваний: дизентерии, брюшного и даже сыпного тифа. Особенно неблагоприятен в этом отношении пятый корпус Центральной, являющийся ее главным корпусом. В просторечии его здесь называют обычно «Спецкорпусом», так как в нем содержатся обвиняемые по ка-эр статьям. Среди них сейчас замечено появление целого букета заразных болезней, и майор настоятельно не советовал бы даже заглядывать в Спецкорпус тем, для кого это не обязательно по роду их службы...

— Но именно для выполнения своего служебного долга я и явился сюда, — сказал Корнев.

— Да, да, конечно, — поспешил согласиться майор. Он имел в виду только то обстоятельство, что в то время как надзиратель, например, не может не явиться на очередное дежурство, прокурор вправе свое свидание с заключенными отложить до более подходящего времени. Это вряд ли что изменит по существу дела, но крайне не желательно именно потому, что у подследственного, к которому хочет пройти товарищ Корнев, врачи тоже подозревают какое-то заразное заболевание.

— Но в таком случае он должен быть переведен в тюремную больницу...

Начальник тюрьмы пояснил, что это обязательно только в случае, когда заболевший заключенный не один в своей камере. Но Степняк, как особо важный государственный преступник, содержится в одиночке. Таких больных, если нет необходимости в хирургическом вмешательстве или неотрывном медицинском наблюдении, лечат обычно на месте. И их камеры до дезинфекции превращаются, если болезнь заразная, в место, куда постороннему лучше не заходить. Имея это в виду, начальник тюрьмы успел даже посоветоваться со своим главным врачом по телефону о переводе арестованного в комнату для свиданий подзащитных с их адвокатами. Товарищ прокурор ничего, вероятно, против такого варианта не имел бы. Но главврач решительно возражает. Будут нарушены санитарные правила, и подобное путешествие может оказаться весьма вредным для больного...

В заплывших глазках майора сквозила почти нескрываемая ирония. Ловкая ложь вряд ли была им придумана только что. Скорее это был уже давно испытанный способ вежливого отказа пропустить дальше ворот тюрьмы ее правомочных, но нежелательных посетителей. И был он рассчитан не столько на их легковерие и трусоватость, сколько на способность понять, что дальнейшая настойчивость тут неуместна. Однако прокурор вправе отклонить любые попытки отговорить его от свидания с заключенным. В положении об обязанностях инспектора тюрем о необходимости охраны его здоровья ничего не сказано. Поэтому он будет требовать пропуска в Спецкорпус даже в случае, если этот хитрый толстяк заявит, что там будет холера или бубонная чума...

— Чем именно болен арестованный Степняк?

— Врачи еще не установили этого точно. Но что-то кишечное. Возможно даже, что брюшной тиф.

— Ну, это не так опасно. Я ведь не собираюсь ни здороваться с больным за руку, ни есть с ним из одной миски...

Теперь мысль о том, что наружность обманчива, промелькнула уже в голове начальника тюрьмы. Он смотрел на молодого прокурора с любопытством благодушного волкодава,

наблюдающего поведение не в меру храброго щенка. Поди ж ты! С виду школяр из старших классов, а гляди, какой настырный! Впрочем, настырность эта, наверное, больше от жизненной неопытности и излишне серьезного понимания своих прокурорских прав. Ошалел малый от чувства только что полученных формальных полномочий и играет с ними, как мальчишка, в руки которого попал не стреляющий пистолет. Но за размахивание даже таким пистолетом, тоже случается, бьют морду. Когда после звонка из тюрьмы своего помощника майор беседовал по этому поводу с одним высокопоставленным лицом из областного управления, комиссар госбезопасности только пожал плечами. Посещение тюрем посторонними, даже если они на это уполномочены, крайне нежелательно сейчас по санитарным соображениям. Майор это, конечно, знал. Он просил совета на случай, если прокурор будет настаивать на своем требовании. Тогда, сказал комиссар, начальник тюрьмы должен удовлетворить это требование.

— Мы обязаны уважать права прокуратуры, основанные на нашей Конституции, — подчеркнул он, пристально посмотрев на майора.

— Есть уважать прокурорские права! — ответил тот вполголоса, поднявшись с места. Как всегда в таких случаях, ничего в этом разговоре названо своим именем не было.

— Значит, вы настаиваете на немедленном свидании с подследственным Степняком? — медленно проговорил начальник тюрьмы, потирая двойной подбородок и пристально глядя на Корнева.

— Да, настаиваю...

— Так... — хозяин кабинета так же медленно протянул руку к трубке внутреннего телефона, одного из двух стоявших на столе. — Пятый! — вызвав Главный корпус, он приказал его начальнику немедленно явиться к нему.

Тот постучал в дверь кабинета уже минут через пять. Этот угрюмый, давно не бритый тюремщик с одним кружком в черных петлицах был, видимо, исполнительным служакой. Но и он, получив приказание устроить свидание заключенного камеры № 83 с прокурором из областной прокуратуры, не сразу козырнул «есть». Некоторое время он недоуменно глядел на своего начальника, видимо, не уверенный, что правильно

его расслышал. И только когда тот, отчетливо выговаривая слова, повторил: «Проводите товарища прокурора к подследственному Степняку из восемьдесят третьей!» — медленно поднял руку к козырьку. Но так как выражение недоумения и даже растерянности не сходило с угрюмой физиономии начальника отделения политических, то майор так же отчетливо произнес фразу, услышанную им сегодня от одного из главных руководителей местной службы госбезопасности:

— Мы обязаны неукоснительно выполнять законные требования прокурорского надзора! — К нему вернулось выражение его обычного благодушия. — Очень рад, что наш новый прокурор по надзору, несмотря на молодость, оказался таким настойчивым и энергичным человеком, — и он протянул Корневу пухлую руку. — и все же сожалею, что вы так неосторожны. Существуют заболевания, против которых мытье рук с мылом не очень-то помогает...

— Что вы имеете в виду? — нахмурился прокурор.

— Да вот то, что вам не следует забывать об опасности заражения...

— Постараюсь не забыть, — хмуро ответил Корнев.

— Вот и хорошо, — хохотнул майор, провожая его до двери.

Но когда через минуту он набирал какой-то номер на диске своего городского телефона, никакого благодушия лицо толстого тюремщика уже не выражало:

— Товарищ комиссар третьего ранга! Докладывает начальник тюрьмы номер один.

— Со мной! — сказал начальник спецкорпуса после того, как на его звонок у ворот в стене, окружающей этот корпус, открылось окошечко, через которое выглянул дежурный вахтер. — Со мной! — повторил он у единственной, тоже наглухо запертой, входной двери огромного пятиэтажного здания. Бесчисленные ржавые «козырьки» на квадратных окнах его унылого, выбеленного известкой фасада делали спецкорпус каким-то угрожающе мрачным. Тут тоже было оконце в двери, а за ним вооруженный вахтер. Пропустив вошедших, он сразу же запер дверь снова. Корнев поймал себя на том, что

лязганье засова он слышит здесь как-то иначе, чем такой же звук на двери амбара или погреба, и тут же отнес это за счет нервного напряжения, в котором сейчас находился и которое он тщательно скрывал от своего провожатого. Впрочем, это состояние не мешало ему думать и наблюдать.

Внизу находилась довольно просторная дежурка с зарешеченным окном, «пирамидой» для винтовок и заляпаным чернилами столом, за которым сидел дежурный по коридору. Под окном на длинной скамейке томились от скуки четверо хмурых парней в форме. Все пятеро с удивлением уставились на человека, не бывшего, по-видимому, ни арестованным, ни тюремщиком.

— На четвертый этаж! — сказал корпусной дежурному.

Тот еще раз с плохо скрываемым удивлением взглянул на Корнева, и все трое начали подниматься по грязной металлической лестнице. Высоко поднятые зарешеченные окна в толстой стене делали ее похожей на лестницу какой-то башни. Как и окна дежурки, «козырьками» они забраны не были, но света всё равно давали мало. Стекла, не мытые, видимо, со дня строительства корпуса, были густо покрыты пылью и затянuty паутиной. На лестнице стоял прочный, похоже навсегда тут устоявшийся запах скверной пищи и давно не чищенной уборной.

На площадке четвертого этажа на кнопку у двери нажал уже дежурный по корпусу. В ней отворилось неизменное оконце, и в него выглянуло очередное хмурое и настороженное лицо. Было слышно, как надзиратель щелкал за дверью ключом в замке и лязгал засовом, но отворилась она только после того, как дежурный с лестницы отпер своим ключом еще один замок. Надзиратель, оказывается, сам был заперт на своем этаже. Вот для чего им понадобился дежурный по корпусу! Нетрудно было догадаться, и чем вызваны такие порядки. Даже в случае, если какие-нибудь отчаянные заключенные сумеют вырваться из своей камеры, связать или убить надзирателя, к выходу из корпуса они добраться не смогут. Корнев делал свои открытия, не подавая вида, что всё ему здесь в диковинку. К этому его обязывала должность тюремного инспектора.

Но когда последовало очередное «Со мной», и вместе с начальником корпуса молодой прокурор вошел в открыв-

шуюся дверь — дежурный остался на лестнице и сразу же запер ее за ними, — Корнев чуть не разинул рот от удивления. За ней не было длинного, полуосвещенного коридора с двумя рядами запертых дверей, которые он ожидал увидеть. Вместо этого в глаза ему ударил довольно яркий дневной свет и охватило ощущение неожиданного пространства. Оказалось, что Главный корпус Центральной в своей срединной части не имеет межэтажных перекрытий и освещается сверху через застекленную крышу. Коридоры здесь заменяли металлические галереи, опоясывающие здание изнутри на высоте каждого этажа.

День сегодня выдался не по-осеннему солнечный. Проникая через двускатный «фонарь» наверху, желтоватые жизнерадостные лучи весело играли на поручнях ограждений галерей, параллельными ярусами уходящих куда-то в глубину. Эти поручни, как фальшборт старинного фрегата, были обтянуты медью, начищенной руками дежурных надзирателей, которые постоянно на них опирались. Над перилами были натянуты высокие веревочные сетки, разбивавшие ощущение жесткости господствующих здесь металла и камня.

Однако стойкий запах тюрьмы был здесь еще сильнее, чем на лестнице. Еще неумолимее напоминали о ней тяжелые навесные замки на узких окованных железом дверях, выходящих на галереи. Дверей было множество. Здесь, видимо, был корпус камер-одиночек и камер-двоек. И на каждой двери — номер на жестяной табличке, глазок для наблюдения за камерой и закрытое на засов оконце. Это чтобы передавать в камеры пищу и разговаривать с заключенными, — догадался Корнев. Понял он и назначение неожиданной конструкции тюремного здания. Она была подсказана, несомненно, ображениями «просматриваемости» этого здания сверху донизу. Все, что происходит на одной галерее, видно и слышно со всех остальных. Это в дополнение к телефонам, звонкам громкого боя и сигнальным кнопкам, также не ускользнувших от внимания Корнева. Побег отсюда, видимо, абсолютно невозможен.

А вот сетки над перилами и по горизонтали между этажами это, вероятно, уже результат выводов, сделанных при эксплуатации здания. Наверное, не один отчаявшийся узник,

воспользовавшись выходом на галерею, бросился через ее перила, прежде чем тюрьма решила застраховать себя от повторения таких случаев.

— Открой нам восемьдесят третью! — приказал начальник корпуса человеку в черном, встретившему их на галерее.

Надзиратель держал в руках довольно большое, с пальцы величиной, железное кольцо, на котором было нанизано множество ключей с номерными бирками. Связки ключей поменьше висели у него и на поясе. Недаром эта должность называлась в старину «ключник», подумал Корнев, прочитавший не одну книгу по истории тюрьмы.

Коридорный смотрел на своего начальника тем же удивленным и нерешительным взглядом, каким тот несколько минут назад глядел на начальника тюрьмы.

— Приказ начтюра! — пояснил корпусной свое распоряжение, которое его подчиненному показалось, вероятно, почти диким. — К Степняку прокурор для беседы...

Корнев уже обратил внимание на то, что работники тюрьмы, когда речь идет о заключенном Степняке из восемьдесят третьей, не задумываются над вопросом, кто это такой. Значит, он выделяется тут среди многих тысяч других арестованных. Вероятно, своим прежним общественным положением в масштабах области.

За спиной посетителя тюремщики обменялись недоуменными взглядами. «А как этот прокурор узнал, где находится Степняк?» — спрашивал один взгляд. — «А черт его знает», — с досадой отвечал ему другой.

Приказ, однако, оставался приказом. Надзиратель повел Корнева и своего начальника почти в самый конец галереи, нашел нужный ключ и отпер замок на двери с номером 83. Но этот замок, как оказалось, запирали собственно не дверь, а засов на ней. Отодвинув засов, коридорный толчком внутрь открыл дверь камеры настежь.

Корневу казалось, что он почти притерпелся к здешнему запаху. Но это ему только казалось. Потребовалось немалое усилие, чтобы не поморщиться, когда тот же запах, только во много раз более густой, обдал его из открывшейся двери. За ней он увидел маленький каменный чулан, до задней стены которого было не больше трех-четырёх шагов. Высоко под

потолком, в глубине небольшой ниши со скошенным книзу основанием, виднелась решетка квадратного оконца, оно, похоже, вовсе не давало света. На картинах, изображающих каменные мешки узников царизма, Корнев привык видеть только решетки на фоне крохотного прямоугольничка голубого неба. Тут этого драматического контраста не было. Железный переплет почти не выделялся на ржавом фоне закрывающего окно тоже железного листа.

Под окном, если только оно заслуживало этого названия, на вделанном в стену железном сидении сидел человек. Локтем он опирался на такой же столик, тоже вделанный в стену на железном кронштейне. Щурясь от света из открытой двери, заключенный поднялся со своего места. Он был высок, слегка сутул и страшно худ. Грязная и как будто изжеванная одежда висела на нем как на вешалке. Наблюдательный Корнев заметил, что на ней нет пуговиц.

Он пытался узнать в этом узнике, остриженном под машинку, с впалыми щеками, заросшими седеющей щетиной, когдатошнего почетного гостя своего института. Но это ему не удалось. Вот разве рост, крепость в кости да эта сутулость, которая теперь стала намного заметней, были те же. Заключенный тоже хмуро всматривался в стоявшего на пороге молодого человека с портфелем, свежий вид которого почти вызывающе контрастировал со всей здешней обстановкой. Взгляд глубоко запавших глаз выражал смесь удивления, надежды и недоверия. Недоверие, однако, преобладало.

— Подследственный Степняк, — официальным тоном объявил начальник корпуса, — к вам прокурор для личного собеседования!

Степняк и после этого объявления продолжал молчать и пытливо всматривался в посетителя своим тяжелым взглядом, от которого Корневу становилось не по себе. Он заметил, что заключенный дышит как-то шумно и тяжело, держа одну руку прижатой к боку на уровне груди, а в другую глухо покашливая. Может быть, начальник тюрьмы насчет его болезни говорил правду? И ошибался только в характере этой болезни...

— Предъявите ваше служебное удостоверение, гражданин прокурор! — потребовал вдруг Степняк, делая шаг вперед и протягивая руку по направлению к Корневу. Голос был

глухой и хриплой. Может быть это от того, что узники одиночных камер вынуждены постоянно молчать?

— Ты что, не доверяешь представителю власти? — зло спросил начальник корпуса, с лица которого все время не сходило выражение недоумения, раздражения и досады. Он, видимо, никак не мог понять, каким образом этот враг народа умудрился дать знать о себе в прокуратуру? Поэтому забыл даже о необходимости соблюдать при посторонних обращение к заключенному на «вы».

— Я вам не доверяю! — ответил Степняк, а Корнев поспешил достать и протянуть ему свое удостоверение.

— Арестованный вправе убедиться, что я тот, за кого себя выдаю, — примирительно сказал он, подумав про себя, не является ли эта чрезмерная подозрительность подследственного одним, хотя и косвенным, признаком творимых над ним безобразий.

Тот хмуро и внимательно просмотрел документ; не получив, видимо, от этого просмотра большого удовлетворения, вернул его владельцу.

— Прикажете отомкнуть койку, — сказал он Корневу, — тогда нам будет на чем сидеть. — Степняк явно демонстративно обращался не к присутствующему здесь довольно большому тюремному чину, а к прокурору. Может быть, неприязнь к тюремщикам сохранилась у него с дореволюционных времен, когда он сидел в тюрьме за участие в крестьянских волнениях? Может быть, даже в этой самой. Было известно, что в Гражданскую Степняк бежал из тюрьмы контрразведки, избежав таким образом почти неотвратимого расстрела. Очевидно, что несмотря на изнурение, явно болезненное состояние и ужасные условия заключения, этот человек и теперь сохранил присущую ему твердость духа.

Корнев только тут заметил на боковой стенке камеры над двумя железными кронштейнами откидную койку. Койка была не просто пристегнута к стене, а примкнута к ней небольшим висячим замком. Это, конечно, диктовалось распорядком тюрьмы, лежать днем заключенным не разрешается. Но если бы заключенный одиночки был признан больным, как утверждал начальник тюрьмы, то врачи настояли бы на таком разрешении. А здоров он явно не был. Говорил он с трудом,

придыхая и болезненно морщась, а из его груди при этом вырывался свист и какое-то бульканье. Перемещаясь по камере, Степняк сильно припадал на одну ногу и непрерывно хватался рукой за бедро. Корнев хорошо помнил, что никакой хромоты за ним прежде не замечалось. Было очень похоже, что обитатель 83-й был сильно избит, но не показан врачам. Кем избит, и за что? Этим, зло глядящим на него корпусным? Или свирепого вида парнями, которых Корнев видел внизу? Или... Возможно, впрочем, что ответ на этот вопрос и составляет суть того сообщения, которое хотел сделать заключенный.

— Отомкните, пожалуйста, койку, — попросил Корнев, не уверенный, что может здесь кому-то приказывать.

Надзиратель вопросительно посмотрел на своего начальника. И так как тот молчал, глядя куда-то в сторону, отомкнул и опустил на кронштейны железную раму с сеткой, на которой лежали постельные принадлежности заключенного. Они состояли из матраца и подушки, сквозь которые пробивалась пыль сенной трухи. Сено в них не менялось, видимо, уже много лет. Было еще грязное тонкое одеяло. Наволочки и простыни не было совсем.

— А теперь пусть они, — Степняк кивнул головой в сторону двери, — оставят нас вдвоем. Говорить при посторонних я не буду.

— Я тут не посторонний! — вскипел начальник корпуса. — По уставу арестованный постоянно должен находиться под наблюдением надзорной службы. Особенно если у него посетитель...

— Наблюдать за нами он может через волчок, — сказал Степняк, вызывающе пренебрежительно говоря о сердитом тюремщике в третьем лице. — Кидаться на прокурора я не собираюсь. А вот на тайне своей беседы с ним настаиваю. Это мое право...

— Это верно, — подтвердил Корнев, сделавший над собой некоторое усилие, чтобы переступить порог камеры. Он выжидательно посмотрел на начальника корпуса, вряд ли не знавшего о таком праве заключенных, но явно не хотевшем его выполнять. Недовольно что-то пробурчав, тот сердито захлопнул дверь с галереи. Круглое застекленное отверстие в ней на секунду засветилось и тут же погасло. Это значило,

что, отодвинув заслонку «волчка», тюремщик прильнул к нему глазом.

— Садитесь вот сюда, — Степняк жестом хозяина показал на сидение под стеной. — Здесь чище. Да и портфель есть куда положить. — Он снял со столика алюминиевую кружку, до половины наполненную водой и бережно переставил ее на койку. — Вода у нас не по норме, — объяснил заключенный Корневу, заметившему его отношение к содержимому кружки. — Но надо просить надзирателя, чтобы тот принес ее из умывалки. А он исполняет такую просьбу не всегда, — Степняк с кряхтением присел на койку. — Позвольте? А то стоять мне трудно... — Почему трудно, арестованный не сказал, а спрашивать его об этом было бы преждевременно.

Глаза Корнева постепенно привыкли к тягучему, желтовато-серому полумраку камеры. Под потолком тускло горела лампочка, не гасившаяся здесь, видимо, круглые сутки. Она была забрана под толстый пыльный плафон, окруженный решетчатым проволочным колпаком. По-видимому, это были меры, не допускающие случаев самоубийства узников. Если бы он и смог каким-то образом дотянуться до потолка, то и тогда бы добраться до токонесущих частей электропроводки не сумел. Тюрьма прилагала неожиданно много усилий для охраны жизни своих обитателей.

Некоторое количество света проникало через верхнюю часть железного колпака, закрывающего снаружи оконце камеры. Оно-то и придавало ее освещению мутно-серый оттенок.

Теперь в углу за дверью была видна еще одна деталь почти всякой тюремной камеры. Там, примкнутая к стене через короткую ржавую цепь висячим замком, стояла чугунная бадя, источавшая тяжелый удушливый запах. От этого запаха Корневу очень хотелось поскорее выйти отсюда на воздух. Желанию уйти способствовали и взгляды, которые почти физически он ощущал на себе. Один — недоверчивый взгляд человека, сидящего рядом с ним, другой — недружелюбно внимательный, скрытый стеклом глазка на двери. Но уходить, не доведя начатое дело до получения какого-то определенного результата, было нельзя. А этот результат зависел, по-видимому, от того, удастся ли ему вызвать на откровенность арестованного, у которого, по всем признакам,

вера в честность и справедливость представителей закона была основательно подорвана.

— Я к вам вот по этому заявлению, — начал Корнев, доставая из портфеля исписанную и испачканную кровью полоску картона. — Это вы писали?

— Я... — подтвердил Степняк, взглянув на свою записку. Пришлось сбить сустав на руке вот об эту железку. Острогосто тут ничего нет, — и он показал уже присохшую ссадину на тыльной стороне левой руки. Корнев внутренне поморщился. Он бы, вероятно, не сумел этого сделать.

— Но прежде, чем писать собственной кровью, вы прошили, наверное, карандаш и бумагу?

— Просил, конечно! Да только не дают вражьи дети...

— А каким образом вы дали ход уже написанному заявлению? Если это ваш секрет, можете не отвечать.

— Да нет. Какой секрет? Просто отдал надзирателю. Так, на «отчай божий», как у нас в партизанах говорили. Думал, она мою писульку просто спалит. А она, гляди ж ты, выбралась за эти стены... Только до кого добралась?.. Вы в самом деле из прокуратуры? — в упор спросил Степняк, уже не скрывавший, что подозревает в своем посетителе провокатора.

Это было оскорбительное подозрение. Но и его надо было стерпеть. Да и относилось оно, собственно, не к Корневу, а к тем, кто мог устроить такую провокацию и кого сам молодой прокурор подозревал в еще более тяжких нарушениях законности.

— Я же предъявил вам свое удостоверение.

— Следственный отдел здешнего управления НКВД может еще и не такую липу состряпать...

Высказывая столь неуважительное отношение к органу, от которого он находился в полной зависимости, включая саму жизнь, Степняк доказывал этим, что он и теперь оставался таким же решительным и смелым человеком, которым прослыл в Гражданскую. А вот сообщить провокатору какую-то свою тайну он боялся или не хотел. Значит, это было нечто действительно важное, ради чего можно было спрятать в карман мелкое чиновничье самолюбие. И не следовало ограничиваться тем результатом, который дало уже сегодняшнее посещение Корневым Центральной тюрьмы, — установлением

факта непредоставления арестованным письменных принадлежностей для написания заявлений. Правда, покамест только в отношении одного этого заключенного.

— Может быть, ваше недоверие ко мне рассеет вот этот документ? — Степняк рассматривал партбилет Корнева так же пристально, как в начале его визита прокурорское удостоверение. Чтобы быть поближе к свету, он встал со своей койки и вышел на середину камеры. На этот раз мысль о «липе» у него, видимо, не возникла. По мере того как страница за страницей он изучал документ, глаза заключенного теплели, и когда он возвращал его Корневу, то, видимо, непроизвольно, по привычке старого партийца, обращался к нему уже на «ты».

— Значит, ты, хлопец, в Юридическом учился! — это он, конечно, установил по названию партийной организации, выдавшей билет. — Закончил?

— Закончил. В этом году..

Корнев мог бы, конечно, напомнить Степняку, что тут происходит разговор не двух партийцев — старого, причем бывшего, и молодого, а прокурора и арестованного. Но он, конечно, этого не сделал. Формально недопустимая фамильярность бывшего партийного руководителя означала, что ряженым из местного управления НКВД он своего гостя уже не считает. Подделать партийный билет он, по-видимому, не считал способным даже это учреждение. А высшее образование его молодцам, выполняющим грязные поручения, вроде бы ни к чему..

Степняк не вернулся на койку, а ковылял по камере, время от времени бросая на Корнева хмурые взгляды исподлобья. Однако в этих взглядах чувствовалась уже не подозрительность, а вопрос, хотя и мучительный, — можно ли быть вполне откровенным с этим хлопцем, сильно смахивающим на школяра из старших классов? Что он думает именно об этом, говорило замечание Степняка, когда Корнев сказал, что в прокуратуры он был произведен прямо по вузовской разнарядке.

— Так, так... хорошо, значит и в прокуратуре здешние «органы» поработали, раз на такие должности таких как ты зеленых назначают..

Снова было задето НКВД, но одновременно и самое чувствительное место души Корнева. Сколько он терпел от этой своей молодости! Точнее, молоджавости. И как бы он хотел

стать поскорее этаким «думным дьяком», поседелым в приказах и равнодушно, как из пушкинской поэмы, внимающим «добру и злу»! Впрочем, нет. Равнодушным быть Корнев не хотел бы. Однако избыток чувств прокурор, и вообще юрист, обязан в себе подавлять. Не излишней ли, например, является острая жалость, которую он испытывает сейчас к этому измученному физически и нравственно человеку, топчущемуся перед ним на пяточке цементного пола? Ведь при всех его заслугах перед революцией в прошлом, сейчас, возможно, он перед ней в чем-то виноват. По причине недопонимания, например, всей глубины сталинской политики. А если не виноват? Тогда трудно даже вообразить себе всю глубину душевных терзаний, которые он должен испытывать. Нет, не только равнодушные, но даже напускная чиновничья сухость, тут не годились.

Боль и физическая слабость быстро обессилили заключенного. Через две минуты метания по камере свист и клочотание в его груди стали особенно громкими. Степняк закашлялся и, подойдя к параше в углу, стал сплевывать в нее какие-то темно-красные сгустки. Это было хорошо видно даже при тусклом освещении камеры. Причиной кровохарканья мог быть туберкулез в далеко зашедшей стадии. Но этим начальник тюрьмы обязательно воспользовался бы, чтобы отговорить прокурора посетить заключенного. Да и врачи предоставили бы ему право лежания на койке и днем. Корнев наблюдал, несомненно, результат зверского избиения арестованного, что является одним из самых тяжелых служебных преступлений. И до виновников этого преступления он, как прокурор, обязан добраться! И не обязательно по чисто «прокурорским» путям.

— Иван Степанович!

Степняк, уже отошедший от параша и тяжело дышавший, прижимая к груди теперь обе руки, поднял глаза на официального посетителя с выражением удивления. Возможно, что со дня ареста его ни разу по имени-отчеству никто не называл.

— Иван Степанович! Помните, вы у нас на юбилее Юридического с речью выступали?

Степняк наморщил лоб, что-то припоминая:

– Да, был я тогда у вас... а что?

– Вы тогда сказали, что советская законность является частью великой большевистской Правды. И что мы, будущие юристы, обязаны бороться за эту Правду, не щадя своих сил. Я вас слушал очень внимательно и понял эти слова не просто как красивую фразу..

– И правильно понял... Да только одного понимания мало. Мы за нее, за рабоче-крестьянскую Правду, с беляками рубились, в таких же вот казематах сидели, под расстрел, на виселицы шли...

– А сейчас вы разве считаете, что борьба за советскую законность не связана с трудностями или опасностью?

Степняк как-то по-новому взглянул на Корнева:

– Хлопец, ты, кажется, неглупый... а раз неглупый и пришел сюда, значит, что еще и честный и не трус... Может, ты и вправду такой, который мне нужен? – он рассуждал вслух, потирая седую щетину на щеках и пристально глядя на какую-то точку на полу. Потом опять поднял глаза на Корнева – Ты, часом, не женатый? – Корнев ответил, что нет.

– Батько, мать живы?

– Нет, померли...

Степняк, видимо, уже окончательно решил в чем-то довериться Корневу.

– Тогда послушай, хлопец, что я тебе расскажу.. Только вперед посмотри, что со мной НКВД сделало. Да глаза-то особенно не вытаращивай! Лучше будет, если тот, за дверью, не будет об этом знать... – Он отступил в угол за дверью и стащил с себя грязную, заскорузлую рубашку. Голый до пояса, Степняк показался Корневу еще более худым, чем он думал. Ребра и ключицы как-то кричаще выпирали под сухой желтой кожей. Но не они, конечно, вызвали у него желание зажмуриться или отвернуться.

Корнев уже понимал, конечно, что сейчас ему будут показаны следы жестоких избиений. Но никогда еще не видевший ничего подобного, он не ожидал, что они произведут на него такое тяжкое, неприятное, отталкивающее впечатление. Грудь, спина и плечи заключенного были почти сплошь покрыты рубцами и кровоподтеками. Они были разного цвета – йодного, синего, фиолетового. Это говорило об их разном

возрасте. Арестованного избивали многократно, по-видимому, систематически. Поморщившись от боли, он нажал пальцами на то место в боку, к которому почти постоянно держал прижатой ладонь. Было неприятно видеть, как концы двух сломанных ребер, расходясь, острыми буграми выпирают из-под кожи. Степняк поставил ногу на койку и до колена приподнял штанину. Голень была покрыта глубокими ссадинами, нанесенными, наверное, носками тяжелых ботинок или сапог. Одни из этих ссадин почти присохли, другие были относительно свежими. С трудом снова натянув рубашку, избитый устало опустился на койку вблизи того места, на котором сидел Корнев.

— Такие-то дела, хлопче... Видел, наверно, чем я харкаю? Моча у меня тоже красная. Так меня в революцию куркули один раз за большевистскую агитацию отмолотили. Только я тогда молодой был, отдышался. А теперь, особенно если добавят, уже не оправлюсь. Да оно, наверно, и ни к чему..

— И за что же это они вас? — тихо спросил Корнев.

— Не «за что», хлопче, а «почему?» — поправил Степняк. — Характер у меня, видишь ты, непокладистый. Не хочу ни себе, ни другим невинным людям смертного приговора подписывать. А этого-то от меня и добиваются тайные фашисты из здешнего энкавэдэ...

«Тайные фашисты из НКВД!» Арестованный вслух и своим именем назвал то, что прокурор Корнев, еще не имея прямых доказательств, смутно подозревал. Слово «фашисты» предопределяло и характер преступлений, в которых старый большевик обвинял, видимо, местные органы госбезопасности. Вряд ли он имел в виду просто должностную распушенность, вызванную фактической бесконтрольностью деятельности местных чекистов.

Степняк говорил хриплым шепотом, прижимая к груди уже не ладони, а гневно сжатые кулаки. Наверное, для того, чтобы подавить в себе этот гнев и немного собраться с мыслями, он умолк на минуту. Затем заговорил снова.

В областной прокуратуре, небось, и не ведают, а может, только делают вид, что не ведают о делах, творящихся в здешнем областном управлении НКВД. Его внутренняя тюрьма и следственный корпус превращены в огромный застенок, в котором тысячи ни в чем не повинных людей подвергаются

таким вот избиениям, пыткам голодом, бессонницей, страшной скученностью в камерах. И все это с целью получить от них ложные показания на себя и на других. Честных советских людей обвиняют в преступлениях, которые тем и не снились. А добившись признания в этих преступлениях, замаскировавшиеся враги передают их дела в свирепые беспощадные суды, действующие по указке того же НКВД. Там невиновных, причем без права обжалования, приговаривают к смерти или бесконечным срокам заключения. Особенно жестоко «фашисты» из областного Управления и их подручные расправляются со старыми членами партии. В здешней области они истребили почти все партийное руководство, революционное прошлое которого восходит ко времени Ленина. От первого секретаря обкома до секретаря партячейки сколько-нибудь крупного предприятия. Он, Степняк, кажется, последний из членов областного Комитета, кто до сих пор еще остается в живых. Это потому, наверно, что он оказался упрямее большинства остальных стареющих партийцев и не подписал своего согласия с возведенными на него обвинениями. Например, с тем, что в Германскую он был в партизанских подразделениях тайным агентом Петлюры. Просто же пристрелить свою жертву, не добившись от нее признания в выдуманных преступлениях, здешние фашисты не могут. Самооклеветание невинных людей нужно им, вероятно, для отчета перед вышестоящими органами и введения их в заблуждение. Смотрите, мол, какие мы бдительные и как лихо истребляем в своем доме крамолу! Разоблачения они, видимо, боятся и стараются, чтобы все происходило «по закону». Палачам из областного Управления ничего не стоит, конечно, забить упрямого подследственного до смерти. Но это для них нежелательное «ЧП». Поэтому таких «ставят на консервацию», вот как его, например. Надеются, что человек с отбитыми внутренностями долго не протянет, особенно без врачебной помощи. А умрет он в тюрьме, конечно, от «сердечной недостаточности» или еще от чего-нибудь в этом роде... Если же окажется слишком живучим, то допросы с пристрастием можно и возобновить... В отношении арестованных того ранга, к которому принадлежит бывший член обкома, это делается довольно быстро. Содержать таких положено отдельно от всего прочего тюремного народа.

Выделение же одиночек при нынешней перегруженности тюрем — дело крайне трудное. Особенно трудное оно во внутренней тюрьме, судя по тому, что Степняка перевели в одну из одиночек Центральной. И вряд ли ему позволят слишком долго занимать столь шикарную жилплощадь.

Но дело не в нем. Действия маскирующихся под суровых чекистов врагов народа из местного областного управления НКВД слишком четко организованы, чтобы быть результатом просто грубой ошибки. Они, безусловно, заранее продуманы. Это особо коварный вид вредительства, о возможности которого постоянно предупреждает Сталин. Вредители из НКВД не ломают станков, не поджигают заводских зданий, не перекармливают слишком сочной травой колхозный скот. Но они дезорганизуют и обезглавливают промышленность и сельское хозяйство, подменяя преданных пролетарской революции старых партийных руководителей молодыми карьеристами и крикунами, а знающих честных специалистов — неучами и темнилами. Чинимое в местных органах НКВД беззаконие не остается, конечно, до конца тайным. Глухие слухи о нем проникают в народ и подрывают его веру в советскую законность. Нанесенный этими органами вред выходит за пределы здешней области, если учесть ее общегосударственное значение. Поэтому искать управы на зарвавшихся, но облеченных громадной властью вредителей следует в центральных партийных и правительственных органах. Полумеры тут недействительны, да и попросту опасны.

— Слушай меня, хлопец... Не о себе хлопочу, мне все равно крышка. За наше революционное дело душа болит... Если ты вправду настоящий большевик, не трус и честный советский юрист, сегодня же отправляйся в Москву. Добейся приема у Сталина. А не сможешь добиться этого приема, ступай к кому-нибудь из членов Политбюро — Ежову, Ворошилову, Молотову... Доложи им, что тут истребляют цвет Партии, десятки тысяч честных советских людей. Да не зевай, гляди, не тяни с этим. А то оглянуться не успеешь, как сам окажешься в такой же кутузке.

Корнев слушал прерывистый шепот заключенного, стараясь вникнуть в каждое его слово. Все, что говорил этот человек, самым поразительным образом совпадало с тем, что думал

он сам. И он верил Степняку уже почти безусловно. Устами этого мученика контрреволюционной неправды говорила как будто сама гражданская совесть молодого юриста, советского гражданина и члена большевистской партии. Если бы Корнев не был воспитан в духе атеизма и пренебрежения ко всяческим суевериям, он, возможно, подумал бы о некоем Провидении, приведшем его в полутемную одиночку Центральной. Но это сделала цепь хотя и маловероятных, но вполне естественных событий, подтвердивших старый принцип – все тайное неизбежно становится явным. В особенности верен этот принцип в отношении государственных преступлений того масштаба, который он сейчас выявил. И он даст организаторам этих преступлений бой, в благоприятном исходе которого Корнев почти не сомневался. Любая контрреволюция в СССР может нести только местный, локальный характер. Для ликвидации очага той, которая окопалась в здешнем Управлении НКВД, нет, по-видимому, особой необходимости беспокоить самого Генерального секретаря, как это советует Степняк. В Советском Союзе, как и во всякой конституционной стране, есть орган, облеченный достаточной властью для пресечения любых нарушений законности. И наказания виновных в этом людей, какое бы высокое положение они ни занимали. Этот орган – Главная прокуратура Союза. Во главе ее стоит человек, обладающий кроме власти еще и непререкаемым, общепризнанным авторитетом. К нему-то и обратится Корнев. В известном смысле верховный прокурор – его коллега по профессии. И он, наверное, не откажется его принять, несмотря на всю свою занятость. И уж конечно, лучше всякого другого поймет и оценит всю важность донесения работника провинциальной прокуратуры, специально для этого к нему приехавшего.

С арестованным своими соображениями прокурор не поделился, хотя твердо решил спасти этого человека. Но это только часть его задачи, и способы ее решения он должен выбирать сам. И в том, что действия доносчика на опасную банду злодеев из местного управления НКВД должны быть быстрыми и решительными, Корнев был со Степняком совершенно согласен.

Еще более угрюмый, если это возможно, чем он был до посещения прокурором камеры № 83, начальник спецкорпуса провел его через ворота своего отделения и нехотя козырнул на прощанье. Его, видимо, не оставляло тяжелое недоумение по поводу неожиданного визита и возможно, вызванное им смутное ожидание неприятностей. Корнев тоже полагал, что у этого хмурого тюремщика должны быть достаточные основания для такого беспокойства. Ведь из его отделения до прокуратуры только каким-то чудом добралось единственное заявление от заключенного, да и то написанное кровью. Впрочем, он, несомненно, всего лишь исполнитель чьей-то воли, пешка.

Из тюрьмы Корнев, не заходя в прокуратуру, отправился домой. Захватив там только чемоданчик с дорожными вещами, он поехал на вокзал. Сегодня его непоявлением на службе коллеги будут только несколько удивлены. Завтра они решат, что он заболел. Когда же выяснится, что их коллега нарушил нормы поведения советского служащего, станет ясным также, что он сделал это ради цели, способной оправдать и куда большие нарушения. Ближайший поезд на Москву отходил во второй половине дня. Следующий за ним был только ночью. Ждать этого, второго поезда, было уже опасно.

Если бы лишь тысячная часть заявлений от арестованных на имя генерального прокурора Союза ССР Вышинского достигала адресата, то и тогда он вряд ли смог бы даже бегло просмотреть их. Но на пути бесчисленных жалоб на всевозможные несправедливости из следственных тюрем было воздвигнуто достаточно преград, начиная с тюремных печек, чтобы почти ни одна из них не могла отвлечь главного законника Союза от более важных дел. Именно так обстояло дело и с заявлениями от уже осужденных, поступающими, главным образом, из лагерей принудительного труда. Теперь простое уничтожение этих заявлений считалось уже неполитичным, и большая их часть благополучно добиралась до Главной прокуратуры. Но дальше канцелярии секретариата они обычно не попадали. Особенно если заявление исходило от осужденного

по политической статье. Многочисленный штат прокуроров низшего ранга, прочтя только «установочные данные» жалобщика и номер его «почтового ящика», переписывали их на печатный бланк, в котором четким типографским шрифтом жалобщик уведомлялся, что оснований для пересмотра его дела «не установлено». Никакой волокиты и особых промедлений при этом не допускалось. Машина Верховной прокуратуры работала четко и слаженно.

Ее руководитель, он же директор Всесоюзного института Права, если не было срочных дел вроде организации очередного процесса над контрреволюционерами, был поглощен теоретическими вопросами. Вышинский разрабатывал проблемы советского уголовного права применительно к условиям той обостренной классовой борьбы, которая, как это и предсказывал товарищ Сталин, разгоралась все сильнее. Борьба эта требовала отказа от обветшалых гуманистических догм вроде пресловутой «презумпции невиновности». Подобные пережитки буржуазно-интеллигентских взглядов на права подозреваемого в преступлении, особенно если оно носит контрреволюционный характер, мешали борьбе пролетарской диктатуры против своих внутренних врагов и были теперь отменены. Освободившись от вредного балласта, советское Правосудие сразу же, как орудие классовой борьбы, приобрело неслыханные дотоле гибкость и действенность. Теперь стало возможным обезвреживать не только проявивших себя в действии, но и потенциальных врагов революции. Причем на основе только такого психологического настроения, который следует предполагать во многих из советских граждан, исходя из их классового происхождения. Не может же желать добра советскому государству сын экспроприированного капиталиста или раскулаченного деревенского богатея! А значит, он может совершить против нее преступление. Так учит товарищ Сталин. Но блестяще себя оправдывая, подобные положения революционной юридической практики требовали подведения под них теоретической базы. Бесцеремонно расправляясь со своими врагами, в том числе «потенциальными», первое в мире социалистическое государство не хотело, чтобы его считали чем-то вроде государства Зумба-Юмба, из популярного на Западе политического шоу тех лет. Кроме того,

всякая «теория» в политике, в том числе законодательной, это прежде всего руководство к действию для тех, кто такую политику захочет воспроизвести в странах, очередь которых становиться на путь строительства социализма еще впереди. Диктатура сталинского типа, будучи первой в истории, отнюдь не собиралась стать последней, и она всячески содействовала профессору Вышинскому, в недалеком будущем академику и сталинскому лауреату, в создании им новой юридической теории, основанной на учении Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина о государстве победившего пролетариата.

Творческая разработка Генеральным прокурором советской правовой науки была у него неразрывно связана с активной практической деятельностью. Это главным образом его усилиями была доказана возможность объединения во всевозможные политические «блоки» контрреволюционеров самых разных, казалось бы исключаящих друг друга, направлений и мастей: левых и правых партийных фракционеров, мягкотелых эволюционистов меньшевистского толка и сторонников политического террора, бывших каторжан-большевиков и бывших платных агентов Третьего отделения. Теоретическая обоснованность образования политических объединений еще более расширила оперативные возможности органов государственной безопасности. И очень облегчила для советской прокуратуры и судов по делам контрреволюции деятельность по обвинению и осуждению врагов народа. Теоретику Вышинскому очень помогла, несомненно, его личная прокурорская практика. Начиная с процесса шпионов и вредителей из фирмы «Метро-Виккерс»¹ в 1933 году, он выступал как государственный обвинитель на большей части особо важных судебных процессов над государственными преступниками. И на всех этих процессах постоянно проявлял непоколебимую большевистскую твердость и принципиальность.

И все же, несмотря на свое членство в Российской социал-демократической партии чуть не с первых лет ее существования, один из крупнейших деятелей советского государства большевиком был отнюдь не всегда. В ВКП(б) будущий

¹ В 1933 г. по обвинению в шпионаже были арестованы служащие английской электротехнической компании «Метро-Виккерс». Главным обвинителем по этому делу был Вышинский.

Генеральный прокурор Союза вступил только после окончательной победы Красной Армии в гражданской войне.

В начале века, в первые годы после первой русской революции, студент юридического факультета Киевского университета, адвокат с 1913 года, будущий «сталинский Торквемада» принадлежал к меньшевистской фракции русских социал-демократов. Отстраненный за свои политические взгляды от подготовки на профессорскую должность при университете, Вышинский не был, тем не менее, сторонником радикальных революций. Вместе с товарищами по меньшевистской партии, впоследствии объявленной Лениным «злейшим врагом революции и рабочего класса», он разделял эволюционистские взгляды на историю. Социализм является мечтой угнетенных классов и всех прогрессивно мыслящих людей. Но единственно верный и относительно безболезненный путь к нему пролегает через буржуазную демократию, парламентаризм и легальную борьбу рабочего класса за свои политические права. Путь этот долог и извилист. Попытки грубо, по-носорожьей спрямить этот путь не способны принести ничего, кроме братоубийственных войн, разрухи и одичания народа, имеющего несчастье взрастить в своих недрах слишком много нетерпеливых и горячих голов. Об опасности преждевременных пролетарских революций предупреждал еще сам Маркс с его выводом о неизбежности и целесообразности таких революций только в странах развитого капитала. Первый русский марксист и друг Энгельса Плеханов считал, что в России с ее экономической и культурной отсталостью преждевременной является даже сама постановка вопроса о захвате в ней власти рабочим классом. Этому классу, учили вожди меньшевиков — Мартов, Дан, Аксельрод, нужна не борьба с либеральной буржуазией, а своего рода союз с ней. И не только на время буржуазно-демократической революции, как полагал в начале века и вождь большевиков Ленин, а всегда.

Голоса сторонников социальной эволюции, допускавших лишь умеренные революционные скачки, звучали весьма убедительно и не могли не отразиться на политическом мышлении трезвого рационалиста Вышинского.

Произошло, однако, исторически наименее вероятное. Умело использовав единственное в своем роде состояние

и распределение социальных и политических сил в России, сравнимое по своей неопределенности лишь с некоторыми периодами Смутного времени, власть в ней захватили большевики. Те самые большевики, которых до этого как политическую партию, никто особенно всерьез не принимал. Они были активны, но относительно малочисленны. И почти неизвестны в народе, если не считать некоторой части солдат-фронтовиков, спровоцированной газетой «Окопная правда», и питерских рабочих. А главное, их идеи, особенно идеи мировой социалистической революции, были чужды крестьянской массе, основной, хотя только еще пробуждающейся, политической силы России. Революционность русского крестьянства, да и то только беднейшей его части, не шла дальше мысли о разделе между бедняками-хлеборобами жирного блина помещичьей земли. Несмотря на свою бедность, это была та стихия, которую Маркс называл мелкобуржуазной. В океане этой стихии мало кто даже слышал его имя. Как, впрочем, и в массе русских рабочих, составлявших лишь три с половиной процента от тогдашнего населения России. Даже при отнесении к рабочему классу тех двух с половиной миллионов батраков, которые все еще оставались полукрестьянами, особенно по складу своего социального мышления.

Совершившаяся в полуфеодальной империи пролетарская революция произошла как бы в нарушение исторических законов, в том числе и формул общепризнанного теоретика подобных революций — Маркса. Поэтому большинство опытных политиков, как в России, так и на Западе, не приняли ее всерьез. В худшем случае — она нечто вроде Парижской коммуны. Огромным толпам охтинских рабочих, оставивших фронт солдат и покинувших свои корабли балтийских матросов не трудно было сломать слабое сопротивление охраны Зимнего — безусых юнкеров-необстрелков и полуопереточной женской гвардии позера и фразера Керенского. И объявить низложенным его слабое и нерешительное по причине своей разношерстности, избыточной интеллигентности и размагничивающего чувства временности Временное правительство. Но это — начало, не имеющее продолжения. Большевики не смогут решить бесчисленного множества проблем, вставших перед ними после захвата власти, — политических, военных,

финансовых, экономических. Сами они ничего не умеют, а поддержки себе не найдут ни в ком, кроме разве ничтожного числа индустриальных рабочих. Мужик же русский их просто не поймет. Но тот же мужик был весьма склонен прислушиваться к программе «социализации» земли, т. е. справедливого раздела всех имеющихся в государстве пахотных земель между семьями землепашцев в зависимости от размеров этих семей, которого требовала партия социал-революционеров. Большевики пошли на союз с этой партией, хотя, наверное, уже тогда они считали его не более чем временным тактическим приемом. Присоединенный к их лозунгам эсэровский лозунг «Вся земля — крестьянам» не замедлил сыграть свою решающую роль. В сочетании с требованием мира любой ценой, пусть даже «похабного», он почти мгновенно превратил русских солдат сначала в дезертиров, а потом и в бойцов революции. Но революции гораздо в большей степени крестьянской по сути, чем рабочей.

Ленинский принцип превращения войны империалистической в войну гражданскую на территории бывшей империи восторжествовал быстро. Толчком к этой войне послужил массовый «красный террор», объявленный большевиками в ответ на попытку чиновников-специалистов оказать сопротивление новой власти при помощи забастовок и саботажа и мелкие пока контрреволюционные заговоры офицерства и буржуазии. После расстрелов в Петрограде волны политической ненависти покатались по России, вызывая массовые убийства, казни, погромы и пожары. Масштабы жестокости и затяжной характер начавшейся гражданской войны вряд ли предвидел даже Ленин. Все противоречия — классовые, сословные, национальные, накопившиеся за сотни лет существования огромной империи, проявились и нашли свое выражение в этой кровавой всероссийской свалке. Много раз казалось, что русскому государству наступает конец и что его народ, изнемогший от идейного разброда, голода и разрухи, вот-вот навсегда потеряет свою национальную самостоятельность и политическое значение в мире. Он, однако, выстоял и на этот раз. А бывшая монархическая держава превратилась в страну «победившего пролетариата». Точнее, в государство партии большевиков.

Теперь о случайности этой победы не могли говорить даже самые ярые из противников большевизма. Было совершенно очевидно, что она явилась результатом героизма и самоотверженности бойцов Красной Армии, воодушевленных идей организации справедливого социального строя. Но это было только одной из причин успеха. Вряд ли даже эта фантастическая самоотверженность и идейное единство спасли бы большевиков от поражения, если бы не их руководство во главе с Лениным. Оно сочетало энтузиазм и решительность со способностью политического предвидения и не гнушалось проявлениями макиавеллизма, когда дело шло о судьбах Революции. Большевистский Центральный комитет, в конечном счете всем руководивший и за все отвечающий, твердо соблюдая главное направление революционной и военной стратегии, в тактических деталях проявлял маневренность и гибкость, нередко весьма далекие от рыцарских методов ведения войны. При высокой гуманности конечных целей революции, объявленных ее вождями, для них была характерна беспощадная жестокость не только к политическим противникам, но и к своим, если они допускали колебания, нерешительность или малейшее сомнение в верности большевистских догм. Практически не принимавший участия в начавшейся после Октябрьской революции вооруженной политической борьбе, бывший участник студенческих сходок и митингов, Вышинский мог со стороны наблюдать разницу в результатах между тактикой интеллигентного гуманизма и политической «порядочности», столь свойственных его собратьям по меньшевистской партии, и макиавеллиевской практикой большевистского руководства. Чего стоила уже только одна способность этого руководства идти на соглашения и даже политические союзы со своими идейными противниками с заранее продуманным намерением их потом уничтожить! Так поступили с теми же эсэрами и батькой Махно после того, как соглашение с ними о пропуске красных войск через Гуляй-Поле в тыл врангелевцам решило исход гражданской войны. Так же поступили и со многими националистическими группировками и даже с шайкой Мишки Япончика, когда эта шайка помогла красным овладеть Одессой. Большевики не гнушались даже такой мелочью.

История судит не за методы и цели политической игры, а за проигрыш в ней. Вероятно, это был главный вывод, сделанный молодым меньшевиком. А из него следовал другой, касающийся уже личной судьбы самого наблюдателя: если не хочешь со своим пронзительным умом и высокой образованностью без остатка раствориться в политическом небытии, ступай на поклон к большевикам и обещаешь служить им с той верностью, на которую способны только ренегаты!

Большевики, несомненно, тоже знали эту особенность перебежчиков. Но их недоверие к интеллигентам вообще, а тем более к бывшим инакомыслящим, да еще чуждого классового происхождения, уже тогда являлось одним из краеугольных камней их партийной политики. Нужда, однако, способна заставить поступиться даже политическими принципами. А она в те годы была на образованные кадры чрезвычайно острой. Чуть не вся русская интеллигенция или погибла в вихрях гражданской войны, или оказалась в эмиграции. Раскаявшийся меньшевик Вышинский в 1920 году был принят в члены ВКП(б).

А вот уверовал ли он в ленинское толкование Марксовой «перманентной» революции или только прикинулся уверовавшим, остается неизвестным. По Марксу непрерывное политическое и идеологическое насилие над непролетарскими элементами, составляющее суть такой революции, может привести к успеху только в том случае, если осуществляющий это насилие рабочий класс сам достиг уже известной степени развития. По Ленину это необязательно. И классовое насилие, если оно проводится достаточно последовательно и на протяжении жизни целого поколения, а то и двух, способно преодолеть даже первоначальное несоответствие производительных сил страны той сверхпрогрессивной общественной формации, которая объявлена в этой стране официально доминирующей. Именно так и обстояло дело в Советской России, унаследовавшей от России царской слаборазвитую промышленность, к тому же разрушенную войной, и малокультурный рабочий класс.

Вряд ли с молодых ногтей изучавший марксизм, да еще с позиций критического к нему отношения, Вышинский не знал настоящего предупреждения основоположника

этого учения о том, что в случае, если пролетарская диктатура возникает исторически преждевременно, возможно ее перерождение в диктатуру единоличную. А это означает возникновение культа непререкаемых вождей, подобострастных сословных иерархий, в которых главными считаются не деловые качества составляющих эту иерархию чиновников, а их угодливость и преданность вышестоящим по служебной лестнице. Не прошедшие школы буржуазной демократии, народные массы будут в таких условиях все больше скатываться в глубины политического инфантилизма. Знал Вышинский, конечно, и опасения Ленина о возможной судьбе им же изобретенного «демократического централизма». После его смерти эта система могла легко переродиться в централизм бюрократический.

Возможно даже, что вероятность всех этих перерождений большевистской революции не только не удерживала бывшего поборника демократических свобод от становления на путь служения откровенному политическому насилию, но даже способствовала ему. Как показало будущее, Вышинский принадлежал к той же породе людей, что и Жозеф Фуше¹, например. А такие люди не хуже, а лучше других понимают, что путь к тирании часто пролегает через революцию. Тирания же — сила, а силе надо служить. И не так уж важно, как назовут тебя твои современники, а может быть и потомки, новым Фуше или просто «Иудушкой-Вышинским», как звали генерального прокурора СССР многие из жертв Тридцать Седьмого года.

Однако первоначальное его восхождение по ступенькам служебной иерархии было явно нелегким, довольно медленным и совсем не прямым. Видимо, не очень помогало даже торжественное отречение от своих прежних политических заблуждений. В первые годы после вступления в победившую партию Вышинский занимал сначала должности, означавшие

¹Фуше (Fouche) Жозеф (1759—1820) — французский политический и государственный деятель. Голосовал за казнь Людовика XVI. При Наполеоне стал министром полиции и создал систему политической разведки и шпионажа. Вступил в тайные переговоры с Великобританией и уличенный в двойной игре был уволен. После поражения Наполеона поддерживал Бурбонов, в период «Ста дней» снова перешел на сторону Наполеона и опять занял пост министра полиции. Затем снова предал Наполеона, после чего был опять назначен министром полиции.

больше ее доверие к его профессиональной подготовке, чем доверие политическое, — преподаватель Московского университета, декан экономического факультета института имени Плеханова. Но затем большевик-неофит уже прокурор уголовной коллегии Верховного Суда. В середине 20-х годов чисто юридическая стезя снова прерывается его ректорством в МГУ и членством в коллегии Наркомпроса. И только в начале 30-х профессор Вышинский снова возвращается к практической работе, причем на самый крутой ее участок. Он — главный прокурор Российской Федерации, заместитель наркома юстиции РСФСР, а с 1935 года — генеральный прокурор Союза, сменивший на этом посту врага народа Крыленко.

Вряд ли, однако, послужной список Вышинского способен сам по себе пролить свет на его подлинную роль во многом, что касалось борьбы с инакомыслящими и классово чуждыми. Точнее, с их истреблением. Находились люди, утверждавшие, что это он разработал способы организации в Советском Союзе того единственного в своем роде типа политических судебных процессов, которые, начиная с двадцатых годов, все более смахивали на хорошо отрепетированные спектакли. Одни из участников этих спектаклей произносили грозные обвинительные речи и выносили свирепые приговоры, другие почти неизменно соглашались с обвинением и каялись в содеянных преступлениях. Иногда они просили о снисхождении и пощаде, чаще — нет, но не получали их никогда. Случаев оправдания подсудимых на политических процессах советская судебная практика не знала ни тогда, ни позже.

В пользу гипотезы о том, что высокоученый юрист Вышинский, прежде чем стать Великим Инквизитором «государства Сталина» по должности, был в этом государстве фактически главным инквизитором уже давно, говорит многое. И не только его быстрое возвышение после дела «Метро-Виккерс». Уж очень ко времени, как раз к началу знаменитой «ежовщины» тридцатых годов, поспела его новая передовая правовая теория, являвшаяся по существу возрождением самых диких средневековых взглядов на методы следствия по делам о государственных преступлениях и судопроизводства по таким делам. Вряд ли эта теория возникла в отрыве от соответствующей практики. Вышинский не был возведен

партийной пропагандой в ранг «друга и соратника» Сталина. Но он был, несомненно, его постоянным консультантом по вопросам, требующим особой ловкости по части изобретения казуистических догм, оправдывающих свирепую инквизиционную практику НКВД. Иезуитский склад мышления Вышинского, его умение играть на слабых сторонах человеческой психики — страхе, надежде, склонности к предательству, простоватой доверчивости, были, вероятно, главными качествами, сделавшими его главой советской дипломатии ее первых послевоенных лет. Фактически «первый среди вторых» в правительстве СССР последних лет жизни Сталина, бывший меньшевик, кажется единственный, удостоенный этой чести, состоял также в большевистском ЦК. Но самым бесспорным доказательством незаменимости Вышинского является то, что он пережил своего хозяина. Большевистский диктатор не позволял этого никому, кто исчерпал себя как ближайший советник или исполнитель его воли. Особенно когда дело шло о темных сторонах государственной и партийной политики. Примеров тому множество. И судьба «сталинского наркома» Ежова — не первый среди них и не последний.

Свое положение «оседлавшего тигра» Вышинский, конечно, понимал. Особенно верно такое сравнение по отношению к периоду, когда он занимал пост Генерального прокурора страны. Начав политическую скачку в головном отряде беспощадного «любителя острых блюд», он не мог ни остановить своего «коня», ни соскочить с него, не будучи немедленно уничтоженным. Но и оставаясь в седле, ученый подручный Сталина по законообразному оправданию его бесчисленных расправ над своими политическими противниками, в подавляющем большинстве созданными почти патологической подозрительностью правителя, вряд ли мог быть уверенным, что и сам он не вылетит из этого седла в любую минуту. А это означало скатывание в ту же яму, не только политического, но и физического небытия, которую он так усердно помогал рыть своему шефу для многих и многих тысяч ни в чем не повинных людей. Звание ученого инквизитора при особе беспощадно жестокого «Иосифа Первого», волею перманентной революции ставшего безраздельным властелином одной шестой земной тверди, вряд ли доставляла много радостей его

обладателю. Вышинский этого периода, по воспоминаниям знавших его людей, был почти постоянно озабочен и хмур. Но это, по-видимому, вызывалось отнюдь не тем, что принято называть угрызениями совести. Совесть — это для людей, не способных подвести под свои действия, обычно ввиду их малости, философской базы оправдания этих действий их исторической целесообразностью. Давно известно, что убившему одного человека грозит всеобщее осуждение, отвержение общества, виселица или, в лучшем случае, тюрьма. Убийца же миллионов, поскольку он всегда действует во имя какой-то идеи, награждается благодарной признательностью своих единомышленников, прижизненной и посмертной славой, глухим признанием даже со стороны врагов. И особенно легко оправдаться перед самим собой убийце, так сказать, «кабинетному», каким был «теоретик» Вышинский. В этом ему помогало, вероятно, и то, что разделяя веру своих далеких предшественников — инквизиторов святой католической церкви — в костры, дыбы и виселицы, их веры в Бога и загробную жизнь главный прокурор атеистического государства, конечно, не разделял. И мог позволить себе роскошь быть в частной жизни человеком общительным, остроумным и даже веселым. Андрей Януариевич был интересным лектором и собеседником, а на дипломатических балах и раутах времен своей службы министром иностранных дел слыл даже среди французских дипломатов «душой общества». Но это в периоды, когда дамоклов меч возможного решения Вождя о его ненужности над Вышинским уже не висел.

И лежа без сна ночью на верхней полке бесплацкартного вагона — спальное место можно было купить только в очереди для командировочных, и ожидая ранним утром у здания Главной прокуратуры СССР ее открытия, и уже стоя в очереди людей, записывающихся на прием к Генеральному прокурору, Корнев испытывал нарастающий страх перед возможностью быть не принятым. Сначала он об этом как-то не думал. Но чем дальше, тем больше мысль о такой неудаче становилась все более пугающей. Она была весьма реальна. Как всякий большой государственный человек, Вышинский мог отме-

нить прием, вообще-то значащийся в расписании его приемов, в тот день, когда Корнев приехал в Москву. Его могли вызвать на важное совещание в Кремль, он мог отлучиться из столицы. Кроме того, даже главный прокурор Союза все-таки человек, не заговоренный от недомоганий и болезней. Наконец он может просто отказать в приеме какому-то незначительному прокуроришке из провинции, не имеющему к нему официального направления. А дело идет не о приеме вообще, которого, наверно, в конце концов, добиться можно, а о приеме немедленно, сегодня же! Промедление с этим хотя бы на один день может оказаться для человека, принявшего на себя роль доносчика на опасных преступников из наркомата Внутренних дел, роковым. Эти преступники не могли, конечно, не заметить поспешного и формально незаконного выезда Корнева из города. Возможно даже, они проследили, что он отправился в Москву. Нетрудно, конечно, поставить в причинную связь срочный отъезд подозрительно настырного прокурора с его посещением камеры врага народа Степняка.

Этот прокурор знал уже, что вредителям из областного управления НКВД нужно всего несколько часов, чтобы оформить законообразную санкцию на арест любого неугодного им человека. Скорее всего, ордер на арест некоего Корнева уже выписан. С этим документом посланные за ним «альгвазилы» могут не только сами схватить этого гражданина прямо на какой-нибудь московской улице, но и обратиться за содействием в столичные органы милиции и государственной безопасности. Ведь он для них — всего лишь очередной враг народа, уклоняющийся от законного ареста. Дальнейшее не вызывает никаких сомнений. В областной прокуратуре не только пальцем не пошевелят, чтобы выручить попавшего в беду коллегу, но не попытаются даже узнать, за что он арестован. И он разделит участь Степняка и множества других, подлинных советских людей, угодивших в лапы коварных вредителей, напавших на себя маски сталинских чекистов.

Предотвратить подобный исход событий может только человек, обладающий властью всесоюзного масштаба. Одним из таких людей является Генеральный прокурор Союза. Но

дежурный в приемной, подозрительно глядя на усталого молодого человека в измятом плаще, сказал именно то, чего Корнев боялся больше всего. Не только по личным, но и по служебным вопросам Генеральный принимает почти исключительно по вызовам Главной прокуратуры. Напрасно Корнев показывал ему свое прокурорское удостоверение и уверял суховато-корректного чиновника в аккуратно отутюженном костюме, что явился сюда по государственному, притом весьма важному делу. Секретарь пожимал плечами. Если это так, то почему прокуратура, в которой работает товарищ, заблаговременно не позаботилась о получении им аудиенции у Генерального? Почему, на худой конец, у Корнева нет даже командировочного удостоверения, подтверждающего, что у него вообще есть какое-то поручение в Главную прокуратуру? Нет, он не может включить его даже в список лиц, вопрос о приеме которых находится под сомнением и решается самим Генеральным...

Корнев и сам понимал, что производит странное и невыгодное впечатление. Он действовал непродуманно и неосмотрительно, почти по-ребячьи наивно. И, похоже, провалил из-за этого все свое начинание. Хуже всего, что у него, наверно, нет уже времени, чтобы, если он не попадет к Вышинскому, обратиться в ЦК партии или ЦИК Союза, как это советовал Степняк. Не исключено, что уже при выходе из этого здания его встретят двое в штатском, один из которых вежливо приподнимет шляпу: «Гражданин Корнев, кажется?» То, что это будет означать крушение всей его жизни, может быть даже его скорую гибель, еще полбеды. Худшее заключалось в том, что, расправившись с незадачливым доносчиком, пытавшимся пресечь их зловредную деятельность, вредители из областного Управления НКВД будут продолжать свое черное дело по истреблению невинных людей. Корнев почувствовал, что почва уходит у него из-под ног.

Случается, однако, что человек делает в состоянии крайней тревоги или возбуждения как раз то, что в создавшейся обстановке наиболее действенно. Внешне бесстрастный чиновник в приемной Главной прокуратуры привык, вероятно, ко многому. Но и на него произвел впечатление вид молодого

го посетителя с побледневшим лицом, дрожащими руками достающего красный прямоугольник партбилета.

— Вот... Я член партии... — Срывающимся голосом Корнев сказал, что приехал сообщить Генеральному прокурору нечто особо важное и не терпящее отлагательства. Причем непременно лично ему и с глазу на глаз. Бумаге доверять, как предлагает товарищ секретарь, этого нельзя.

Секретарь заколебался. Что, если этот странный парень и в самом деле привез с собой какое-нибудь важное сообщение? Тогда за избыток усердия в недопущении его к шефу можно заработать от этого шефа лишний нагоняй. Он явно не обманщик, а сумасшедшего на его должности не держали бы.

— Хорошо. Я доложу о вас Генеральному и в начале приема сообщу вам его решение... Подождите в приемной...

Время тянулось томительно медленно. Сидя в удобном кресле в дальнем углу большой, несколько старомодно обставленной комнаты, Корнев терзался неизвестностью. В эти часы, возможно, решалась его судьба. И еще судьба многих людей, которых он хочет спасти от произвола местных властей. Как странно, что на пути к их спасению находится всего лишь вон та высокая, плотно закрытая дверь. Да еще дежурящий возле нее цербер в строгом костюме. Что если пренебречь этими, условными по сути, препятствиями? И если ему будет объявлено об отказе в приеме, ворваться в кабинет Генерального и крикнуть ему, что он не уйдет из этого кабинета, пока не будет выслушан? Чепуха, конечно. Его просто скрутят и выволокут вон. То же будет, если попытаться подойти к Верховному прокурору, когда тот будет садиться в машину. Нет. Все будет чинно и по правилам. Даже то, как встретят его на улице те двое неизвестных... Интересно, какие они будут с виду? Молодые или не очень? Угрюмые или нахально-веселые?

На столике дежурного секретаря негромко зазвенел звонок. Дежурный встал, собрал со стола несколько бумажек и торопливо скрылся за дверью кабинета главного прокурора. Приемная, которая была уже почти заполнена посетителями, большей частью солидными людьми с дорогими портфелями, оживилась. Многие явились сюда лишь незадолго до объявленного начала приема. Такие проходили прямо к столику секретаря и называли ему свою фамилию. Секретарь находил

ее в одном из своих списков, делал в нем пометку и вежливо просил товарища подождать. Он будет вызван, когда подойдет его очередь. Да, действительно, Генеральный принимал посетителей по заранее подготовленным спискам. Корнев был тут нарушителем установленного этикета, простофилей, залезшим не в свои сани. Несколько минут, которые секретарь провел за дверью кабинета, показались ему бесконечными. Он видел, как этот чиновник захватил с собой и ту папку, в которой была записана его фамилия. И когда тот вышел, наконец, из-за заветной двери, непроизвольно поднялся ему навстречу.

Секретарь назвал фамилию одного из ожидающих, первым сегодня удостоенного права войти в кабинет Верховного блюстителя законности в СССР. Это был человек в ранге прокурора небольшой республики. Но и он заметно волновался, берясь за ручку двери этого кабинета.

Затем дежурный подошел к Корневу. Подчеркнуто сухо он объяснил ему, что Генеральный, вопреки ожиданию, согласился его принять. Посетителю, однако, следует помнить, что он явился к одному из самых занятых людей государства. И быть предельно кратким, не отнимать у него драгоценное время. Две-три минуты, не больше!

Корневу пришлось сделать над собой усилие, чтобы, после того как спало напряжение ожидания и страха, не плюхнуться обратно в кресло. Опасность, нависшая было над ним, миновала. А в том, что верховный прокурор согласился принять человека, минуя установленную здесь процедуру, был добрый знак. Он восстанавливал поколебавшуюся было уверенность Корнева в том, что на главных постах в Советском государстве находятся люди, чуждые зазнайству и бюрократизму, столь свойственных провинциальным чинушам. Даже этот охранитель двери своего шефа не так уж плох. Доложил ему, как обещал, о необычном посетителе. Сказал, конечно, что тот взволнован, обещает сообщить что-то чрезвычайное... Иначе почему бы Генеральный согласился этого посетителя принять?

Теперь, когда прием у верховного прокурора был ему обеспечен, Корнев уже не хотел, чтобы его вызвали особенно скоро. Прежнее напряженное стремление сменила робость. Та беспричинная робость, которая всегда возникает перед

встречей с человеком, облеченным большой властью. И Корнев, облегченно вздыхая всякий раз, когда секретарь называл другую фамилию, самому себе объяснял это желанием получше внутренне отрепетировать предстоящую встречу. Он составил в уме, много раз меняя его редакцию, свое короткое и сжатое обращение к Генеральному, продумывал правила поведения, когда он войдет к нему в кабинет. И все-таки был застигнут врасплох, когда секретарь своим внятным голосом назвал его фамилию.

Возникшее замешательство, однако, почти сразу удалось подавить сознанием, что он явился сюда не как проситель, рассчитывающий на чью-то милость, а как человек, выполняющий высший гражданский долг.

За дверью, в глубине огромного кабинета, за большим, почти пустым письменным столом сидел человек, внимательный, как бы изучающий взгляд которого Корнев почувствовал сразу же, как только открыл дверь. Уже по внешнему виду незнакомого посетителя хозяин кабинета хотел, видимо, составить о нем некоторое представление. Вышинский смотрел чуть исподлобья, хотя нельзя сказать, что он делал это слишком прямолинейно, с невежливой откровенностью. Но и этого было достаточно, чтобы он оставил у вошедшего впечатление чего-то колючего и цепкого.

Верховный прокурор огромной страны не демонстрировал перед посетителем своей чрезвычайной занятости, как это часто делают вельможи неизмеримо меньшего ранга. Он не разговаривал по телефону, не пересматривал никаких бумаг и вообще не делал ничего, что могло бы послужить напоминанием о его загруженности.

Едва заметный кивок седеющей головы, подстриженной коротким ежиком, означал, по-видимому, и более чем сдержанное приветствие, и приглашение сесть. Когда посетитель робко опустился на край одного из двух кресел, стоявших перед столом, Вышинский чуть разжал тонкие сухие губы:

— Я вас слушаю.

Корнев много раз мысленно отрепетировал не только текст своего обращения, но и, так сказать, его тональность.

Излишняя патетика нижайшего донесения и грубость солдатского рапорта были отброшены, и он остановился на тоне краткого, делового сообщения. Но и этого не получилось. В горле все время застревал сухой комок, который с трудом приходилось оттуда выталкивать, а голос срывался и сипел, как заигранная пластинка. Голова, однако, оставалась достаточно ясной, чтобы не растерять заготовленные если не слова, то мысли, и Корнев сообщил внимательно слушавшему его генеральному прокурору, что в качестве прокурора по надзору за местами заключения в городе, где он работает, он установил факты нарушения социалистической законности со стороны местных органов госбезопасности при ведении теми дел о каэр преступлениях. А также нарушения правил содержания подследственных, арестованных по подозрению в совершении таких преступлений.

Деревянной была конструкция вступительной фразы, деревянным был и голос, которым она была произнесена. Однако седеющий человек по ту сторону стола не проявлял ни нетерпения, ни раздражения. Ободренный Корнев продолжал. Ему известен факт многократного избиения арестованного на допросах в следственном отделе областного Управления НКВД. Есть основания для уверенности в том, что такие избиения и другие незаконные методы следствия в этом управлении носят систематический характер. Косвенным доказательством этого может служить незаконное лишение арестованных, содержащихся в политических тюрьмах области, возможности обращаться с жалобами и заявлениями в надлежащие инстанции. Вот возможно единственное из заявлений, каким-то образом проникшее в областную прокуратуру из политического отделения Центральной городской тюрьмы. Факт его исключительности, материала, на котором написано это заявление и способ его написания говорят о многом...

Корнев положил перед Вышинским полоску картона, испещренную каракулями Степняка. Тот взял ее в руки, внимательно прочел и, положив обратно, сухо спросил:

— А почему вы сообщаете об этих нарушениях мне, а не главному прокурору своей области?

Этот вопрос был естественным в устах руководителя государственного масштаба, непосредственной компетенции

которого подлежали только дела особого значения и важности. Корнев его ожидал и готовился к нему. От того, как он сумеет ответить на этот вопрос, зависело многое, практически все. Если Генеральный решит, что молодой прокурор из провинции без достаточных оснований нарушил служебную координацию и обратился к нему через головы областной и республиканской прокуратуры, он просто выставит его из кабинета. Из-под припущенных век глаза Вышинского смотрели сейчас особенно хмуро и колюче, хотя по-прежнему внимательно.

На вопрос Генерального надо было отвечать со всей откровенностью. И Корнев ответил, что он не верит в решимость местной прокуратуры вмешаться в дела областного управления НКВД. Более того, он боится, что эта прокуратура не захочет, да и не сможет защитить своего сотрудника, попытавшегося осуществить такое вмешательство, от расправы всесильных нарушителей законности. Получение ими прокурорской санкции на арест неугодного человека давно уже стало в их области пустой формальностью. Таким образом, обращение к своему начальству было для Корнева не только лишено практического смысла, но и явилось бы почти самоубийством. И он решил действовать не столько как служебное лицо, сколько как честный советский гражданин и член Партии. А для такого гражданина поиск Правды тем вернее, чем выше инстанция, куда он обращается. Корнев говорил теперь не механически, как вначале, а вполне человеческим, хотя все еще взволнованным голосом, больше почти не заботясь об официальной и профессиональной форме своего языка. Ему показалось, что глаза главного прокурора были уже менее колючими, когда тот спросил:

— И какую же цель, по вашему мнению, преследуют те нарушения законности, которые, как вы подозреваете, происходят в вашей области?

Этот вопрос обрадовал Корнева и возбудил в нем предчувствие успеха. Он означал, что Генеральный принял его объяснения и не только не собирается его выгонять, но и ограничивать аудиенцию теми двумя минутами, о которых строго предупреждал секретарь в приемной. Ответ же на заданный вопрос и составлял то самое главное, ради чего Корнев, сознательно идя на большой риск, и прибыл сюда. Уже не

заботясь даже об особой краткости изложения, он почти дословно повторил то, что слышал от Степняка в его камере и в чем теперь был уверен сам.

Не подлежит сомнению, что в управлении НКВД их области действует сплоченная и отлично организованная группа контрреволюционеров, маскирующихся под сталинских чекистов. Злоупотребляя доверием Партии и Народа, эти лжечекисты истребляют лучших людей области, обвиняя их в выдуманной контрреволюции. Таким образом они дезорганизуют ее хозяйственную деятельность, административное управление, дискредитируют советскую законность в глазах масс. Руководящие работники целого края, имеющего важное значение в масштабе всего Союза, запуганы или сбиты с толку вредителями из НКВД. Такое утверждение особенно верно по отношению к работникам прокуратуры и судов. Не исключено, что некоторые из них, хотя может быть и невольно, действуют по прямой указке контрреволюционеров из НКВД. Это тем более вероятно, что все, кто мог бы разобраться в политической обстановке в области и распознать скрытую враждебность в действиях местных органов государственной безопасности, предусмотрительно арестованы этими органами и многие, по-видимому, уже физически уничтожены. Те же, кто сменил на их постах опытных и преданных партии руководителей, либо некомпетентны в порученном деле, либо, если и догадываются, что рядом происходит что-то неладное, предпочитают делать вид, что ничего не замечают. Нас не трогай — мы не тронем... Имеются, наверно, и такие, которые как бы подкуплены своим неожиданным возвышением, обычно не соответствующим их способностям и служебному опыту. Корнев мог бы последовать их примеру. Но этому мешает его совесть гражданина, члена Партии и советского юриста. Он не может спокойно наблюдать, как совершаются преступления, носящие непрерывный и массовый характер. Они должны быть пресечены вмешательством высшей прокурорской власти. И как можно скорее. Каждый час промедления приносит новые жертвы...

Вышинский слушал сбивчивую речь молодого человека с холодным, но явно возрастающим интересом. Он его не торопил и не перебивал, хотя тот нередко повторялся, и его

гневная филиппика продолжалась не две, не три и даже не пять минут. Одной рукой Генеральный прокурор беззвучно постукивал по столу пальцами. Но это было постукивание не нетерпения, а задумчивости и, по-видимому, довольно глубокой, так как он не сразу подытожил речь Корнева, когда тот умолк.

— Значит, вы хотите, чтобы Главная прокуратура начала расследование, и притом немедленно, контрреволюционной, как вы полагаете, деятельности органов безопасности в вашей области. Я вас правильно понял?

— Совершенно правильно, товарищ Вышинский!

— В принципе это было бы возможно, если бы дело шло о частном лице или обычном государственном учреждении. Но органы наркомата Внутренних дел наделены в настоящий момент особыми полномочиями и пользуются, так сказать, почти полной автономией. Даже против отдельных их работников и даже Главная прокуратура Союза может возбудить следственное дело только по согласованию с руководством этих органов или вышестоящими лицами наркомата... — Вышинский говорил холодным, почти брюзгливым тоном. Корнев похолодел. Выходило, что значительная часть его возмущения бездеятельностью областной прокуратуры была не столь уж обоснованной. Так же как и его вера во всемогущество Верховного прокурора, который, кажется, ведет свою речь к отказу что-либо предпринять против преступников из НКВД. Надлежало, видимо, обращаться к самому наркому Ежову. Но теперь он уже вряд ли успеет это сделать...

Вышинский, однако, прямо не отказывал. Он сказал, что если имеются строго документальные доказательства нарушений законности в любом из учреждений наркомата Внутренних дел, то руководство этого наркомата безусловно не откажет в санкции на возбуждение уголовного дела против виновных в таких нарушениях.

— Товарищ... — он заглянул в лежавший перед ним список, — Корнев сказал, что лично наблюдал на теле такого-то арестованного следы пыток. Он может подтвердить свое наблюдение актом медицинского освидетельствования?

Корнев растерянно ответил, что это тот самый заключенный, который собственной кровью написал заявление в областную прокуратуру. Он — старый большевик и бывший

руководящий партийный работник. Корнев, вероятно, не сумел объяснить генеральному прокурору, что смог пройти в камеру этого арестованного, только преодолевая явное нежелание начальника тюрьмы устроить его встречу с прокурором. И этот начальник, несомненно, нашел бы сколько угодно поводов оттянуть назначение к нему медицинской комиссии на время, достаточное, чтобы засадить в тюрьму и самого строптивого прокурора. Можно не сомневаться, что он и его старшие помощники состоят в сговоре со своими преступными хозяевами из областного управления НКВД. Поэтому Корнев решил рассчитывать только на чисто человеческое доверие к его сообщению со стороны Генерального прокурора. Он не знал, что даже негласное дознание в отношении работника НКВД требует документального обоснования.

— Для юриста это неосмотрительно. Но положение поправимо. Возвращайтесь к себе и присылайте в Главную прокуратуру акт освидетельствования арестованного, подвергнутого, как вы утверждаете, незаконным методам ведения допросов. Я вам обещаю, что расследование этого дела будет начато немедленно...

Рекомендация генерального прокурора звучала почти как издевательство. Неужели он не понимает, что если Корнев вернется от него ни с чем, то как нарушитель служебной субординации и прогульщик он будет сразу же отстранен от своей должности? И все равно арестован, хотя, может быть, уже без особой спешки. Контрреволюционеры из областного Управления вряд ли потерпят, чтобы на воле оставался человек, кое-что знающий об их темных деяниях.

Свершилось, по-видимому, худшее. Генеральный прокурор просто не поверил ни одному слову доносчика, считая его донесение совершенно невероятным. Но не говорит этого прямо, а просто выпроваживает его восвояси без всяких последствий. Корнев поднялся со своего места, теребя побелевшими пальцами портфель и чувствуя, уже второй раз за сегодня, как под ним качается добротный, в крупную шашку, паркетный пол.

Вышинский, однако, его не выпроваживал, хотя и не приказал сесть снова. Вошел знакомый секретарь, вызванный им, видимо, незаметным нажатием кнопки.

– Выдайте товарищу Корневу, – Генеральный прокурор теперь уже хорошо помнил его фамилию, – справку, что он был у меня на приеме. Адресуйте ее областному прокурору, в подчинении которого состоит Корнев. Да, еще... Обеспечьте ему обратный проезд из билетной брони Главного прокурора.

Секретарь почтительно нагнул голову, а Вышинский обратился уже к Корневу:

– Все сказанное здесь изложите в форме краткого, но обстоятельного доклада. Конечно, в качестве приложения к документу, о котором мы говорили. Это, – он протянул Корневу записку Степняка, – приложите тоже. Документ такого рода может иметь вспомогательное значение. – Уже менее сухой, чем при встрече, но по-прежнему короткий кивок головы означал, что затянувшаяся аудиенция окончена.

Корнев шел к выходу из кабинета впереди секретаря Вышинского, учтиво уступившего ему дорогу. Пол под ним снова обрел устойчивость и твердость. Как мог он подумать, даже только на минуту, что выдающийся своим умом и партийной принципиальностью главный руководитель советской юстиции отнесется к его сообщению с равнодушным чинуши-формалиста? Ведь он, кроме всего прочего, еще и политик, обязанный соблюдать во всех своих действиях необходимую осторожность. Даже против областных филиалов всемогущего наркомата Вышинский не может действовать сплеча. Тем более по голословному заявлению какого-то парня из провинции, пусть даже занимающего прокурорскую должность! Поэтому Генеральный не отправил в его область следственной комиссии, не снабдил его охранной грамотой, которая так бы прямо и называлась. Однако простенькая справка из канцелярии Главной прокуратуры, которую он сейчас получит, будет служить смелому доносчику именно такой грамотой. Косвенно свидетельствуя, что генеральный прокурор Союза уже знает о вопиющих нарушениях законности в области, где работает Корнев, она делала его арест только лишним подтверждением верности его доноса. Даже если преступники из областного управления НКВД уже имеют на руках подписанный ордер на арест зловредного прокурора, они вряд ли теперь дадут ход этой бумажке. Отдавая распоряжение о выдаче своему посетителю невинной с виду справки,

Вышинский делал простой, но гениальный ход в том направлении, в котором Корнев ожидал от него шумных, едва ли не сенсационных действий. Но теперь он и сам понимал, что это было немыслимо со стороны опытного юриста и осторожного политика. Ведь молодой прокурор, сделавший ему искреннее, но голословное сообщение о безобразиях в своей области, мог и несколько сгустить краски, и дать известным ему фактам слишком субъективное истолкование. Другое дело, если этот прокурор, пользуясь незримым покровительством генерального прокурора, добьется немедленного освидетельствования человека, подвергнутого пыткам в следственном отделе областного Управления, и пошлет в Главную прокуратуру протокол этого освидетельствования. Тогда пусть пока отдельный, но предельно красноречивый случай из следственной практики областных органов госбезопасности, послужит поводом для более широкого обследования их деятельности. А от такого обследования всего лишь шаг к обобщающим политическим выводам.

Не хотел бы Корнев быть сейчас на месте лжечекистов из своей области, банде которых он объявил уже открытую войну. Но борьба с этой бандой предстоит, вероятно, еще не легкая. По-видимому, входящие в нее главные тюремщики из Центральной, в которой томится Степняк, начнут придумывать всяческие проволочки с назначением арестованному медицинской комиссии. И если Корнев не сумеет настоять уже завтра утром на его врачебном освидетельствовании, то к вечеру того же дня Степняк может оказаться во внутренней тюрьме НКВД, куда доступ для представителя прокуратуры еще невозможней, чем в главную городскую тюрьму. А покада он этого доступа добивается, арестованного могут перебросить еще в какую-нибудь тюрьму в дальнем углу области. А оттуда еще в какую-нибудь... Не исключено даже, что преступники из НКВД попытаются уничтожить следы своих деяний ликвидацией самого их носителя. Что им стоит симулировать самоубийство заключенного, например? Впрочем, вряд ли они решатся на такую крайность. Во-первых, она будет шита такими же белыми нитками, как и арест доносчика, во-вторых, труп-то нельзя уничтожить! И все же действовать надо будет с наивозможнейшей быстротой и решительностью.

Вечером в четырехместном закрытом вагонном купе, в котором возвращался домой Корнев, пустовало только одно место. Два других были заняты молодыми инженерами, ехавшими, как и он, до конечной остановки. Инженеры были сотрудниками какого-то московского проектного института, по разработкам которого в городе Корнева производилась реконструкция большого старого завода. Как всегда в подобных случаях, осуществление проекта наталкивалось на множество неувязок и недоразумений, и его авторы не раз выезжали на место для их ликвидации. Не в первый раз ехали на подопечный завод и те два специалиста, которые оказались попутчиками Корнева. Поэтому они довольно хорошо знали не только сам завод, но и город.

Все это в первые же полчаса сидения в купе рассказал ему тот из них, который казался моложе — словоохотливый, по-видимому, весьма добродушный и общительный молодой человек. В противоположность ему его коллега был молчалив и почти угрюм. Общительный, как это часто делают в пути болтливые люди, полюбопытствовал, правда, достаточно деликатно, кто такой их попутчик, москвич ли он, и если нет, то по какому делу ездил в столицу? Корнев ответил, что он адвокат, член коллегии защитников. А был-де в Главной прокуратуре СССР по делам одного своего подзащитного. Это сообщение еще больше оживило Общительного. Представитель такой профессии, как адвокатская, должен много знать о преступлениях и преступниках! Будет очень интересно послушать его рассказы на эту тему. Однако мнимый адвокат не оправдал его надежд. Корнев сказал, что почти не спал всю предыдущую ночь, измотался за день и теперь хочет отоспаться в вагоне, так как завтра ему тоже предстоит очень нелегкий день. Начинать его он должен с самого утра, а поезд прибывает на место очень рано, но пока доберешься домой, ложиться опять будет уже некогда. Все это было чистой правдой.

Общительный сразу же согласился с Корневым, и тот, забравшись на верхнюю полку, где проводница уже постелила постель, постарался поскорее уснуть. Но удалось ему это не сразу. Сказывалось нервное напряжение истекшего

дня и неотвязные мысли о тяжелых хлопотах дня завтрашнего. Однако бессонница в молодые годы редко бывает особо упорной.

Проснулся Корнев от осторожного прикосновения. Его будил Общительный:

— Вставайте, товарищ адвокат! Через полчаса прибываем... — Сам он и его неразговорчивый товарищ были уже одеты и, судя по их мокрым волосам, уже побывали в туалете. Отправился туда и Корнев. Когда он вернулся и укладывал в свой чемоданчик мыло и зубную щетку, Общительный протянул ему билет, полученный у проводницы. Любезность услужливого парня этим не ограничилась узнав, что молодой адвокат, фамилию которого он не имеет чести знать, живет в том конце города, где находится реконструируемый завод, благодушный попутчик прямо-таки обрадовался возможности оказать ему уже существенную услугу. С этого завода за его постоянными консультантами должны были прислать машину. Было бы грехом не подвезти и своего соседа по купе. — Как, Вася, ты не возражаешь? — Вася, несмотря на всю свою упрямость, не возражал.

Правда, он выразил это только коротким кивком головы. Корнев принял предложение охотно и с благодарностью. Без него ему пришлось бы либо торчать на вокзале до времени, когда начнет ходить городской транспорт, либо шагать пешком почти через весь город.

Завод не обманул своих столичных гостей. На площади перед вокзалом среди немногочисленных автомобилей, ожидающих прибытия московского поезда, находился и выдавший виды заводской газик. Рядом с его водителем, хмурым, давно не бритым малым, уселся Общительный. Хмурость шофера объяснялась, наверно, необходимостью во время ночных дежурств спать в кабине своего драндулета, вместо того чтобы, как все люди, заниматься этим дома в постели.

Общительный пояснил, что едет он не на завод, как его товарищ по командировке, вынужденный пользоваться услугами заводского дома приезжих, а к своим знакомым, проживающим недалеко от центра города. Он всегда останавливается у них, когда приезжает в этот город. Хорошие люди, которые всегда бывают ему рады.

Сидя на заднем сидении рядом с молчаливым соседом, Корнев был этому даже рад, так как ему мешал думать своими разговорами не в меру болтливый инженер. А подумать было о чем. Скоро наступит день, быть может, самый ответственный в его жизни. Надо было заранее решить, с чего ему следует начинать этот день. Вариантов было два: с явки по месту службы или с раннего вторжения прямо в Центральную тюрьму. В первом случае он должен постараться сделать свою справку из Главной прокуратуры известной как можно большему кругу сослуживцев и таким способом предупредить кого следует, что он уже не так безоружен, как они, может быть, думают. Но при этом терялся эффект внезапности. Начальственный звонок в Центральную тюрьму неизбежно затруднит и отдалит получение результата, за которым в нее затем явится предусмотрительный прокурор. Можно поступить наоборот и нагрянуть в кабинет этой жирной лисы, начальника тюрьмы, еще до того, как в областном управлении станет известно о возвращении Корнева из его подозрительного вояжа. И не давая начтюру связаться со своими хозяевами из этого управления, сразу же прижать его к стене категорическим требованием немедленного «снятия побоев» подчиненными ему эскулапами у заключенного камеры № 83 корпуса специального назначения. Но это более чем рискованно. Известить свое начальство из НКВД о новом визите к ним неугомонного искателя правды тюремщики, конечно, смогут. И оттуда, еще не зная, что это для них теперь невыгодно, не замедлят дернуть за веревочку давно уже наверно настороженного капкана ареста. Пожалуй, все-таки, правильнее будет, если он начнет свой сегодняшний – уже сегодняшний! – день с представления своему непосредственному начальству. В схватке, которая потом начнется между ревностным блюстителем закона и его злокозненными нарушителями, эти нарушители выиграют, может быть, несколько дней. Но решающего значения такой выигрыш иметь не будет. Ссадины и кровоподтеки на теле избитого человека за это время не заживут.

Поглощенный своими мыслями, Корнев почти не смотрел по сторонам. Он не поднял глаз даже тогда, когда их газик, сделав крутой поворот, остановился. Ведь это значило только, что они подъехали к дому, в котором жили знакомые

Общительного. Но тот почему-то не прощался со своими спутниками и не выходил из кабины. Может быть, шофер неправильно понял его объяснения и свернул не туда, куда надо? Но для чего он подал тогда два коротких сигнала?

Очнувшийся от звука этих сигналов, Корнев только теперь увидел через переднее стекло машины, что они стоят, почти упираясь радиатором в глухие закрытые железные ворота со смотровым оконцем в одной из створок. На фоне другой створки в смешанном свете хмурого утра и бледнеющего фонаря над воротами поблескивал штык часового. Потребовалось полсекунды, чтобы узнать въезд во внутренний двор здания областного управления НКВД. И еще столько же, чтобы сообразить, что он уже в том самом капкане, предотвратить срабатывание которого Корнев считал своей первоочередной задачей. Эти парни никакие не инженеры и вовсе не случайные его попутчики! Ловкость, с какой была подстроена для него коварная ловушка, казалась непостижимой. Но думать сейчас надо было не об этом. Что если выскочить из машины, перебежать узкий переулок, в который выходил боковой фасад здания НКВД, и нырнуть в один из дворов, примыкающих к небольшим домикам с садами? Открывать пальбу на улице эти молодчики не имеют права, и от их преследования, возможно, удастся спастись. А с началом рабочего дня в прокуратуре вступит в действие его спасительная справка. Хорошо, что она лежит у него во внутреннем кармане пиджака вместе с паспортом...

Угрюмый «альгвазил» рядом считает его, по-видимому, уже окончательно пойманным и смотрит только на приоткрывшееся оконце в воротах. Но так только казалось. Руку, протянувшуюся к ручке автомобильной дверцы, этот альгвазил сжал с какой-то особой профессиональной хваткой:

— Спокойно, Корнев! Вы арестованы! — и он поднес почти к самому его лицу небольшой, разборчиво заполненный печатный бланк.

Несмотря на свою ошеломленность и тусклое освещение кабины, Корнев заметил, что бумага, на которой отпечатан этот бланк, гораздо добротнее, чем та, на которой местными городскими типографиями выполнялись заказы даже самых главных учреждений области. Перед заголовком ордера на арест значилось название не здешней областной

прокуратуры, а главной прокуратуры Союза ССР. Правда, подпись внизу не была подписью Вышинского. Но это уже ничего не меняло в том страшном открытии, которое, будучи еще непонятным, как обухом ударило по сознанию Корнева. Оно почти мгновенно парализовало его волю к сопротивлению и погасило все мысли, кроме одной: то, что происходит сейчас в его стране и что таким неожиданным и, несомненно, гибельным образом обрушилось теперь и на него самого, с помощью нормального здравого смысла объяснить нельзя. Ясно только, что тут не местное, локальное преступление, как полагает Степняк и во что еще каких-нибудь две минуты назад верил сам неустрашимый рыцарь советской законности. Какая-то страшная, необъяснимая болезнь проникла в самый мозг государства. А раз так, то от нее нет спасения, и эта болезнь неизбежно погубит весь огромный и сильный, но пораженный смертельным недугом организм. И уж, безусловно, те из его здоровых клеток, которые пытаются сознательно оказать сопротивление всепроникающему злу. Впрочем, это была скорее уже не мысль, а ощущение бессилия и тоскливой безнадежности. Собственная голова казалась ему теперь не то пустой какой-то, не то набитой чем-то мягким и легким, вроде мякины или ваты; тело бессильно обмякло. Угрюмый, продолжавший больно сжимать руку арестованного, делал это уже явно без всякой необходимости. Тем более что как только автомобиль въехал в короткий, слабо освещенный туннель-проезд под аркой дома, глухие ворота за ним сразу же закрылись. Зато впереди широко раскрылись другие такие же ворота. Эти ввели уже прямо во двор Внутренней тюрьмы областного управления НКВД.

Подследственный Корнев оказывал злостное «сопротивление следствию» значительно дольше, чем обычный, так сказать, среднестатистический обвиняемый того времени, арестованный по делу о политическом преступлении. Потребовалось более четырех месяцев упорной возни с упрямо запирающимся преступником и усилий нескольких опытных следователей, прежде чем он признал предъявленные ему обвинения. Главной причиной неподатливости бывшего

работника прокуратуры было, конечно, то, что он уже хорошо знал о последствиях, которые влечет за собой признание в контрреволюционном преступлении или хотя бы намерение совершить таковое. И все же, в конце концов, он «сдался» и написал, что уже давно, еще с начала своей учебы в Юридическом, состоит в террористической, конечно же, подпольной организации правых эсэров. В его собственноручных показаниях приводилась и предыстория падения бывшего комсомольца и кандидата в члены ВКП(б). Она заключалась в том, что идеи и методы политической борьбы партии социалистов-революционеров Корнев унаследовал от своих покойных родителей, как бы впитал их с молоком матери. Но будучи сыном уже своего века, он усвоил и изощренные методы двурушничества, коварства и политической маскировки, свойственные контрреволюции эпохи развитого строительства социализма. Ненавидящий все советское, тайный эсэр сумел пролезть в советский вуз, пробраться в Партию. В течение долгого времени его единственной обязанностью перед эсэровской организацией, в которую он входил, было изображать из себя как можно более активного молодого большевика. Эта организация до поры придерживала его, как придерживают опытные игроки в большой игре козырный туз. Время пойти таким тузом настало, когда Корнев получил назначение в областную прокуратуру. Довольно высокое служебное положение открывало ему доступ во все инстанции советской прокурорской службы, включая Главную прокуратуру СССР. Такой удачей надлежало непременно воспользоваться, чтобы убить верховного прокурора Союза. Тогда одним ударом была бы обезглавлена советская юстиция, и, следовательно, в высокой степени дезорганизована борьба с контрреволюцией на всем этом фронте.

Как дисциплинированный член своей организации Корнев это поручение принял. Выполняя его, он под надуманным предлогом проник в кабинет главного прокурора СССР. И конечно, не безоружным, а с пистолетом, врученным ему товарищами по подполью. Однако он не оправдал их доверия и не довел до конца своего преступного намерения. В последний момент неопытному террористу изменила его злая воля. Он не только не пустил в ход своего оружия, но, выйдя

из здания Главной прокуратуры, даже уничтожил его. Для него вдруг стало ясно, что для совершения террористических актов он не приспособлен, так сказать, внутренне.

Такой результат вполне удовлетворял следствие. Но чтобы добиться своего, оно должно было изменить тактику по отношению к подследственному Корневу.

Требование от допрашиваемых «чистосердечного признания» следователи НКВД часто облекали в форму просьбы о некоей «помощи органам», за которую эти органы не останутся-де у него в долгу. Почти всегда в таких случаях разговор шел о «выдаче» несуществующих сообщников, которыми могли явиться, главным образом, близкие друзья, а то и родственники обвиняемого. Это нередко наталкивалось на трудно преодолеваемые этические барьеры. Особенно у таких как Корнев, отягощенных наследственным, русско-интеллигентским идеализмом рыцарей гражданской морали. Через три месяца почти непрерывных допросов с применением мер воздействия в виде карцеров, лишения сна, частых избиений, держания «на стойке», этот хрупкий потомственный интеллигентшишка начал совсем «доходить». Он довольно быстро признал, что ездил к Вышинскому с целью его застрелить. Однако сделал это только-де по собственной инициативе, движимый чувством ненависти к большевикам. Пистолет же, которым он хотел воспользоваться, а потом, не решившись на это, зашвырнул в Москву-реку, сохранился в их семье с дореволюционных времен. Версия годилась разве только на худой конец. Она не соответствовала тогдашним политико-юридическим концепциям. Политический террорист-одиночка, да еще покушающийся на жизнь одного из главных деятелей Советского государства, был либо живым анахронизмом, либо свидетельством плохой работы следственного отдела областного управления НКВД. Связи же с какой-либо организацией Корнев упорно не признавал. Ведь это означало бы, что он должен назвать хотя бы одного конкретного человека, через которого поддерживалась эта связь. Того, конечно, арестуют, и начнется новая цепная реакция вербовок и оговоров. Махнув рукой на собственную жизнь, Корнев считал, что губить чужие жизни он права не имеет.

Возникла опасность, что этот слабогрудый астеник, заболевший, как многие здесь, скоротечной чахоткой, загнет-ся в своей камере. Такой конец дела, о котором мог поступить запрос из самой Москвы, был крайне нежелательным для следователей Корнева. Он характеризовал бы их работу уже не как просто плохую, а как совсем грязную.

Поэтому было решено избавить слишком совестли-вого упряма от вербовки. Тем более что как вербовщик он не представлял для НКВД никакого интереса. Был найден покладистый подследственный, давно уже расколовшийся по «всем швам», которому было все равно на кого еще и что написать. Услужливый «помощник следствия» дал нужные дополнительные показания. Согласно этим показаниям он и был тем связным эсэровской террористической группы, который завербовал в нее Корнева и все эти годы периодиче-ски извещал его, что организация продолжает существовать и в свое время даст ему ответственное поручение. Такое по-ручение несколько месяцев тому назад он и передал вместе с пистолетом иностранной системы – приводилось даже на-звание этой системы – товарищу по тайной организации, су-мевшему пролезть на должность, внушающую к нему доверие официальных органов. Пользуясь косвенными подсказками, смекалистый сочинитель, только сейчас узнавший о самом су-ществовании Корнева, приводил и другие подробности своих встреч и разговоров с ним. НКВД любило в таких сочинени-ях детали, придававшие им правдоподобность. При условии, конечно, что они заведомо не могли быть проверены. Вроде системы пистолета, в забытом месте брошенного в реку.

«Обличитель» своего товарища по преступной деятель-ности особо подчеркивал, что никого больше из своей орга-низации тот не знал. Это вполне соответствовало принципам современной структуры контрреволюционного подполья и было принято следствием безоговорочно. Показания его «вербовщика» были зачитаны Корневу. Ему таким образом было дано понять, что «организация», к которой он припи-сан, все равно уже разгромлена и что его признание, следо-вательно, не является предательством по отношению к кому бы то ни было. Расчет оказался точным. Корнев оценил ока-занную ему «помощь» и переписал свои показания в нужном

НКВД духе. Не потребовалась даже очная ставка с его обличителем. Но при этом его потрескавшиеся, посиневшие губы на худом заросшем лице кривились в какую-то странную, как будто торжествующую улыбку. Корнев и в самом деле торжествовал. Его писанина не могла уже ничего прибавить или убавить в его собственной судьбе. Но по отношению к другим его совесть оставалась чистой. Умереть же надо с чистой совестью.

Как члена опаснейшей террористической организации, покушавшегося на жизнь одного из виднейших государственных деятелей Союза, Корнева судила Военная коллегия Верховного Суда, проводившая осенью очередную из своих выездных сессий. Подсудимых на ее заседания не привозили, а приводили, так как заседала Коллегия в здании той же Внутренней тюрьмы. Поздно ночью в гулкой, почти пустой комнате с зарешеченными оконцами под потолком подсудимому Корневу, изможденному, совсем еще молодому человеку, но уже с сильной проседью в непомерно отросших волосах, был вынесен смертный приговор. Такие приговоры были скорее правилом, чем исключением, в практике суровейшего из советских судов. Этот суд не усмотрел в трусости террориста — а чем другим могла быть объяснена его нерешительность? — основания для смягчения его вины. Тем более что было много обстоятельств, эту вину отягчающих: выбор жертвы, злоба ко всему советскому, столь сильная, что тайный контрреволюционер на долгие годы сумел затаить ее в себе, опасное политическое двоедушие. Такой преступник не заслуживал снисхождения.

Однако Президиум Верховного Совета СССР, куда осужденный обратился с просьбой о помиловании, — это была стандартная телеграмма, в которой приговоренные к смерти преступники неизменно каялись и просили дать им возможность честным трудом искупить свою вину — просьбы Корнева не отклонил. Высшая мера была заменена для него двадцатипятилетним заключением в дальних исправительно-трудовых лагерях.

Здесь следует заметить, что распространенное представление о чрезвычайной якобы массовости расстрелов, произведенных в годы так называемой «ежовщины» — так называемой

потому, что нарком НКВД Ежов был всего лишь покорным исполнителем воли Сталина, заранее намеченным им на роль козла отпущения, — значительно преувеличено. Это преувеличение — естественный результат отождествления народной молвой смертных приговоров с их исполнением, которое следовало далеко не всегда. Мрачные слухи из наглухо закрытых залов тайных судов в народ все-таки проникали. А вот дальнейшая судьба приговоренных к смерти становилась известной обычно лишь спустя очень долгое время. Да и то только их ближайшим родственникам. Заклучалась же эта судьба чаще всего в том, что приговоренных к расстрелу большей частью «миловали», посылая их на бессрочную каторгу куда-нибудь за Полярный круг. Так прямо эта каторга, конечно, никогда не называлась. Двадцать-двадцать пять лет заключения в ИТЛ со «спецуказаниями», что такого-то имярек содержать в самых отдаленных из лагерей и никаких, работ кроме тяжелых физических, ему не поручать. Этого было достаточно, чтобы помилованный, даже если он был еще не старым и здоровым человеком, обычно за много-много лет до конца своего срока погибал от изнурения, болезней или несчастного случая на производстве. А если и от пули, то уже конвоирской, при какой-нибудь «попытке к бегству или сопротивлению конвою». Палаческая же пуля была уделом относительно немногих. От нее в подвалах тюрем для политических умирали скорой смертью лишь достаточно крупные государственные, партийные или военные деятели, слишком много знавшие или понимавшие, чтобы их можно было отправить в общие места заключения. Томить же их в вечном заключении в одиночных камерах типа крепостных казематов царских времен считалось негуманным, да и опасным. Опыт той же царской тюрьмы показывал, что иногда осужденные на пожизненное заточение переживали угнетавшие их режимы. Пуля в затылок была куда вернее. Поэтому бывших деятелей в ранге секретаря партийного обкома, например, никто и никогда в лагерях не встречал. Зато остальным осужденным на смерть возможность искупления совершенных ими злодеяний, как правило, предоставлялась. В этом милостивом акте заключалась двойная выгода. Прежде всего — экономическая. Вместо того, чтобы быть сразу же и без всякой пользы застреленными, вра-

ги народа некоторое время работали на пользу этого народа, добывая лес, металлы, строя дороги через болотистую тундру и горные хребты. Присутствовали тут и далеко идущие политические соображения. Массовые казни ничьей деятельности украсить не могут. А вот массовые помилования — украшают. Тем более что снисходительность к поверженным врагам, да еще в период усиления их классовой ненависти, является признаком силы победившего пролетариата.

Заклученный Корнев оказался более живучим, чем казался на вид, и более работоспособным физически, чем большинство интеллигентов, осужденных на каторгу. Он погиб только на пятом году своего заключения, угодив под очередное обрушение на колымском руднике «Оловянный». Свое название этот рудник получил от высокой угрюмой сопки, в недрах и на поверхности которой расположились его бесчисленные ходы, траншеи, шахты и «добычные» забои.

Сопка состояла, конечно, не из олова, а из крепчайшего серого гранита, прослоенного местами жилами кварца, в котором и попадались иногда кристаллы минерала касситерита, оловянного камня. Месторождение этого минерала было тут, в сущности, очень бедным, всего один-два килограмма на тонну извлеченной породы. Затраты же взрывчатки, сжатого воздуха и сверхтвердых сплавов, необходимых для сверления скальных пород, рабочей силы и людских жизней — непомерно большими. Условия жизни и труда горнорабочих, в основном, конечно, заключенных, были здесь наитяжелейшими. На пересечении двух каменных хребтов, высоко поднятых над арктической горной пустыней, почти непрерывно дули леденящие ветры. Они не позволяли зацепиться за скалы даже сухим лишайникам, не говоря уж о семенах деревьев, трав и кустарников. Поэтому здесь почти ничего не росло. Безлесье лишало людей топлива и главного строительного материала для барачков. Лес, как и все остальное, приходилось доставлять сюда по петлястой горной трассе, большую часть года закрытой из-за заносов на многочисленных перевалах. Отсюда происходила вечная и острая, даже по лагерным понятиям, нехватка питания. Не было здесь и воды. Зимой ее натапливали из снега,

летом привозили из отдаленного ручья, расположенного глубоко внизу. И выдавали по скупой норме, как на парусном корабле. Не хватало даже воздуха, особенно для тех, кто жил в лагере, расположенном на вершине сопки. Как-никак, почти три тысячи метров над уровнем моря! И быть бы ей до начала тридцатых годов безымянной, до скончания века никому не ведомой и безлюдной, кабы не дотошные геологи, дальстроявские лагеря и соображения военной стратегии. В СССР нет сколько-нибудь богатых и не труднодоступных месторождений олова. А без этого металла, как без стали или алюминия, нет машин. В том числе и военных. В таких случаях соображения экономической рентабельности отходят на второй план, особенно когда основой производства является рабская сила. И уж подавно никакого значения не имели доводы слюнявого гуманизма. Впрочем, вряд ли они даже возникали.

В середине тридцатых на освоение едва ли не единственного тогда в стране месторождения олова были брошены тысячи подневольных рабочих. С тех пор и до поздних послевоенных лет этот поток не прекращался. Получаемую ею рабочую силу сопка непрерывно перемалывала и калечила, возвращая лишь немногих, да и то уже окончательными инвалидами. Разницу поглощала Труба — огромное кладбище заключенных. Оно расположилось в длинном, почти прямом распадке, между двумя бурыми продолговатыми сопками. Направление распадка почти совпадало с направлением господствующих здесь ветров. Воронкообразные расширения на его концах еще более усиливали эти ветры. Отсюда и название — «Труба», так как всё это действительно чем-то напоминало аэродинамическую трубу.

Отдельных могил здесь не копали. Это было слишком расточительно с точки зрения экономии места и взрывчатки. Летом во всю длину распадка в его скальном дне взрывным способом выбивались почти километровые траншеи. Глубиной эти траншеи были, как и надлежит могиле, около двух метров, а по ширине равнялись высоте человеческого роста. Доставленную на кладбище очередную партию «дубарей» — так в лагере называются покойники — укладывали на дно траншеи в ряд и заваливали заготовленной на ее бортах щебенкой.

Особенно интенсивным было поступление сюда покойников в годы войны. Тогда и погиб Корнев. В иные зимы возникало опасение, что заготовленных траншей до весны не хватит. Тогда дубарей укладывали в них на бок, иногда даже «валетом». Старались сделать разрывы между рядами, соответствующими смежным дням захоронения, наименьшими. Одно время даже последнего в ряду покойника оставляли незасыпанным до следующего дня. Бог даст этот день, черт — очередную партию мертвецов, которую можно будет уложить точно впритык к предыдущей. Впоследствии, правда, эту практику пришлось прекратить. В одном из барачных лагеря «слабосиловки», расположенного недалеко от лагерного кладбища, — шутили, что это последняя станция на пути доходяг на Трубу, — начали обнаруживать варево с остатками человеческих костей. В то же время, ежедневные поверки показали, что весь списочный состав лагеря налицо. Людоедство, таким образом, исключалось. Оставалось трупоедство. Произведенное расследование быстро установило, что обезумевшие от хронического голода неработающие доходяги, получая четыреста граммов хлеба в день и почти никакого приварка, пробирались на кладбище и отрубали у незасыпанного трупа руку или ногу, обычно со стороны уже заваленного камнями соседа. Маскировать произведенное кощунство теми же камнями или снегом было нетрудно. Работающая на Трубе бригада похоронщиков состояла из той же слабосиловки. Такие едва управлялись с погребением очередной партии покойников, особенно зимой, в обычную здесь пургу. Где уж им было разглядывать захороненных вчера!

Словом, Труба не была чужда того, что называется производственной рационализацией. Но эта рационализация имела свои ограничения. На лагерных кладбищах воспрещается укладывать покойников в могилы больше чем в один слой, а тем более набрасывать их туда навалом. Это противоречило бы гулаговской инструкции по погребению умерших в заключении. Место захоронения каждого из них наносилось на секретный план лагерного кладбища и отмечалось своего рода надгробием и эпитафией. Это был колышек с прибитым к нему куском фанеры величиной с тетрадный лист. Смоченным химическим карандашом — инструкция

предусматривала и эту деталь — на фанеру наносилась фамилия, имя, отчество и «установочные данные» покойного. Это, конечно, на случай, если возникнет необходимость проверить действительно ли тут погребен тот самый заключенный, который под соответствующим номером внесен в «архив № 3» — реестр умерших в заключении. Той же цели служила и фанерная бирка, прикрепленная к ноге покойника. Но все это были больше теоретические мудрствования гулаговских генералов, вряд ли когда-нибудь имевшие практическое применение. Тем более что фанерные «эпитафии» сохранялись очень недолго. Чернильные надписи становились размытыми и неразборчивыми от действия дождей в течение первой же весны или осени, после установки «надгробия». В таких же местах, как Труба, эти надписи уничтожались и зимой. Их сдирали, иногда до блеска отполировывая фанеру, острые снежинки, вздымаемые сильнейшими ветрами. Потом этой фанере достаточно было один-два раза набухнуть под дождем, чтобы тот же ветер разметал ее в клочья. Еще через некоторое время исчезали и колышки, отмечавшие могилы погребенных.

Давно закрыт на Колыме ее единственный оловянный рудник. Нет больше и знаменитого «Дальстроя», генералы которого почти открыто хвастали, что ни людей, ни денег они не считают. «Особым» этот край более не называется, и сюда, надо думать, забредают теперь вездесущие туристы. Не исключено поэтому, что какая-нибудь из их групп наткнется в окрестностях заброшенного рудника на унылый, снова безымянный распадок, в котором внимание любознательных путешественников привлекут низенькие каменные гряды, протянувшиеся с одного конца необычайно длинной впадины до другого. Уж слишком эти гряды прямые и параллельны друг другу, чтобы быть естественными образованиями. Возможно, что по поводу их происхождения возникнет даже спор. И что спор этот кто-нибудь, возрастом постарше, остановит догадкой об истине. Тогда все умолкнет и будут смотреть на уходящие вдаль, напоминающие борозды, оставленные каким-то фантастическим плугом, каменные валы с чувством легкой жути и почте-

ния, с каким любопытные люди всегда смотрят на памятники ужасов старины. Памятник погибшим только в одном из здешних лагерей заключения из множества разбросанных в этом краю еще двадцать лет назад выглядит, правда, не столь уж впечатляюще. До мемориальных сооружений Маутхаузена или Бухенвальда ему далеко. И все же тем, кто погребен здесь, в этом смысле еще повезло. Могилы подавляющего большинства бесчисленных жертв сталинских лагерей давно уже сровнялись с землей. И если бы кому-нибудь из еще живущих близких пришла в голову мысль отыскать место погребения отца, матери, мужа или брата, то осуществить ее оказалось бы невозможным даже в принципе.

Невозможно было бы указать хотя бы приблизительно и место захоронения заключенного, погребенного в распадке, носившем некогда неофициальное название Труба. Общая длина траншей, в которых хоронили здесь умерших, измеряется не одним десятком километров, а лагерные архивы, в которых хранился план этого кладбища, давно уже уничтожены. Да и кому это нужно, если говорить о каком-то начинающем юристе, наивно воображавшем по молодости, что закон в «государстве Сталина» является Законом, а не средством прикрытия беззакония. Близких у этого человека не было, на память же потомства он и подавно претендовать не может, так как не совершил в своей короткой жизни ничего выдающегося.

Другое дело — погребение юриста, прожившего гораздо дольше, совершившего очень много и сумевшего возвести в ранг закона даже беззаконие. Надпись на серой мраморной плите, вделанной в кремлевскую стену недалеко от Мавзолея Ленина, предельно лаконичная, как и все надписи тут. Ее тусклое золото гласит: «Андрей Януариевич Вышинский, 1889—1955». Остальное о покойном можно прочитать в томе Большой Советской Энциклопедии, подписанном к печати в конце 1951 года. Рядом с портретом хмурого старика в мундире дипломата сталинских времен перечисляются его главные деяния и даты пребывания на государственных постах. Сообщается также, что бывший главный прокурор Союза был не только выдающимся государственным деятелем, но и видным ученым, действительным членом Академии наук СССР. Не только практиком, но и крупнейшим теоретиком в обла-

сти уголовного права. Вышинскому принадлежит множество печатных работ, больших и малых. Но особое место среди этих работ занимает его капитальный труд «Теория доказательств в советском правосудии». Главным образом за этот труд, вооруживший органы пролетарского суда и государственной безопасности СССР действенным правовым оружием для борьбы с внутренней контрреволюцией, великий юрист и был удостоен званий академика и лауреата Сталинской премии первой степени.

1969–1974

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Мариэтта Чудакова. «Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи...»</i>	5
---	---

Три повести о тридцать седьмом

<i>От автора</i>	15
Фонэ квас	19
Оранжевый абажур	113
Два прокурора	265

Георгий Демидов

Оранжевый абажур

Три повести о тридцать седьмом

Редактор *Т.И. Балаховская*

Художник *Р.М. Сайфулин*

Корректор *М.М. Уразова*

Подписано в печать 20.10.2009. Формат 60х90 1/16

Бумага офсетная. Гарнитура «Newtop». Печ. л. 23,5

Печать офсетная. Тираж 3000 экз. Заказ № 2427.

Издательство «Возвращение»

Тел. (499) 196 0226

E-mail: vozvrashchenie@bk.ru

ISBN 978-5-7157-0231-9



9 785715 702319 >

Отпечатано с готовых файлов заказчика и ОАО ИПК «Звезда»

614990, г. Пермь, ГСП-131, ул. Дружбы, 34

2

1